Галина
Кузнецова

ГРАССКИЙ ДНЕВНИК

1967

ГАЛИНА КУЗНЕЦОВА

ГРАССКИЙ ДНЕВНИК



1967

ГРАССКИЙ ДНЕВНИК

ГАЛИНА КУЗНЕЦОВА

Грасский Дневник



Вашингтон 1967

Издание Русского книжного дела
VICTOR KAMKIN, INC

Эта книга напечатана в количестве 2000 эк. в типографии

A. ROSSEELS PRINTING C°
70, rue du Canal — Louvain
☎ (016) 219.62 — Belgium

Publisher
Victor Kamkin, Inc
1410 Columbia Road
Washington, D C. 20009

Покинув Россию и поселившись окончательно во Франции Бунин часть года жил в Париже, часть — на юге, в Провансе, который любил горячей любовью. В простом, медленно разрушавшемся провансальском доме на горе над Грассом, бедно обставленном, в трещинами в шероховатых желтых стенах, но с великолепным видом с узкой площадки, похожей на палубу океанского парохода, откуда видна была вся окрестность на много километров вокруг с цепью Эстереля и морем на горизонте, Бунины прожили многие годы. Мне выпало на долю прожить с ними все эти годы. Все это время я вела дневник, многие страницы которого теперь печатаю.

19 мая 1927

Грасс

Живу здесь почти три недели, а дела не делаю. Написала всего два стихотворения, прозы же никакой. Все хожу, смотрю вокруг, обещаю себе насладиться красотой окружающего как можно полнее, потом работать, писать, но даже насладиться до конца не удается. Пустынные сады, террасами лежащие вокруг нашей виллы, меня манят большей частью платонически. Взбегаю туда на четверть часа, взгляну и назад в дом. Зато часто хожу по открытой площадке перед виллой, смотрю — не насмотрюсь на долину, лежащую глубоко внизу до самого моря и нежно синеющую. На горизонте горы, те дикие Моры, в которых скитался Мопассан.

По утрам срезаю розы — ими увиты все изгороди — выбрасываю из них зеленых жуков, поедающих сердцевину цветка. Последнему научил меня Фондаминский [1], в котором есть приятная, редкая в мужчине нежность к цветам. Обычно я же наполняю все кувшины в доме цветами, что И. А. [2] называет « заниматься эстетикой ». Сам он любит цветы издали, говоря, что на столе они ему мешают и что вообще цветы хорошо держать в доме тогда, когда комнат много и есть целый штат прислуги. Последнее — один из образчиков его стремления всегда все преувеличивать, что вполне вытекает из его страстной, резкой натуры.

Впрочем пахнущие цветы он любит и как-то раз даже сам попросил нарвать ему букет гелиотропа и поставить к нему в кабинет.

Кусты этого гелиотропа растут под окнами виллы Монфлери, лежащей ниже нашей виллы и сейчас пустой. Там на одной из террас есть пустой каменный водоем. На дне его среди веток и мусора лежит маленький, чисто вымытый дождями скелет кошки. Очевидно

[1] Илья Исидорович Фондаминский.
[2] И. А. Бунин.

она соскочила туда, а выбраться назад не смогла. И хотя умирала она должно быть медленно и мучительно — в скелетике ее, в аккуратно поджатых желтых косточках передних лапок есть какое-то глубокое, трогательное успокоение. Она так тихо лежит, и я невольно задумываюсь о том, что-же такое эта смерть, которой мы все так страшимся? Может-быть ответ в этих чистых косточках, лежащих под тенью широкой фиговой ветки. В них точно символ полного мира, как-бы обещание его всем существам на земле.

И. А. однако предупредил меня чтобы я не говорила о кошках в присутствии В. Н. [1] — у нее к ним какой-то болезненный страх. И. А. рассказывал, что позапрошлым летом они со Шмелевым [2] убили кошку, повадившуюся ходить к ним на дачу и пугавшую В. Н. Нельзя сказать чтобы этот рассказ меня очень обрадовал. Я испытываю к кошкам дружелюбное чувство. Мне нравится их ловкость, грация и осторожность, таящаяся в глубине их зрачков. К тому-же в них есть какое-то аристократическое сознание своего достоинства.

Я пишу, а тем временем совсем стемнело. Долина за пальмовыми ветвями стала мутно-синей, и на ее фоне тихо шевелятся мелкие листочки оливок и желтого бамбука, растущего под окнами. Проснулся в кустах соловей. Ночи здесь великолепные, засыпаю я под перекликание соловьев и неумолчный страстный хор лягушек, которых здесь необычайно много. Но ни одной из них я никогда не видела. Мы только слышим их каждую ночь.

23 мая

Лес над нашей виллой растет по крутизне, гору сейчас взрывают — прокладывают бульвары. Но есть еще густые чащи, где пахнет горными цветами и хвоей, со скал стекает плющ, и плывет сверху такой широкий

---

[1] В. Н. Бунина.
[2] Писатель Иван Шмелев.

меланхоличный ропот, какой бывает только в хвойных лесах. Я долго карабкалась сегодня по обрывистым тропинкам, изранила руки, собирая папоротник и какие-то мелкие голубые цветочки с гиацинтовым запахом. Природа успокаивает — я была расстроена перед этим, и эти крутые тропинки, иссохшие источники, опутанные плющем камни и главное теплый, полный запаха горных трав и хвои воздух успокоили меня. Я соскакивала с каких-то скал, исцарапав при этом босые ноги и катилась вниз с быстротой пущенного сверху камня. Зато я вернулась домой с большим букетом горных цветов, которые поставила в круглый глиняный кувшин в столовой. Правда, потом оказалось, что кувшин этот служит для приготовления « доба » — провансальского кушанья, но все-таки мои цветы и сейчас стоят в нем.

Вообще прелести в нашей жизни много. Внизу в саду Монфлери поспели черешни, и мы с Ильей Исидоровичем каждый день навещаем их. Сегодня, после обеда ходили туда и нарвали полные карманы. Руки саднит до сих пор, но разве они могу сравниться с теми, которые приносят с базара ?

Уже начинает темнеть, в городе звонят. Вот еще очарованье — сигналы. Когда из долины прилетает сюда трубное рокотанье, по душе проходит какое-то теплое ласковое дуновенье. Когда-то другие трубы в этот час играли зорю там, далеко, в Киеве, в казармах старой приднепровской крепости . . .

30 мая

« Синие горы » кончены и начисто перепечатаны. Показала их И. А., он прочел в тот-же вечер и, выбрав минуту, когда мы остались одни, высказал свое мнение. Сначала очень хвалил, потом сделал очень существенное замечание, что надо брать сюжетные темы. Я сама чувствую, что у меня действия недостаточно, оно расплывчато. Но с этим мне, вообще, пока трудно. Похвала приятна, но печатать рукопись негде. Велика, в газету не попадет, а журналов подходящих нет. Придется ее

положить в стол, что прискорбно — нет никакого поощрения к дальнейшему.

5 июня

Вчера за обедом И. И. [1] говорил, что вилла Монфлери перепродается по случаю болезни снявших ее и, что, вообще, будто она пользуется несчастливой славой: прошлой зимой в ней умерла совсем молодая женщина, а перед ней еще кто-то. Тому, что на Монфлери не приедут дачники, я рада. До сих пор этот пустой сад с заколоченным домом принадлежал мне. Я ежедневно гуляю там — слово « гуляю » впрочем вовсе не изображает моего рысканья по обрывам под деревьями, посещенье развесистой черешни и охоты на верхние, отягченные черными ягодами ветки. Перед домом цветут огромные, переполненные лепестками, изнемогающие от собственной тяжести розы. Гелиотроп отцветает. Поспевают нефли. В этом саду я опять чувствую себя подростком и в иные минуты мне странно представить себе мою прошлую жизнь, то, что я была замужем, пережила войну, революцию, разрыв с мужем . . .

Я сильно загорела, руки у меня исцарапаны до локтей, чулок не ношу и хожу, как все здесь, в белых полотняных туфлях без каблуков, завязывающихся переплетающимися тесемками. Словом, совсем одичала. Дни очень похожи один на другой и кажутся длинными, но зато недели мелькают незаметно. Я чувствую, что за эти недели мною ничего не сделано, хотя я провожу за столом каждый день часа четыре. И. А. пишет рассказ о « веселом мужике », обещает, когда окончит, прочесть его нам « за бутылкой белого вина ».

Скоро должен приехать Рощин [2]. Вера Николаевна уже готовит ему комнату рядом с моей.

Живем мы довольно размеренно. И. А. в определенные часы гонит спать, а днем заниматься, « по каме-

---

[1] Илья Исидорович Фондаминский.
[2] Н. Я. Рощин.

рам », как он шутливо кричит. Он ничуть не похож здесь на И. А. парижского, не умевшего дня прожить без ресторанов и кафе.

7 июня

Знойный великолепный день. Море придвинулось и лежит на горизонте полным голубым дымом так что глазам весело, небо побледнело от обилия света, и хвойное раскидистое дерево на этом свете и лазури прекрасно. После завтрака И.А. и я лежали в полотняных креслах под пальмой и разговаривали о литературе, о том, что надо, чтобы стать настоящим писателем. Он сегодня в первый раз весь в белом, ему это очень идет, он очень сухощав и по юношески строен. А все это в целом очаровательно: и он, и голубая горячая даль, и хвойные ветки большого раскидистого дерева в нижнем саду, и далекое море, синей стеной поднимающееся к горизонту. Впрочем долго лежать он мне не дал — погнал в комнату « заниматься ». Надо смотреть на сухие летние дни, как на рабочее время, нечего бездельничать, — постоянно твердит он. А тут еще прибавил: « Только в вашем возрасте и можно дать хороший закал для будущего. Идите-ка, идите ». И сам пошел писать о своем « веселом мужике ». На этот раз пишет он довольно медленно, еще не разошелся. Я сегодня отнесла на почту свои « Горы », посылаю их в « Звено » [1]. Надежды в сущности никакой, но не лежать же им так в столе — надо хоть попытаться. Послать заставил И. А., он и конверт дал большой, и адрес я писала у него в кабинете. Ну, на авось !

11 июня

Илья Исидорович вчера внезапно уехал в Париж к жене, обеспокоенный каким-то ее капризным письмом. Неизвестно, когда он вернется. Образовалась какая-то

---

[1] Парижский литературный журнал.

пустота в доме. И. А. за столом стал вдруг очень вял и неразговорчив. Уезжая Илюша разговаривал с В. Н. обо мне и сказал, что ему очень жаль, что я мало работаю. Это, к сожалению, сущая правда.

12 июня

Не люблю праздничных дней. Всегда в них какое-то беспокойство, ожидание чего-то, что должно случиться, и никогда не случается.

Уже с утра сегодня проснулась как-то особенно настроенная, вспомнилось, что это Троица, захотелось чего-то необычного. Пошла в собор. Было очень жарко, орган все время напоминал Фауста, а когда стали тушить после окончания службы электричество над престолом под последний завершительный гром сверху, стало совсем похоже на театральное представление. Вернувшись домой срезала в саду две ветки лилий и поставила в столовой. Хотелось прибавить что-то к обычному течению дня. Да и не мне одной хотелось. В. Н. заказала к завтраку меренги, и днем мы ходили гулять, сидели на площади в кафе и смотрели на праздничную толкотню под платанами и втайне все чем-то томились. В. Н. это высказала, свалив все на скверную русскую натуру. И. А. говорил, что его мучает неоконченный рассказ.

Попрежнему неприятен отъезд И. Ис. Был он как будто неслышен в доме, а исходило от него какое-то успокоительное доброжелательство.

20 июня

Знойные, светом переполненные, настоящие провансальские дни.

Выбежала сейчас на минуточку наверх, прошла по террасам, посидела в тени оливок — внизу пыльно-розовая черепица потоком льется с горы. Две башни — одна совсем черная, точно обуглившаяся, с белым ободком вокруг неровного окошка — все купается в горячем зо-

лотом свете. Какая радость в этой сухости, в теплоте земли, трав, все новых и новых диких цветов, кустами расцветающих на стенах, в расселинах между камнями . . .

Вчера ездили в Канны. Пили чай в ресторане над морем. Прекрасный джаз-банд и три пары танцевали чарльстон. Я так обрадовалась даже этой музыке, что сама удивилась — неужели я так все это люблю ? Одна пара танцевала отлично.

И. А., с неменьшим чем я наслаждением смотревший и слушавший, сказал : « Нет, это все не так просто. В этом есть все-таки большой яд, большая талантливость, ловкость . . . »

24 июня

Приехал Рощин — пока еще не вошел в атмосферу дома и бродит в новеньком галстуке и свежей рубашке по дому и саду. Кажется, ему немного скучно и все еще длится необходимость ехать дальше. Поэтому он уже строит планы насчет поездки в горы, в Ниццу, чем вызывает неудовольствие И. А., всячески старающегося поддерживать рабочее настроение в себе и других. Сам он начал большой роман и боится перерывов в работе. Я ему завидую, хотя и остерегаюсь говорить об этом : меня уже достаточно все бранят за « максимализм ».

Дни неопределенные, то знойные, сияющие, то серые, чуть мглистые. Вчера вечером, в канун Иванова дня, были всюду зажжены костры. Сквозь туман это было очень красиво — вся долина усыпанная большими красными огнями, а на площади в девять часов играл оркестр и пели какие-то белые, одинаково одетые девицы. Несмотря на трогательную старательность детонировали они сильно. Изумительно как мало музыкальны французы ! Италия совсем рядом, страна с таким же климатом как здесь, кажется то же небо, воздух, а между тем . . . как поют внизу простые итальянские рабочие !

26 июня

Как-то, кажется позавчера, меня вдруг позвали в неурочное время вниз. Я сбежала, и В. Н., уходившая к парикмахеру, шепнула мне на лестнице, что приехал Шульгин, книгу которого « Три столицы » мы только что все прочли и много говорили о ней. В. Н. ушла, и хозяйничать за столом пришлось мне. Он внимательно взглянул на меня, когда нас знакомили. За столом я рассмотрела его. Он весь в белом, наголо обрит, большой рот сверкает золотыми зубами. В форме головы есть что-то, напоминающее большую лягушку. Глаза зоркие, близко поставленные, глубоко сидящие в темных орбитах. Все время, пока он говорил — легко, без всякого усилия переходя с предмета на предмет, слушая себя, — я невольно следила за его руками: очень белые, большие, мягкие, тщательно вымытые, с коротко обрезанными розовыми ногтями и черными волосами на тыльной стороне, они беспрестанно двигались, встречались, закругленно захватывали то блюдце, то чашку, — вообще его руки заставляют думать о чувственном темпераменте, что впрочем, подтверждается идущей о нем славой женолюбца. И сейчас он приехал на юг с молодой женой, по слухам хорошенькой. Ему лет пятьдесят пять, пятьдесят восемь, но никто не дал бы ему их, глядя на него. Говорили почти исключительно о его путешествии в советскую Россию, описанном в « Трех столицах », причем он сам сказал, что теперь у него почти нет сомнений в том, что возили его чекисты. О деле Коверды отозвался неодобрительно. И. А. сам говорил мало и больше расспрашивал его, видимо присматривался и прислушивался — он с ним познакомился очень недавно. Он уехал после часового разговора, обещав приехать как-нибудь завтракать с женой. После его ухода мы с И. А. ходили по саду и говорили о нем. В этот день все были вообще немного возбуждены, и вечером И. А. читал нам в саду свой новый рассказ « Божье древо ».

Сегодня пришло письмо от Кантора, редактора « Звена ». Он пишет, что летом журнал будет выхо-

дить в малом размере, и поэтому мой рассказ в полтора печатных листа не может быть напечатан, но осенью он надеется на расширение и предлагает оставить рукопись до тех пор у них.

Все читали и комментировали это письмо за завтраком. Фондаминский, как опытный редактор, прочтя письмо внимательно, посоветовал оставить у них рукопись. Я решила оставить.

1 июля

После того как И. А. вчера прочел мне несколько глав из романа, который он пишет, я потеряла смелость. Писать какой-либо роман рядом с ним — претенциозно и страшно. И все-таки мне хочется писать . .

2 июля

Ходили после завтрака в город. День изумительный, внизу на площади пустота и солнце, каменный фонтан один плещется в этой тишине, переполненный водой, сияющей на свету. И. А. остановился и, удержав меня за руку, сказал: « Вот это то, что я больше всего люблю — настоящий Прованс ! » и, помолчав, прибавил: « Мне почему-то всегда хочется плакать, когда я смотрю на такие вещи ».

Когда мы поднимались через сад Монфлери, он все время обращал мое внимание на небо, действительно изумительно прекрасное, густого голубого цвета, в котором есть и что-то лиловое. В этом лилово-голубом особенно прелестно мотаются мягкие, ярко-зеленые ветви елей, облитые солнцем и непередаваемо прекрасные. И он все брал меня за локоть и говорил: « Как они прелестны и как хорошо им там вверху . . . Еще в детстве было для меня в них что-то мучительное . . . »

Уже на подъеме к нашей вилле мы засмотрелись на море, резко голубое, к горизонту чуть размазанное чем-то белым, что, занимаясь, как воздушный пожар, переходило на небо. И он сказал мне: « Это надо придя

домой записать, коротко в двух словах заметить о сегоднешнем дне: о зелени, о цвете неба, моря...» И вот я пишу, но не так коротко, как говорил он, потому что мне хочется сказать и о нем самом, о том, что он был весь в белом, без шляпы, и когда мы шли по площади, резкая линия его профиля очеркивалась другой, световой линией, которая обнимала и голову и волосы, чуть поднявшиеся надо лбом...

5 июля

Рассказ кончила, он перепечатан на машинке и исправлен. Я им более или менее довольна. Разбег не кончился и меня все тянет писать еще, по ночам не спится, что-то волнуется внутри и кажется, что можно взять любой кусок жизни и писать его. Это чувство опьяняет, дает какую-то внутреннюю свободу и радостную уверенность в себе. И. А. сдерживает меня, боясь, что я перетяну струну и сорвусь. Я, правда, все ощущаю как сквозь легкое опьянение, все, даже природу, и у меня уже пробивается утомление. Впрочем, последние дни никто в доме не работает — сегодня уезжает уже окончательно в Париж Илья Исидорович. Вчера весь день они с Рощиным укладывали в ящики книги для отправки вслед за ним. Погода неопределенная, есть что-то беспокойное в воздухе и это еще усиливает некоторую расслабленность в теле. И все-таки с наслаждением думаю о часах, которые летят так незаметно за работой и дают такую сосредоточенную радость.

8 июля

За закрытой ставней шумит дождь. Весь день наползали серые дымные тучи и вот разразились к вечеру. Я устала и от утреннего писанья и от двухчасового печатанья на машинке — беру уроки в школе Пижье в городе — и особенно от гостей, приехавших из Ниццы к чаю. Две пары, очень пожилые и важные персоны в прошлом: Неклюдов, бывший посол и царский министр Наумов, оба с женами.

Было очень томительно сидеть полтора часа за чайным столом, не раскрывая рта, и слушать о декохтах и вреде нынешних медикаментов. Впрочем, Наумов рассказал кое-что интересное о разных высокопоставленных лицах, до царя и Вел. князя Ник. Николаевича, включительно. Все же я еле дождалась пока они уехали. Вечером читала И. А. у него в кабинете стихи Блока, и слушала как И. А. громил символистов. Конечно многое надо отнести на счет обычной страстности И. А. Он кричал, например, вчера о Блоке: « лакей с лютней, выйди вон ! » чем заставил меня искренне расхохотаться, после чего стал смеяться и сам.

13 июля

Целые дни напролет была занята. Диктовала некоторые главы романа И. А. — его перепечатывает на машинке В. Н., два часа в день печатала сама и урывками пыталась писать, хотя при такой системе ничего не удавалось. Даже гулять было некогда и только сегодня, кончив диктовать, выбралась перед обедом наверх, в парк над чайным павильоном, где теперь нет ни души, прелестно пустынно, деревья и кустарник великолепно разрослись и вообще такая дичь и красота, что можно себе представить таким царство Спящей красавицы. Ходила, смотрела и наглядеться не могла.

14 июля

Вчера вечером были на площади, где начался трехдневный национальный праздник — взятие Бастилии.

Середина площади занята шатром, украшенным флагами и цветными фонариками, оркестр, столы вокруг. Что было действительно великолепно — это шествие альпийских стрелков с факелами. Короткая резкая команда, они вскидывают инструменты, и сразу гром музыки, сомкнутые ряды с идущими по бокам факелоносцами — и идут быстро, ровно, отчеканивая шаг, и

удаляются со своими огнями и блестящими трубами в узкие улички, в синюю темноту летней ночи как кортеж юности, мужественности, всего героического, что есть на свете. Великолепно !

18 июля

Написала рассказ, давно задуманный, « Стакан ». Писала в сущности один день, а вчера уже переписывала и поправляла. И. А. сказал, что хорошо. Я однако же так нервна, что писала страшно спеша, не успевая ставить слова. Мне было как-то уж очень легко писать.

Вчера получили от Ильи Ис. письмо, в котором он между прочим пишет, что мои « Синие горы » будут напечатаны, только Кантор хочет сократить немного. Пишет также, что мои стихи, посланные в « Современные записки », понравились и будут напечатаны.

Последние дни чувствую себя немного тревожно, все куда то тянет из дому и даже из Грасса, хоть на день-два. Попрежнему усидчиво пишет только И. А., Рощин болтается, а я только ежедневно сажусь за стол, но далеко не всегда из этого что-нибудь получается. Стихи, например, решительно не пишутся. Но и без того на меня косится Рощин и даже втихомолку поддразнивает « излишним прилежанием », говорит, что я прямо живой на небо собираюсь. Сам он, видимо, скучает, все рвется куда-нибудь поехать, да денег из « Возрождения » ему не шлют. Он — натура всегда чем-то оскорбленная, все яростно осуждающая и болезненно самолюбивая.

20 июля

Сегодня получила письмо от М. Цетлина [1], очень любезное, с хорошим отзывом о стихах и с извещением, что они будут напечатаны в зимней книжке, т. к. в осен-

---

[1] Поэт и редактор стихотворного отдела журнала « Современные записки ».

ней место занято большой поэмой. Конечно, слава Богу, и за это ! В сущности для начала отлично.

Я так занята была все эти дни, что писать здесь было некогда. Печатание на машинке и писание, да еще чтение, занимают весь день. Радуюсь, что пишется легче и свободнее, чем прежде, что кажется можно взять любой кусок жизни и писать — все должно удаваться. Это как бы медовый месяц творчества. И. А. вчера сказал: « Радуюсь, что это так ! Это признак настоящего художника . . . » Он сам чувствует себя немного вяло — устал должно быть, да и жарко. А я даже мало вижу вокруг, поглощенная работой.

Вчера походила по саду вверху, увидела, что все изменилось, одни цветы и травы отцвели и цветут другие, низкие сливовые деревья за домом обсыпаны маленькими синими сливами, я уже стряхиваю их понемножку. Вообще с внезапным жутким чувством увидела, что весны, светлой, прохладной, с соловьиным пением до рассвета, с запахом гелиотропа в нижнем саду, нет и помину, а вместо нее — сухое жаркое лето, хотя жара стоит всего два дня. И мне стало страшно, не знаю чего . . .

Пишут мне редко, так как я сама почти никому не пишу. Но я заметила, что людей мне сейчас как будто и не надо, что они обычно только нарушают ровное течение нашей жизни и вырывают меня из тихого бодрствования, в котором я живу.

С Рощиным говорить не умею, мы всегда только спорим и притом ожесточенно. Он меня часто и легко раздражает самомнительностью и наклонностью почти все бранить и осуждать, прибавляя за каждым словом: черт знает что такое, наглость, сволочь и тому подобное. Очень нервна В. Н., что неприятно отражается на всех в доме. Во время ее ссор с Рощиным я особенно жалею об отсутствии Ильи Ис. Он всегда умел успокаивать ее.

25 июля

Ровное течение рабочей жизни было нарушено в последние дни. По случаю жары все двери в доме

раскрыты и это способствует разговорам, шуму и постоянному свободному входу друг к другу. Кроме того была портниха, а В. Н. в такие дни делается необыкновенно общительна, и я, следовательно, рассеиваюсь и даже печатание на машинке, которая теперь взята на дом и печатаем мы на ней обе попеременно, идет у меня довольно невнимательно. Ездили с И. А. в Канны, я в первый раз купалась, но были большие мутные волны и неприятный ветер с песком, засыпавшим глаза, и поэтому купанье не удалось.

Вчера-же, в воскресенье, были гости — Ходасевичи, только что приехавшие из Парижа. Весь дом по этому случаю убрали и ждали их к завтраку, но они опоздали и приехали только к половине третьего. Мы с Рощиным дважды ходили их встречать. Был очень жаркий, первый по настоящему летний день, с нас пот лил градом, несмотря на крайне легкие костюмы. И все-же мы их встретили уже у подъема на нашу гору, на бульваре, и сразу не узнали издали. На Нине Берберовой было голубое платье и пастушески простая шляпа с белой лентой, Ходасевич, лишенный пиджака и воротничка, придававших ему некоторую солидность в городе, казался необыкновенно тощим и от этого беспомощным. Пробыли они почти до вечера. После завтрака сидели под пальмой и разговаривали. Я посмотрела на них из своего окна сверху, — это было красиво, голубые платья женщин, белые костюмы мужчин и этот великолепный, жаркий, сине-золотой день. Разговоры велись, конечно, главным образом литературные. И. А. умеет быть иногда необыкновенно любезным и обаятельным хозяином, он поднимает настроение общества, зато к нему и стекаются всеобщее внимание и все взгляды.

Когда показывали гостям дом Берберова задержалась в моей комнате и стала расспрашивать о моих литературных делах, причем рассказала, что ее рассказ принят в ноябрьскую книжку « Современных записок », т. е. в ту же, где должны быть мои стихи — а другой будет в « Звене », в ближайшем номере. Она была очень любезна, но на окружающую красоту совсем не смотре-

ла, и мы все дружно напрасно обращали ее внимание то на то, на другое. Еще раз я подивилась тому, какая у нее завидная твердость воли и уверенность в себе, которую она при всяком удобном случае высказывает. Было условлено, что мы в ближайшее время увидимся в Каннах, поедем вместе на острова, вообще, будем часто встречаться. Когда гости уехали я пошла ходить по саду и И. А. позвал меня и дал несколько листов, написанных за последние дни, с которыми я и забралась на верхнюю террасу и, сев на траву, принялась за чтение.

Когда кончила, подняла голову и засмотрелась: на нежном розово-голубом вечернем небе венцом лежали серые вершины оливок, воздух тихо холодел, был такой покой и нежность и какая-то задумчивость и в небе, и в оливках, и в моей душе. Почему-то вспомнилось детство, самые сокровенные его раздумья и мечты. В листах, лежавших на моих коленях, было тоже детство нежной впечатлительной души, родной всем мечтательным и страстным душам. Самые сокровенные, тонкие чувства и думы были затронуты там. И глава кончалась полу-вопросом, полуутверждением в том, что может быть для чувства любви, чувства эротического, двигающего миром, пришел писавший ее на землю. И я глубоко задумалась над этим и спросила себя — для чего живу я, и что мне милее всего на свете ? И ответ будет, пожалуй, тот-же, так как в творчестве есть несомненно элемент эротический. Я сидела и думала об этом, когда внизу на дорожке показался И. А. Я махнула ему, позвала его. Он спросил меня, не портит-ли он мне впечатление тем, что дает читать по кускам. Я сказала, что в этом есть своя и может быть, еще более важная прелесть. В одном месте, указывая на фразу, как бы случайно, вскользь вставленную (о разнообразной прелести деревьев — их вершин, внизу темных, а сверху блестящих) он сказал: « Вот так надо, как бы случайно, уметь сказать о какой нибудь детали и сказать щедро ».

Он часто так учит меня — незаметно, мимоходом. Позднее вечером, во время прогулки он обратил мое

внимание на огни, блестевшие « очень чисто » и на ясность и черноту горы « это бывает в мистраль — это не летние мглистые вечера — это надо все замечать ».

Недавно в автобусе он говорил, что вечно страдал из-за своего почерка — менял перья, писать ему бывает очень трудно, перо не идет, а ручку он держит между третьим и четвертым пальцами, а не между вторым и третьим как все люди.

Я очень сокрушаюсь тем, что не записываю многого о нем, это так приятно перечитывать потом. Ведь многое забывается, хотя у меня отличная память. Сколько он говорил мне интересного, значительного, важного, а я не записала, поленилась, забыла... Хотя бы его присказки, пословицы, словечки. Он часто говорит с печалью и некоторой гордостью, что с ним умрет настоящий русский язык — его остроумие (народный язык) яркость, соль.

Правда, пословицы и песни часто неприличные, но как это сильно, метко, резко выражено. Рощин сказал, что будет записывать за ним, но что Рощин ! Будь это кто-нибудь поярче, позначительней ! Что сможет сделать с этим богатством Рощин ? Он и не работает вовсе, да если бы и работал нет у него главного в литературе — чувства меры.

26 июля

Вчера ездили в Канны всем домом купаться. Ходасевич не приехал, и только много позже в кафе под платанами пришла Берберова и сказала, что он пишет, а она искала и не нашла нас на пляже. Несколько минут пришлось пробыть с Мережковскими, что для меня всегда мучительно, т. к. З. Н. [1] нагоняет на меня уныние. Она не глядит и не слышит и вообще делает вид, как будто не подозревает о моем существовании. При этом она говорит И. А. одни неприятности, которые он принимает с самым любезным и милым видом. Для то-

[1] Зинаида Николаевна Гиппиус-Мережковская.

го, чтобы еще больше подчеркнуть свое незамечание меня, она держится чрезмерно любезно с Рощиным, дает ему милостиво-угрожающие обещания написать о нем по поводу его будущей книги. Руку она подает мне почти неощутимо и не видя меня. Все это делает то, что быть с ней для меня сущая мука. Впрочем, вчера из-за этого И. А. очень быстро собрался и всех увел с собой из кафе, и дома торжественно обещал мне, что не будет принуждать меня бывать с Мережковскими. Сегодня никуда не поехали. Отстрадав жаркие часы за машинкой в комнате я пишу на воздухе, в конце сада, на мраморном столе, который приятно холодит мне руки. Вечернее солнце мягким желтым светом обливает большую пышную ель, зеленым облаком лежащую на низкой равнине, а позади на бледном, туманном от зноя небе огромная волна Эстерели, с теплыми тенями в глубоких впадинах, встает как некое допотопное чудовище, огромное и прекрасное. Какая-то птица еле слышно журчит в кустах легколистного желтого бамбука за моей спиной. Мне хорошо и немного грустно, как всегда в такие минуты созерцательного покоя. Я не думаю о будущем, а прошлое рисуется затуманенно и кротко-грустно. Больше всего я люблю эти вечерние часы на воздухе.

31 июля

Долгожданное жаркое лето. С утра горячий ветер шелестит по высохшему, почти лишенному тени саду. После полудня делается так душно, что делать ничего немыслимо. Сначала пыталась вести прежнюю рабочую жизнь, но пришлось ее оставить: я тяжело переношу этот зной вдали от моря. Правда, ездили в Канны несколько раз купаться, но ездить слишком далеко и утомительно. С утра расстилаю под мандаринами одеяло, кладу на него подушку и ложусь с книгой. Иногда ко мне присоединяется кто-нибудь из домашних: уж очень жарко в доме. Только к ночи наступает облегченье; а ночи черные, сухие с звездным небом, в котором теряется взор. На площади, в городе опять раскинут шатер,

опять праздник, и сюда почти весь день доносится музыка, что меня как то грустно волнует. Вчера я и заснула под звуки этой музыки — она точно прилетала ко мне в раскрытое окно из глубины черной страстной ночи и чем-то напоминала юность...

Танцуют на том месте, где сорок лет назад было кладбище, а теперь нечто вроде плаца, подле упраздненной церкви, обращенной в конфетную фабрику. Вчера вечером ходили с И. А. туда вдвоем посмотреть на танцы. Глядя на пляшущую под трехцветным шатром толпу, он взял меня рукой за плечи и сказал взволнованно: « Как бы я хотел быть сейчас французом, молодым, отлично танцевать, быть влюбленным, увести ее куда-нибудь в темноту... Ах, как хорошо!..» и пояснил: « я ведь все-таки, по совести, не могу написать о таком Жозефе или Жанне потому, что не знаю их души. А я ужасно хочу написать о них — ведь Франция для нас теперь вторая родина...»

Мы возвращались через сад Монфлери и вслед все летела медлительная томная музыка, было так темно, что в двух шагах мы ничего не различали, а вверху огромный газовый шарф Млечного Пути пересекал все небо — темное и точно разгоряченное...

8 августа

Говорили вчера о писании и о том, как рождаются рассказы. У И. А. это начинается почти всегда с природы, какой-нибудь картины, мелькнувшей в мозгу, часто обрывка. Так « Солнечный удар » явился от представления о выходе на палубу после обеда, из света в мрак летней ночи на Волге. А конец пришел позднее. « Ида » тоже от воспоминания о зале Большого московского трактира, о белоснежных столах, убранных цветами; « Мордовский сарафан », где, по его собственным словам, сказано « о женском лоне » то, что еще никем не говорилось и не затрагивалось, ведет начало от какой-то женщины, вышивавшей черным узором рубаху во время беременности. Часто такие куски без начала и

конца лежали долгое время, иногда годы, пока придумывался к ним конец.

А говорили об этом в автобусе, по пути в Грасс — мы возвращались с купанья. Все время справа в небе видна была горбушка той дальней сиреневой голой горы, что на востоке от нас. По краю ее стояли белые легкие облака с рваными краями. Я особенно люблю эту дикую гору.

15 августа

Несколько дней уже горят леса вокруг в горах. Сегодня ветер и над Морами клубы серо-розового густого дыма с самого утра. Рвет ветром и какое-то нехорошее жуткое ощущение в теле. Старуха кухарка то и дело выходит посмотреть на пожар в сад — кроме нее в доме никого нет — все уехали в Канны, а я сижу и пытаюсь сделать хотя бы отчасти все наобещанные себе дела и все поэтому делаю плохо. Как страшны эти густые белые клубы над морем, застлавшие всю его синеву ! Несет все время гарью. Невольно приходят мысли о том, что и здесь может быть пожар, так все страшно высохло вокруг дома.

В последние дни ничего не записывала — все эти дни были заполнены бестолковой суетой. Были гости, кроме того каждый день ездили в Канны купаться, все это не дает сосредоточиться, даже мое печатанье идет кое-как и не каждый день. От этой беспорядочности очень устала. Впрочем весь дом разболтался, И. А. первый не работает и томится, не высидит и дня дома. Рощин так и глядит куда-бы поехать и в конце концов удрал на несколько дней в Ниццу, выпросив у В. Н. очередные пятьдесят франков.

Погода неспокойна, несмотря на жару. На море почти каждый день волнение, и недавно я даже перенесла маленькую неприятность: заплыла в большую волну к плоту, а меня швырнуло и должно быть оглушило немного. Я, в ошеломлении, тремя накатив-

шимися на меня волнами была выброшена на песок, где бессознательно встала и сейчас-же упала на руки подбежавшего Р. и французов. Рощин уверял потом, что я была без сознания: впрочем длилось это ровно секунду и я тотчас-же вскочила и стала смеяться. Но всетаки момент подле плота, когда огромная волна подняла его почти отвесно на своем гребне, и я почувствовала, что он летит на меня откуда-то, как мне показалось в ту секунду с огромной высоты, и я могу быть затянута под него или получить страшный удар по голове — был действительно жутким. Рощину, бывшему там же, тоже не удалось взобраться на плот и он тоже не по своей воле очутился на берегу с разбитым в кровь коленом. Замечательно, что И. А. был в это время на плоту и ничего особенного не заметил, только удивился, что я исчезла под накрывшей меня волной.

Вся Эстерель в огне. Мрачная апокалиптическая картина. Ходили наверх с И. А. Смотрели, потом сидели на траве под туманными деревьями и говорили о моем будущем, о литературе, о работе. Он настаивал на более упорной работе для меня. « Иначе может статься, что душа останется, как облако, которое плывет и тает — слишком лиричной в жизни ». Потом еще говорил: « Жизнь писателя есть отречение от жизни. Надо оставить все, думать только о работе, каждый день, как на службе, садиться за письменный стол, быть терпеливой . . . » Я слушала почему-то с грустью. В душе был страх перед темным будущим . . . Вечером, прощаясь перед сном он сказал тихо: « Завтра я сажусь за работу ! »

16 августа

Пожар продолжается. Днем ездили с И. А. в Канны и буквально были ослеплены тучами песка, пыли и удушливого дыма. Здесь на горах сияющий день, а там какое-то мутное, желтое, зловещее, промежуточное между днем и ночью состояние, от которого на душе делается нехорошо. Пусто, ветер гонит бурные белогре-

бенчатые волны, с гор ползут тучи дыма, а на море медно-зеленый, золотой жуткий отблеск. На набережной валяются сухие пальмовые ветки, город зловеще пустынен. Обратно ехали через такую тучу дыма, что дышать было трудно, пока вдруг внезапно не вырвались из дымовой завесы на свет и солнце. Горело уже подле Муан Сарту и видно было пламя. На дороге стояли женщины с детьми на руках, подростки, мужчины толпой садились на камион, чтобы ехать тушить. Пахло тревогой, как когда-то в предэвакуационные дни. Все чаще поговаривают о возможном пожаре на нашей горе. И сейчас вся долина в дыму, горизонт внезапно прорывается красными языками. Рощина нет дома уже четвертый день — должно быть попал куда-нибудь на пожар и увлекся приключениями. Говорят о каком-то замке, который горит, о каком-то городе, который спешно эвакуируют . . .

Мы попрежнему ничего не делаем, несмотря на все благие намерения — тревожно и как-то неуютно. Мережковские вчера в Каннэ вопили о « последнем дне Помпеи » и, вообще, были в панике. Как ни смешно сказать, мысль о возможной опасности меня почти веселит и возбуждает. Впрочем, вчера И. А. говорил то же самое. Это ведь какое-то происшествие, следовательно новизна, праздничность, а мы, люди, это любим больше всего на свете.

Позавчера была Нина Берберова, одна, завтракала у нас. Потом мы вместе ездили в Пре дю Лак. Она много рассказывала о себе, о том, как начинала литературную деятельность в Петербурге, о Цехе поэтов, о Гумилеве и о его романах. По ее словам, он посвятил ей стихи, которые она тут же нам прочла. В них говорилось о девушке в белых одеждах, держащей в руках хрустальный шар, в котором отражается мир.

17 августа

Пожар прекратился. Вечером приехал Рощин. Конечно он был с бойскаутами на пожаре и хотя и не

тушил, но присутствовал при том, как тушили другие. Рассказывал какие-то небылицы о военном положении, о войне с Италией, об укреплении берегов... Днем ходили с И. А. в город и он купил мне книжечку стихов де Ноай. Я возлагаю на нее некоторые надежды по части писания. Я не очень люблю эту поэтессу, но в ней есть крупинки возбудительного, а мне часто нужен какой- то крючечек, с которого начинается писание.

24 августа

Послала сегодня рассказ в « Последние Новости ». Перепечатала его сама на машинке — печатаю я уже вполне прилично, только немного медленно. Ходили на почту втроем с В. Н. и И. А. Я вдруг подумала во время этой прогулки, что интересно было бы написать о Грассе, сделать его фоном романа или рассказа. Подумывала об этом и раньше, но сегодня как-то особенно творчески почувствовала интерес к нему. Было это в узкой, живописной и грязной уличке старого города, наверное ничуть не изменившейся со средневековья, где мы встретили дурачка Жозефа, обычно болтающегося по городу и всюду встречаемого нами: он в полуцилиндре — у него всякий раз новый головной убор — и с кистью винограда в руках важно кивнул нам, сказав с гримасой мимоходом: Yes — так как он, очевидно, принимает нас за англичан. А ведь здесь немало интересных фигур, которых я по лени или не любопытству не заношу в записную книжку, что жаль, конечно. Но я вообще делаю преступно мало, все время мучаясь этим. Последние дни перепечатывала свои стихи, сколола их в тетрадку и увидела, что их мало. За этот год написала пачку стихотворений (тоненькую) и четыре рассказа. И все жду какого-то таинственного времени, когда можно будет работать напряженно, запоем, а сил на это все не хватает. Обычно я люблю писать осенью. С надеждой смотрю на голубые кроткие дни, стараюсь вдумываться, вглядываться в себя...

И. А. тоже не работает. Впрочем, его волнует история с « Возрождением », откуда он ушел из-за вынуж-

денного ухода П. Струве. В доме по этому случаю бесконечные дебаты.

29 августа

Вчера получила открытку от Демидова[1]. Пишет, что рассказ мой получил и дал на прочтение редактору: ответит немедленно по получении ответа от него.

Вчера после прихода почтальона меня позвали в кабинет и там я застала горячее обсуждение только что полученного от Шмелева из редакции « Возрождения » письма. Шмелев пишет, что не уходит из газеты, национальный облик которой необходимо сохранить. Это, превыше, как он пишет, личных счетов. В. Н., которая особенно горячо настаивала на уходе И. А., очень возмущалась этим письмом, находя его лицемерным, горячась, бранила Шмелева. Ей очень поддакивал Рощин. Я лишний раз изумилась, слушая его, количеству ежедневно повторяемых им по всяким поводам слов, вроде: сволочь, хамы, гнусность, черт знает что такое и т. д. Я предпочитаю не ввязываться в этот спор. Я понимаю все сложности, по которым ушел И. А., но ведь газета действительно остается без лучших сотрудников и погибнет, вероятно, как национальный орган.

Сегодня утром И. А. сказал мне в саду, когда мы по обыкновению вышли после кофе взглянуть на погоду: « Что же это утра пропадают ? Надо не ждать вдохновения, а идти садиться за стол и писать ». И я послушалась его и пошла к себе. Его совет как нельзя более соответствует моим желаниям. Только за работой я чувствую себя истинно счастливой, укрытой от всех болезненных влияний, столь мучающих меня последнее время.

8 сентября

Вчера ездила в Канны и зашла к Берберовой. Про-

---

[1] И. П. Демидов, помощник редактора парижской газеты « Последние Новости ».

сидели с ней часа два. Ходасевич был настроен мизантропически и появился на минуту, затем тотчас же ушел. Через час и мы с Ниной поехали пить чай в какой-то кондитерской. Она была очень разговорчива, доброжелательна и любезна, даже советовала, что именно надо посылать в « Последние Новости ». На прощанье дала мне номер только что вышедшего « Нового корабля » — этого нового детища Мережковских. В то время, когда я была у Берберовой наши ездили в Ниццу и встретились со мной на вокзале. Рассмотрели с ними журнал: в нем стихи Берберовой, два рассказа Буткевича, этого таинственного протеже Берберовой, пасущего мифические стада где-то под Марселем и интригующего и собой и этими стадами все маленькое литературное царство. Эти рассказы — один посвящен Берберовой — очень экзотичны, пропитаны Гамсуном и Лондоном и несомненно талантливы.

Домой вернулись усталые и разошлись по своим комнатам чуть не в десять часов. А утром я проснулась раньше всех и долго думала, лежа в постели, о зиме и о том, что со мной будет и о том, что я до сих пор писала. Чувствую, что избрала себе самый трудный и неблагодарный путь. В моем, лирическом, восприятии мира нет ни иронической гримасы Ходасевичей, ни « любовной презрительности », столь модной теперь. Моя простота никого не пленит, никого не отравит, а многим будет и скучна. Но что же делать ? Ведь то, что я делаю, моя сущность. Вчера, например, Берберова говорила мне, что посылать в газету надо то, что я сама менее всего ценю в художественном отношении, что нибудь « сюжетное », как теперь говорят. А я поступила наоборот и послала лирический этюд.

12 сентября

Сегодня день Александра Невского — день ангела покойного деда. Должно быть отец и бабушка поедут на кладбище, а потом напишут, какой был день, как нашли могилу. Здесь же день, после вчерашнего дождя,

великолепный, ослепительно яркий, резкий, осенний. Горы, приближенные мистралем, кажутся сделанными из темно-синего рытого бархата, море ясно-голубое, очень далеко видное. Город кажется необычайно близким к нашему саду. Я побыла в саду одну минуту, но все это как то сразу резко запечатлелось во мне. Сейчас одно из тех мирных рабочих утр, которые я так люблю. Под окном непрестанный шум льющейся воды — это нелепая черная старуха Мари в своей соломенной лошадиной шляпе стирает под навесом, подле кухни. И. А. пишет у себя, капитан [1] где-то на верхних террасах сада, лежа на животе, покрывает большой лист мельчайшими неразборчивыми буквами, В. Н. печатает на машинке в соседней комнате. Теперь мы с ней попеременно перепечатываем всю рукопись « Арсеньева ». Я ничего не пишу. Нет необходимого для писания запаса влюбленности в жизнь, в то, что пишешь. Наоборот: усталость и разочарование. Довольно много читаю по французски и « Казаков », восхищенно дивясь вновь и вновь их простоте и прелести.

Дивлюсь, как могла я до сих пор не чувствовать, не восхищаться, не влюбляться в здоровую, счастливую красоту этой повести ? Нет, тут не только простота и счастье жизни, тут и какое-то колдовство, чистая магия, неизвестная нам. Откуда она берется ? В чем она ? В сочетании слов, в их подборе, чередовании ? Сейчас как раз об этом пишет в своем романе И. А. Вчера давал читать мне главу о тех стихах и повестях, которые произвели на него неотразимое впечатление в детстве. Мы много говорили с ним на эту тему летом, и я счастлива, что он часто говорит о себе то, что могла бы почти теми-же словами сказать и я. Счастлива и тем, что каждая глава его романа — несомненно лучшего из всего, что он написал — была предварительно как-бы пережита нами обоими в долгих беседах.

Сейчас он пишет целые дни, а я и В. Н. печатаем на машинке написанное.

---

[1] Так называли у Буниных Н. Я. Рощина.

15 сентября

Вчера были гости — Мережковские и Ходасевичи, последние с прощальным визитом перед отъездом в Париж.

Опять был яркий, на редкость красивый день, все сидели в саду, ярко освещенном, вычищенном и выметенном накануне садовником и от этого нарядном, радующем осенней просторностью и праздничностью. Мы с И. А. и Берберовой ходили по дорожке, и я чувствовала, что Гиппиус, сидевшая под пальмой с В. Н, нас рассматривает. Мы отошли за мандариновые деревья и остановились там, разговаривая о стихах Берберовой, и туда к нам пришли Мережковский с Володей Злобиным [1], только что пришедшие, они завтракали где-то в городе внизу.

За чаем я рассматривала Гиппиус. Она сидела в кресле И. А. Всякий раз, когда вижу ее, дивлюсь ее щуплости, цыплячьей худобе, ее подслеповатым глазам и рыжим завитым волосам, завернутым с затылка на макушку, ее маленьким сухощавым рукам и перевязанной лентой шее. И несмотря на это такая пунктуальность во всех действиях, такая аккуратность в почерке, в ведении своих дел, что диву даешься ! Я мало знаю ее, ее неприязнь ко мне не позволяет мне рассмотреть ее поближе, но все-же всякий раз она меня чем-то болезненно поражает.

23 октября

Очень жаль, что ничего не записывала о своей работе. Сегодня хотела вспомнить, когда начала вторую часть романа и не могла. Кажется с неделю назад или что-то в этом роде. Первая глава второй части далась мне нелегко. Писала ее кусочками и несколько раз переделывала, то сжимала, то расширяла. Теперь, кажется, ничего, хотя все еще есть какое-то не вполне удов-

---

[1] Поэт В. Злобин.

летворительное ощущение. Хотелось, чтобы было и сильно, и не сентиментально, и вместе с тем трогательно. Вообще писать о периоде жизни при отчиме необыкновенно трудно.

24 октября

Во вчерашнем номере « Дней » напечатан мой рассказ.

27 октября

Последнее время выходило все так, что я была очень занята домашней работой т. к. В. Н. слаба и делать почти ничего не может, старуха Мари одна справиться в несколько часов со всем домом тоже не может, да и делает все с убийственной медленностью, а тут рожденье и именины И. А., гости, отъезд капитана, как ни как помогавшего мне. Ходила на базар, убирала дом, готовила завтрак, чай, мыла посуду и ничем другим заниматься уже не могла. Кроме того у меня есть очень невыгодное для себя самой свойство — бросаться на всякое дело с каким-то изнуряющим жаром и рвеньем, и потому не диво, что я к концу дня пьянею от усталости. Давно не писала и как-то отвыкла и словно утомилась писанием о прошлом; впрочем, вероятно, это отчасти и оттого, что я слишком много сил отдаю роману И. А., о котором мы говорим чуть не ежедневно, обсуждая каждую главу, а иногда и некоторые слова и фразы. Иногда, когда он диктует мне, тут же меняем, по обсуждению, то или иное слово. Сейчас он дошел до самого по его словам, трудного — до юности героя, на которой он предполагал окончить вторую книгу.

31 октября

Вчера, по случаю великолепного дня, поехали с И. А. в Канны необычным путем, через Оребо и Пегомас. В Каннэ долго ходили по горе: « искали виллу » — это любимейшее занятие вот уже несколько лет у

И. А. Ему все мерещится какая-то необыкновенная, уютная, деревенская дача с огромным садом, со множеством комнат, со старинной деревянной мебелью и обоями « высохшими от мистралей », где-то на высоте, над морем; словом, нечто возможное только в мечтах, так как ко всем этим качествам, быть может и находимым, присоединяется еще одно необыкновенно важное, но совершенно исключающее все вышеупомянутые, — дешевизна. Но все же каждый год, как только приближается время отъезда из Грасса, он начинает ездить по окрестностям и искать, мучимый давней мечтой о своем поместьи, о своем доме. С каким наслаждением карабкались мы по каким-то отвесным тропинкам, заглядывали в ворота чужих вилл, обходили их кругом и даже забрались в одну, запертую, необитаемую, с неубранным садом, где плавали в бассейне покинутые золотые рыбки и свешивались с перил крыльца бледные ноябрьские розы. Потом, стоя на высоте, смотрели на закат с небывалыми переходами тонов, с лилово-синими, сиреневыми, гелиотроповыми грядами гор, точно волны на прибой, идущими на нас от горизонта, с мирным голубым, гладким, гладким морем, стелющимся нежным дымом до светящейся полосы горизонта. Какая красота, какое томление . . . И так заходило солнце и при цезарях, и еще раньше, и эти волны гор так же шли на прибой с запада . . .

В автобусах, в трамваях везли целые снопы цветов: белых восковых тубероз, похожих на пуки церковных свечей, тонко и крепко пахнущих; пушистых, пестрых хризантем, точно утомленных собственной пышностью и изобилием. Через день праздник Всех Святых.

Сегодня начала перепечатывать первую книгу « Арсеньева ».

8 ноября

Не писала, так как с утра до вечера была занята печатанием. В восемь дней переписала первую книгу и

треть второй, т. е. около 100 больших страниц. Устала, но рада, что кончила так быстро. Я видела, как И. А. хотелось поскорее иметь совершенно чистый экземпляр.

9 ноября

Рукопись сброшюрована, проверена, совсем готова для печати, но И. А. по обыкновению ходит и мучается последними сомнениями: посылать или не посылать? Печатать в январьской книжке или не печатать? Но, думаю, исход предрешен, — он пошлет, помучив себя еще несколько дней. По складу его характера он не может работать дальше, не « отвязавшись » от предыдущего. В. Н. против печатания, во многом она права, но ведь приходится считаться с характером И. А., а она за все двадцать лет жизни рядом не может примириться с ним.

Сегодня провела день в приведении себя в порядок — я была прямо невменяема все эти дни работы. Комната была неубрана, и я тоже. Усиленно чистила всё и чистила свои « перышки », по выражению А. Толстого. На дворе сыро, мягко, всё время моросит дождь. Я еще не выспалась, и вообще все мы вялые. И. А. ни о чем, кроме книги, говорить не может и ходит в сомнамбулическом состоянии.

Завтра предстоит завтрак у Мережковских и чтение дневника З. Н., колеблющейся перед печатанием его и просящей совета. Ее пугает то, что после появления в печати этого дневника (дело Корнилова и Керенского, осень семнадцатого года) ей придется « сжечь свои корабли по отношению к эсэрам ».

Должна ехать на этот прощальный завтрак — они уезжают в Париж — и я, как это ни неожиданно. После нашей последней встречи в Каннах, когда З. Н. впервые обратилась ко мне с несколькими вопросами, В. Н. получила письмо, в котором, среди прочих фраз было приглашение и мне « хотя она и известная дикарка ». Наши посоветовали мне ехать, говоря, что это может быть интересно, и я согласилась.

10 ноября

Были и слушали. Посещение знаменательное и даже довольно волнующее. Множество новых впечатлений и от виллы, очень чистой, нарядно, даже с некоторой кокетливостью убранной (ковры, кретоновые абажуры в розах, мягкая мебель и хризантемы в вазе на камине) от хозяев в домашнем быту: Мережковский в драповом халате, ходит бочком, горбясь, она, кутаясь в шали и платки, протягивается в креслах, и наконец от чтения, во время которого хозяин удалился к себе — ничто не может нарушить привычек обитателей этого дома.

После завтрака (макароны, баранина с кашей, пирожки, сыр и печеные яблоки с вареньем и ко всему этому один маленький графинчик приторно-сладкого белого вина) перешли в гостиную, куда полногрудая, с черными как вакса волосами и первобытной улыбкой итальянка-горничная подала кофе. Володя[1] принес хозяйке папиросы, изящный дамский мундштук и зеленую папку, в которой оказалась аккуратная стопка скрепленных пачками белых листов, перепечатанных на машинке. Мы сели и чтение началось. Обычно я плохо переношу чтение вслух и часто отвлекаюсь в первые же пять минут. Но здесь мне не пришлось отвлекаться. Дневник оказался очень интересным. В нем ярко выступает автор, хотя о себе он почти не упоминает. Керенский написан настолько художественно, что я, никогда в жизни его не видавшая, ощутила его как живого человека. Ярко передано и то сумбурное, жуткое время и передано при помощи очень простых скромных слов (без утрировки и почти без обычных для Мережковских восклицаний).

Меня, конечно, больше всего пленила в этом дневнике его художественность, позволяющая видеть политические события в виде обычных картин человеческой жизни. По одной, двум чертам обрисовываются лю-

[1] В. Злобин.

ди и положенья. Таков Зензинов [1], сидящий как сыч у Амалии [2], обложенный газетами; таково утро, когда Керенский объявляет разинувшим рот министрам о том, что Корнилов ведет войска на Петроград; таков разговор с Корниловым по прямому проводу и вообще то время, когда обыватель ничего не понимал, а посланные Керенским войска шли на защиту Петрограда против войск Корнилова, шедших тоже на защиту Петрограда. « Кровопролития не вышло никакого. Недоумевающие войска постояли, постояли друг против друга, затем, вспомнив уроки полковых агитаторов о том, что с врагом надо брататься, принялись усиленно брататься ».

Своеобразна манера чтения: скороговоркой, вполголоса, точно актриса на генеральной репетиции, не дающая полного голоса, с короткими недоговариваемыми пояснениями в сторону, чтобы избежать длиннот, и только в местах значительных, требующих от слушателей особого внимания и эмоций — повышение, медлительность, почти скандированье, упор на слова и даже на целые фразы.

Мы много говорили об этом дневнике в поезде, возвращаясь домой. Все сходились на том, что это лучшее из того, что написано Гиппиус. « Воображаю, что у нее там еще понаписано, ведь она прочла нам сотую долю !» сказал И. А.

А в общем сегодня я впервые почувствовала в Гиппиус не только молодящуюся чудачку с ведьмовским началом в натуре; я поняла, что у нее можно многому учиться и с нее надо кое в чем брать пример.

17 ноября

Живу какой-то ненастоящей жизнью — раздвоенной, фантастической. Переписываю константинопольский дневник. Работаю над этим с утра до вечера, и

---

[1] В. М. Зензинов.
[2] А. О. Фондаминская.

когда снизу раздается обычное — « Обедать » — пробуждаюсь и бегу с растерянным лицом.

Вижу по этому дневнику как была беспомощна в выражении своих чувств, как наивны, детски-требовательны были эти чувства. Приходится многое выпускать, потому что это ничего не выражает, ничего не рисует. Но зато все описания хороши, что меня очень поражает. Уже было чувство меры, чутье, очень верные определения. Эта работа увлекает меня. Понемногу передо мной проходит моя жизнь, которая всегда мучила меня своей « несказанностью » (по Гиппиус). Я порой теряю чувство действительности: что было тогда, что теперь ? Но не я одна так живу: И. А. пишет и живет прошлым, В. Н. пишет род дневника о их странствованиях, и все мы не живем настоящим. А на дворе без конца льет дождь, рано смеркается, и это еще увеличивает фантастичность нашей жизни.

Прочла сегодня у Сологуба:

Быть с людьми — какое бремя !
О зачем же надо с ними жить,
Отчего нельзя все время
Чары деять, тихо ворожить ?

2 декабря

Отвратительная погода, и жизнь точно в осаде изза непрекращающихся дождей, тьмы и грязи. Я все время точно в оцепенении, все время хочется спать. Послала вчера в два места стихи и уже жалею. И. И. в письме к И. А. между прочим пишет, что мой рассказ « Утро » очень хвалят, но у меня такое чувство, будто это не обо мне; что писал кто то другой, а я ничего писать не в состоянии. Приходят неприятные мысли о том, нужно ли писать вообще. Как работал этим летом И. А., как убивался над своим « Арсеньевым » ! А теперь вот Кульман [1] находит, что « много рассуждений » и напо-

---

[1] Проф. Н. К. Кульман.

минает ему в письме, что « художник мыслит образами » . . .

Да и все другие все чужое бранят, читают только свое, а прочих жестоко критикуют. А « широкая публика » . . . Где она, кто она ? Может быть она была в России. Здесь же все в каких то семейных размерах. Кто-то сказал: литературный курятник.

Из письма Фондаминского по поводу « Арсеньева »:

« Думаю, что ваш роман — событие в истории русской литературы. С точки зрения современного читателя, однако, в нем есть недостатки: отсутствие занимательности, недостаток событий, некоторая риторичность. В этом вас, может быть, будут упрекать. Впрочем, вы предпочли писать для вечности, и я вас понимаю . . .»

5 декабря

И. А. дал мне пачку своих стихов для того, чтобы я отобрала их для книги, которую он хочет давно издать. Отбирая, невольно изумилась тому, как мало у него любовной лирики и вообще своего, личного в поэзии. За все время четыре-пять стихотворений, в которых одной, двумя строками затронута любовная тема. Спросила его об этом. Говорит, что никогда не мог писать о любви, по сдержанности и стыдливости натуры, и по сознанию несоответствия своего и чужого чувства. Даже о таких стихах, как « Свет незакатный », « Накануне », « Морфей », говорит, что они нечто общее, навеянное извне. Я много думала над этим и пришла к заключению, что непопулярность его стихов — в их отвлеченности и скрытности, прятании себя за некой завесой, чего не любит рядовой читатель, ищущий в поэзии прежде всего обнаженья души.

7 декабря

Опять дождь. Вчера писала стихи. Сегодня все утро убирала комнаты с новой прислугой. И. А. вялый, подавленный, заперся у себя и голоса не подает. Вчера

было письмо от Кантора, взял у меня одно стихотворение для «Звена». Сегодня за завтраком читалось вслух письмо Гиппиус. Литературный Париж нарисован с большой талантливостью.

Чувствую себя посредственно. Голова действует поспешно и беспорядочно. Однако стараюсь заниматься. Вчера взяла открытку с головой Мадонны и стала рисовать ее стихами. Вышло следующее:

В косынке легкой, голову склонив,
Она глядит покорными очами
Куда-то вниз. За узкими плечами
Пустая даль и склоны темных нив,
И городской стены зубчатый гребень,
Темнеющий на светло-синем небе.

Она глядит, по детски рот сложив,
И тонкий круг над ней сияет в небе.

12 декабря

... Шли по парку, полному пальм, кактусов, самой разнообразной формы, похожих то на гигантских инфузорий, то на пресмыкающихся, то на толстые зеленые подошвы, утыканные иглами. Восхищались великолепными агавами, имеющими форму громадных роз или тюльпанов зеленого цвета. Я остановила И. А. у кустов мелких красных роз, свисавших сверху гибкими ветками. Он посмотрел и сказал: «Нет, в моей натуре есть гениальное. Я, например, всю жизнь отстранялся от любви к цветам. Чувствовал, что если поддамся, буду мучеником. Ведь я вот просто взгляну на них и уже страдаю: что мне делать с их нежной, прелестной красотой? Что сказать о них? Ничего ведь все равно не выразишь! И, чуя это, душа сама отстраняется, у нее, как у этого кактуса, есть какие-то свои щупальцы: она ловит то, что ей надо и отстраняется от того, что бесполезно».

Потом остановились подле апельсинового дерева,

покрытого крупными, уже желтеющими плодами. Апельсиновое дерево для меня что-то чудесное. Я всегда представляя себе Рай и то дерево, с которого сорвала плод Ева, представляла себе его, а не безобидную северную яблоню. Сказала об этом И. А., он с жаром подтвердил: « Конечно. Ведь сказано просто — сорвала плод, а не яблоко, это уже прибавили потом, да и вообще плод надо понимать символически . . . »

Он пригнулся, стал ходить под деревом, собирать упавшие апельсины, покрытые темно-зеленой шершавой кожей.

« Не могу видеть этого дерева спокойно », — сказал он, — « как увижу, как услышу запах апельсиновой корки, сейчас же вижу зиму на Капри, тусклый блеск на море, над которым ревет трамонтана, и сады, где под бледным солнцем зреют апельсины в полусне, в дремоте . . . да именно в дремоте, под этим бледным зимним солнцем, под зимним ветром . . . Нет, мучительно для меня жить на свете ! Все меня мучает своей прелестью ! »

Да, в нем есть какая-то волшебная сила. Кажется, уже все знаешь, весь этот южный мир знаешь, живешь в нем, а он несколькими случайными словами создает волшебный мираж, страну, нигде не существующую, сказочную, более прекрасную чем подлинная, потому что она не сам мир, а его волшебное отраженье.

18 декабря

Вера Николаевна разбудила нас криком « Снег ! » Я сейчас же вскочила и открыла окно. На крыше навеса, на бамбуках, на пальмовых ветках белел снег, волна Эстереля была вся белая, — все приобрело новый, незнакомый, немного странный вид и будило воспоминанья. Я, выпив кофе, опять легла, так как эту ночь плохо спала, но заснуть мне не удалось, я только лежала, закрыв глаза и о чем-то смутно думая. Сейчас солнце. Снег, однако, не тает, даже немного морозно. Мы собираемся идти гулять. Этот неожиданный снег,

солнце, белизна и блеск, душистый холодный воздух, возвращают меня в прошлое, но уже с теперешней обостренностью чувств и жадностью к жизни воспринимаю я это прошлое...

19 декабря

В окнах немецкий рождественский пейзаж: белая гора и под ней тесно слепленный городок с аккуратно присыпанными снегом черепичными крышами и четырехугольной башней. Над ним серое зимнее небо. Зелень деревьев почти обесцветилась и производит не большее впечатленье, чем ели под снегом. В неприспособленном для таких неожиданностей доме очень холодно. Краснощекая Анжелика, кажется, втайне приписывает эти северные неприятности нам, у которых на родине всегда такая погода... Всюду так холодно, что мы сегодня завтракали в кухне, где теплее всего. И. А. не снимает с себя пальто, а В. Н. говорит, что ее больше не заманишь проводить зиму на Ривьере. Вообще наше благополучие понижено.

Больше всех страдает от холода И. А. Он вообще расстроен, его мучают мысли о книге. Сегодня прислали корректуру, он с самого утра сидит над ней.

22 декабря

Настроение всего дома поднялось. Фондаминский прислал письмо, в котором предлагает издать « Арсеньева » при « Современных записках », что очень выгодно. Главное-же из этого письма стало понятно, что роман возбуждает интерес, и что все вовсе не так безнадежно, как представлялось И. А. Правда, И. А. колеблется, говорит, что написаны всего две части, что нельзя давать согласия, не имея ничего в руках... но уже чувствуется в нем поворот, оживленье, может быть интерес к писанью. Днем ходили с ним в город и говорили об этом. Илюша уезжает на месяц в Египет, и вилла будет свободна до февраля. Поэтому решено в Париж сейчас

не ехать, может быть он будет опять работать. К сожалению погода отвратительная, дождь без перерыва. Странно думать, что мы на юге.

25 декабря

Ходила в ротшильдовский парк за цветами: их очень мало после ненастной погоды, но все-таки наломала мимозы, бутонов красных роз и веток какого то твердолистого дерева с кистями цветов, пахнущих орехами. Запах его очень любит И. А. Было так тепло, что пальто стесняо. А между тем сегодня первый день католического Рождества. Опять смотрела на блещущее солнцем море, на голубые дали и думала, что юг без солнца немыслим. А вчера были в Ницце, хотели посмотреть на чужой сочельник, но ничего не вышло. На улицах была обычная ниццская толпа, в кондитерских также пили чай и ели пирожные англичанки. Закончив кой-какие дела мы поехали в Канны, где обедали в ресторане. К сожалению кроме нас там никого не было, и лакеи готовились к ночи: уставляли стол дичью, расстилали скатерти, и на нас смотрели как на чудаков. К моему огорченью В. Н. и И. А. были как то раздражительны, мрачны и потому мне стало грустно. После обеда вышли на набережную, и я, отойдя от них, постояла несколько минут у перил над морем, глядя в неприветливую морскую даль, слушая глухие удары волн. В порту на яхтах горели гирлянды разноцветных огней, большие окна казино, задернутые изнутри красным в цветах шелком, были освещены, вверху в черно-синем сухом небе блестели необычные праздничные звезды, а море шумело, разливаясь в полутьме по берегу светящейся пеной. И я вдруг вспомнила о затонувшей подводной лодке, которую все эти дни пытались безуспешно спасти и не спасли. Я представила себе эту лодку — стальной гроб — в страшной глубине, среди черной ледяной воды, медленное, страшное ее раскачивание...

26 декабря

День газет. Пришли все рождественские номера и

несколько журналов. Сначала читали вместе в кабинете И. А., потом отдельно в своих комнатах, и неудивительно, что у меня болит голова.

В « Днях » и « Последних Новостях » вещи И. А. Он внутренно недоволен этим. Но все же ему должно быть приятно, что его печатают всегда с таким чувствующимся почитанием. Его рассказ « Спутник » настоящая маленькая драгоценность, нежная и тонкая.

Читая в « Днях » рассказ Слонима « Рождество в Важце », я очень ярко вспомнила Прагу и встречу Нового года у пана Гала в Богемии. Я уже пыталась написать это, но не нашла верного тона. Но когда нибудь непременно напишу. Как пахло великолепными красными яблоками в спальне « пана жидителя », которую он уступил мне ! Какой морозный седой был этот последний вечер старого года ! И какой старый мед в длинных старомодных бокалах с золотыми прожилками. Все мы тогда были студентами . . . Жив ли сейчас « пан жидитель ? » Все провалилось куда-то. Но я напишу, непременно напишу это когда нибудь !

Внизу шум: это И. А. закрывает ставни. На дворе непрекращающийся шум дождя. Это просто невыносимо !

27 декабря

Читаю дневник Лоти. Это мое любимое чтение — подлинная жизнь людей. Дневник Лоти не Бог весть какой, но все же я читаю его собственную жизнь и радуюсь. Поразило одно: по собственному его признанью, он целыми годами не брал книги в руки. Как же он писал ? В. Н. сказала по этому поводу, что у него была такая древняя культура в крови, что внешняя ему уже была почти не нужна. Все это хорошо, но все-же . . .

30 декабря

Были в гостях Пилкины с сыном Колчака. Они милые симпатичные люди. Девочки принадлежат к ново-

му народившемуся в эмиграции типу: ученые, увлекающиеся богословием, классиками. Старшая особенно мила бойкостью, живостью, застенчивой готовностью всякую минуту отвечать на вопросы старших.

И. А. был опять, как всегда с чужими, тонко и очаровательно любезен. Он ни разу не встал со своего кресла и говорил все время благодушным и любезным, почти царственным тоном. Я давно не видела его таким. Он большой актер в жизни. Я знаю, что так надо общаться с людьми, но воспоминанье о его часто невозможных ни для печати ни для произношения словечках, о его резкости временами заставляли меня в душе улыбаться. Впрочем эта общедоступная любезность всех покрывает нивелирующим лаком, и дома он оригинальнее.

3 января 1928

С самого утра за окном ровное мельканье быстро летящего снега. И. А. читает вслух книгу Бруссона о Франсе, а мы с В. Н. что нибудь шьем. Днем гуляем. Новый год не встречали, да и вообще он прошел незамеченным. 1-го января был напечатан в « Днях » мой рассказ. В печати он показался мне лучше, чем в рукописи.

5 января

Встала в девять часов, убрала комнату, затопила печь и села заниматься. Темнеет так рано, что ничего не успеваешь сделать. После завтрака обычно долго пьем кофе в кабинете, читаем газеты или Бруссона, а потом идем гулять, а там уже и сумерки — день прошел. Раз в неделю ходим в синема. Фильмы, правда, одна неудачней другой, но мы с И. А. не можем отучиться от тяги к синема и, побранив одну, идем на другую. Здешняя убогая « Олимпия » — место свиданья всего Грасса. У каждого свое обычное место, все знают друг друга. В. Н. синема терпеть не может и от нелюбви обычно не следит за ходом действия и ничего не понимает, мы

должны ей все время объяснять. Вчера был вечер « Олимпии »: была картина с ковбоями и скачкой, что особенно любит И. А.

Были в усадьбе Фрагонара, где устроен теперь музей. Смотрели прекрасный старинный провансальский дом, утварь, мебель из золотистого полированного дерева. И. А. все повторял: « И все это исчезло из жизни, все провалилось куда-то ! Вот жили люди ! Как мы теперь живем ! »

6 января

Православный сочельник. Великолепная голубая ночь. Луна, белые гладкие облака, от которых кажется еще светлее в саду. Крупные яркие звезды. У нас тихо. Обедали в кабинете. Была рыба и русский взвар. Гуляя днем наломали несколько еловых веток в парке (утром я купила мимозы) всем этим украсила комнату. Затем как обычно И. А. читал, а мы слушали. Потом гуляли перед сном. Теперь пишу, сидя в постели в ночной рубашке и халате. Шумит огонь в печке. На столике ветки елки. Мирно, уютно. На подушке « Жизнь Гёте », которую буду читать в постели.

7 января

Читаю жизнь Гёте и восхищаюсь. Какое здоровье натуры ! Мимо, мимо всего, все чувствуя, но не погибая от своих чувств, не растекаясь в напрасных сетованиях на судьбу, любя жизнь, беспрестанно возобновляясь, любя искусство, свою молодость, расцветая опять и опять ! . . .

8 января

Неожиданно перевела сонет Эредиа « La jeune morte ». И. А. сначала улыбнулся недоверчиво, потом когда я ему прочла написанное, похвалил, даже изумился немного, сказал, что перевести сонет Эредия не шутка и что он этого от меня не ожидал, тем более,

что я никогда в жизни стихов не переводила. Я впрочем и сама не знаю как это вышло. Я прочла, мне понравилось, я стала читать вполголоса и вдруг услыхала две строчки по русски. Тогда это меня задело, и я села уже записывать.

Сегодня очень тепло. В воздухе есть что-то расслабляющее, весеннее. И. А. растроганно грустен. На площади играла музыка, за голыми желтыми платанами голубели горы. Дурачек Жозеф, как всегда, становился в позы под музыку, воображал себя герольдом, вскидывая и опуская воображаемую трубу, дирижировал, не обращая ни на кого внимания. С нами поздоровался как обычно, сказав полунебрежно: « Yes ! » И. А. как всегда следил за ним с острым вниманием, он уже давно говорит, что хорошо-бы его написать, но боюсь, что это желание останется только желанием, как часто у него случается. Да вообще он что-то не работает. Я думаю засиделся. Во всех письмах его зовут в Париж, но он говорит, что не хочет ехать.

Окончили Бруссона. Мы с ним как-то сжились. Можно многое ставить в вину автору, но ни один критик не заметил главного — талантливости книги.

И. А. читал больше двух часов. Конец слушали с особым интересом. И. А. охрип, у меня горели щеки. Потом гуляли, но были так утомлены, что не разговаривали. Ночь теплая, немного туманная. Сейчас пишу при открытом окне, за что И. А. съел бы меня, если бы видел. Но я почти не чувствую холода. Поют петухи.

11 января

Великолепные солнечные дни. Вчера В. Н. ездила на свиданье с какой-то приятельницей в Ниццу, а мы с И. А. в Канны. Были на горе Обсерватории, в первый раз с прошлого года. Поднимались на новом фуникулере. Посреди дороги случилась внезапная остановка на четверть часа. Было просто нестерпимо высидеть эти четверть часа в душной, нагретой солнцем коробке закупоренного купе. И. А. буквально метался, по лицу

было видно как тяжело ему терпеть. Просто жалко было смотреть. Но мне и самой было не в моготу от духоты. Наконец поехали. Наверху, на площадке, еще не открытый или вернее наполовину открытый ресторан. Выпили по стакану красного вина. Великолепный вид: с одной стороны Канны, с другой снежные Альпы, розовые от солнца. Мы пошли оттуда в Каннэ, по дороге была целая роща мимоз и я, несмотря на ужас И. А. — тащить в такую даль ! — наломала целый букет. Смотрели виллы. Нет, ничто не может сравниться все-таки с Бельведер ! Все тесно, жалко. Зато закат был величественно-прекрасный. В цвете моря были все оттенки, от мрачно-пурпурного до почти чугунного. Потом встретили В. Н. на вокзале. Она была в милом, добром духе, рассказывала как прошла от Жуан-ле-Пэн до Гольф-Жуан пешком и тоже любовалась закатом.

Сегодня весь день читаю. Кончила жизнь Гёте. Моя мимоза распустилась; букет ее приятно желтеет на столике. От великолепного дня у меня подъем духа, страстное желанье ехать куда-то, что-то делать, писать. Странно думать, что надо уезжать в Париж из этой южной страны как раз тогда, когда совершился перелом от зимы к весне. Сегодня весь день говорили о том, что хорошо бы перед Парижем недели две поездить, проехать под Биарриц и вернуться в Париж с другой стороны Франции. Рассматривали путеводители, карты, спорили.

Вечером И. А. читал вслух « Пышку » Мопассана.

14 января

Вера Николаевна заболела ангиной. Она лежит. Вчера еще крепилась весь день, « не хотела портить канун нового года », как она говорит. Впрочем канун этот был скромный и незаметный, хотя мы и выпили бутылку Асти за обедом и к дессерту был заказан в кондитерской пломбир. В. Н. была очень бледна и видно было, что ей нездоровится. Теперь мы с И. А. бегаем, беспокоимся и пробуем все средства, чтобы переломить

болезнь. Горло у нее воспалено. Я мажу его утром и вечером.

16 января

В. Н. лучше. Она однако все еще лежит, голова у нее обернута белым кружевом, что ей очень к лицу. У нее тип средневековых женщин.

Встаю рано, готовлю завтрак ей и И. А., убираю, вообще вожусь почти весь день. Чувствую себя, хорошо. Должно быть раннее вставанье мне полезно.

4 февраля

Весь день И. А. писал, как и все эти дни, а я лежала у себя и читала « Детство и отрочество ». В разгаре чтения он вошел и дал мне прочесть только что написанную главу. То и другое у меня как-то сплелось, но вместе с тем я необыкновенно остро почувствовала разность Толстого и И. А. У последнего все картинней, « безумней », как выразился о себе он сам. И еще читая эти изумительные прекрасные страницы о его отрочестве, мне стало грустно, жаль молодости . . .

Теперь мы с ним говорим только о писании и о писании. Мне кажется, что все, что я даю ему читать, должно казаться слабым, беспомощным и сама стыжусь этого. А он все говорит, что я гневлю Бога, сделав такой скачок за год и жалуясь на недостаточную быстроту движения вперед. Но что же делать, если я чувствую себя рядом с ним лягушкой, которая захотела сравняться с волом ?

13 февраля

Ночью проснулась от мистраля. Зачинаясь откуда то издалека он налетал и обрушивался с таким гуденьем, ревом и свистом, что дом дрожал, гремела крыша, раскрывались сами собой в наглухо запертых комнатах двери. Через полчаса у меня от этого беспрестан-

ного напора, почти ощущаемого обрушиванья, стали болеть кости, тело, сердце стало биться утомительно резко, и в голову полезли ночные мысли о землетрясении, о человеческой слабости, одиночестве. Я вдруг впервые ощутила в своем теле скелет т. е. то страшное, костяное, мертвое, на что мы смотрим обычно со смесью ужаса и отвращенья. Я представила себе как лежит этот скелет, спрятанный во мне, уродливо повторяя положение моего тела, подогнув колени и руки, и еще, что таких скелетов в доме три...

Мне было так нехорошо, что я стала думать, что лучше было бы поскорее уехать отсюда. Мистраль продолжался до света. В конце концов на меня нашло тупое забытье. Остальные тоже не спали.

Сейчас опять солнце. Анжелика с другой женщиной моют и чистят дом перед отъездом, перед раскрытыми настежь дверьми в столовой в саду, стоят вынесенные ими кресла и стулья, тепло как перед Пасхой, и все вместе напоминает мне юность и роспуск на каникулы в гимназии на Печерске. Я уже ничего не делаю, читаю книгу Бессонова «Двадцать шесть тюрем» — замечательная в некоторых отношениях книга — убираю с И. А. вещи и живу предъотъездным напряжением...

15 февраля

В саду совсем уже по пасхальному тепло, цветут нарциссы и ирисы, перезваниваются птицы, и во мне растроганность и умиленье, и жалость — как покидать все это, возвращаться опять в туман и непогоду?

Ходим гулять одни с И. А. — по случаю нездоровья В. Н. — укладываем вещи, что взять, что оставить, говорим без конца о книгах, о писании, о жизни в Париже. Странно представить себе, что уезжаем чуть ли не через два дня.

16 февраля

Опять собирались, укладывались. В. Н., не вста-

вая, сидит, переписывает свою книгу. Она ее только что кончила и радуется этому как малое дитя. Мой же рассказ еще на прошлой неделе отослан в газету, отослана и рукопись И. А.

Сегодня погода хуже, туманно, серо, но все тепло и во всем весна.

18 апреля

Ментона

Из Парижа выехали 5-го утром. Нас провожал Рощин. Ехали в такси вчетвером, все время шутили, смеялись — настроение было радостное. Город был очень красив, прекрасное весеннее утро, Сена блестела на солнце, особенно хорош был Тюльерийский сад, мимо которого проезжали. На вокзале быстро распрощались: Рощин со всеми расцеловался. Как только поезд тронулся, я стала у окна в коридоре, где и простояла часа два. В. Н. наоборот сразу чуть только мы тронулись, обернув голову кружевным шарфом, уселась в уголок и погрузилась в чтение. И. А. еще не пришел в себя, был беспокоен, хмур, то и дело вскакивал с места, доставал то табак, то спички, то какие-то вещи из разных чемоданов, беспрестанно теряя ключи и сердясь, а я то стояла и смотрела, то сидела и опять смотрела на плывущие мимо окна светлые поля, на венок сухих серых деревьев на горизонте, на белые, яркие то и дело наплывающие из-за серых лесов облака.

В половине второго пошли завтракать в вагон ресторан, и опять было весело и светло, так что даже закрыли с одной стороны шторы от солнца, и все забавляло и радовало, даже луч солнца, разбившийся в хрустальном стакане с монограммой, даже качанье поезда. Только И. А. по обыкновению бранил прислугу, меню, вино . . .

В пять часов приехали в Дижон, где решено было сделать первую остановку и ночевать. О Дижоне мы ничего не знали, кроме того, что там можно хорошо поесть. Остановились в гостинице « Колокол » (« La Cloche ») самой старинной и почтенной. Оказался прекрасный

спокойный отель, выходящий окнами на широкую площадь с высоким памятником и сквер Дарси. Комнаты взяли в верхнем этаже, как любит И. А., три подряд: все очень большие, спокойные. Окно в моей было узкое, глубоко в белой известковой стене, совсем монастырское, и потолок к нему шел по старинному — сводами. В комнате И. А. стояла великолепная дубовая, настоящая королевская кровать с торжественно возвышающейся резной спинкой. Едва осмотревшись и вымыв руки пошли в город. Тут нас ждал сюрприз: никто никогда и словом не обмолвился, что этот город настоящая маленькая драгоценность — какие там есть дома, какие площади, какие улицы ! Все старинное, спокойное, широкие и высокие крыши, прохладные черные церкви с мраморными фигурами ландграфов на черных гробницах, целые улицы низких, немецкого типа домов, зеленые закоулки с дворами, точно сошедшими со старинных картин . . .

Обедали мы в рекомендованном нам хозяином книжной лавки, где мы покупали план города, ресторане « Три фазана ». Выпили две бутылки прекрасного бургундского вина; И. А. решил непременно попробовать знаменитых дижонских улиток; подали полдюжины на круглом серебряном блюде с углублениями. Брать улиток из этих углублений надо щипчиками. Попробовала и я полъулитки — похоже на жареную резину с чесноком. Оттуда пошли прямо домой. Увы ! Мне не хотелось спать, я была возбуждена этим новым городом, теплой прекрасной ночью, вином и долго еще сидела, сначала на подоконнике у раскрытого окна, потом на постели, пытаясь даже писать стихи, из чего, впрочем, ничего, как и следовало ожидать, не вышло. Глубоко внизу под окнами лежала пустынная ночная площадь, горели медальоном зеленые гроздья фонарей вокруг темного монумента посредине, на краю горизонта блестели другие огни, мелкие и крупные, изредка долетал свист паровоза . . . Мне было бесконечно грустно и хорошо. Новизна путешествия, красота этого старинного Бургундского города глубоко волновала меня . . .

Утром я вскочила раньше всех, бодрая, возбужденная, и не дожидаясь никого сбежала вниз. Было прекрасное, теплое, яркое утро. Купила в первой попавшейся книжной лавке гид и просмотрела его за кофе в пустом кафе. Потом пошла ходить по городу. Где я только не была в это утро ! И в соборах, и в садах, и на базаре ! Делалось все жарче, ветер колыхал блестящие молодые ветки в голубом воздухе, золотые улицы нежились под солнцем, серые львы, каменные шлемы с перьями, щиты с гербами на фронтонах старых домов поднимались в теплом мягком воздухе и во всем была та сладостная предпасхальная радость жизни, которая столько раз уже в разных городах так волновала мою душу . . .

Я вернулась в умиленном, праздничном настроении с букетиком фиалок у ворота. И. А. сидел в вестибюле и писал письма. Я подошла к нему, поздоровалась, стала говорить о том, как чудесен город. Мы вышли вместе, поехали на вокзал, чтобы узнать когда отходит поезд на Гренобль. До последнего момента, впрочем, он колебался, не знал, ехать-ли прямо через Марсель или решиться на трудное путешествие через Альпы, вкруговую. Все таки поехали на Гренобль. Я с благодарностью и грустью взглянула в последний раз на низкие покатые темные крыши, проплывающие в окне . . .

Ехали в первом классе т. к. во втором, по случаю страстного четверга мест не было. В Лионе пересаживались, ждали час в зале буфета Терминус-отеля, потом ехали до Гренобля почти в пустом вагоне. Я опять долго стояла, смотрела на поля, на розовые пятна деревьев. В Гренобль приехали в темноте, нельзя было ничего рассмотреть кроме горы и золотых огоньков под ней. Взяли опять три номера в отеле Europe, но уже далеко не таких спокойных как в Дижоне. Обедали где-то по соседству: кухня здесь уступает далеко Бургундской, но все же было неплохо, особенно какие-то « каннетон » из щуки в желтом соусе и вино. Вышли из ресторана около десяти, и я уговорила немного пройтись перед сном.

Вышли на набережную Изера и медленно пошли по ней. Светила луна, не яркая, а смутная, затуманенная, тусклая и печальная — настоящая оссиановская, внизу стремительно неслась река, над ней с двух сторон возвышались туманные высокие горы, кое где поросшие черным тонким кустарником, похожим на стоящие дыбом черные волосы, а по обеим берегам, соединенным мостами, вытянулся спящий пустой город, невиданного еще мной вида, напоминавший швейцарские маленькой четырехугольной башней со шпицем. С нее вдруг потек звон, долгий, звучный . . .

— Вот настоящая Савойя, мертвое славное прошлое ! . . . — воскликнул И. А. с волнением . . .

На следующий день после полудня тронулись дальше. Красота гор от Гренобля до Сент-Обана даже И. А., все видевшего в мире, поразила. Пошли настоящие снежные Альпы, все повышаясь, все раскрываясь. Помню, долго стоял на страшной высоте странной формы гигантский камень-вершина — совсем голый гранитный готический корабль-храм на пустой дикой скале. Мы поворачивали, объезжали гору, а он все стоял в небе, пугая и привлекая своей красно-серой громадой.

В Сент-Обан приехали под дождем, в густой тьме. Высадились на глухой провинциальной станции с керосиновым освещением. Контраст с теплым уютным светлым купе первого класса был такой, что мы с невольным сожалением посмотрели вслед уходившему, блестевшему огнями поезду. Оглядевшись И. А. со свойственной ему страстностью пришел в ужас. И это тот Сент-Обан, о котором он столько мечтал в Грассе ! Некрасивые невысокие горы, какие-то цистерны, трубы, маленькая, утонувшая в темноте станция с освещенным одной керосиновой лампой под железным абажуром буфетом, где ждали не очень ласково оглядевшие нас крестьяне . . .

В этом буфете мы ждали около часу, пили кофе с коньяком, потом долго ходили но темной грязной платформе. Накрапывал дождь, окрестности тонули в теп-

лом мраке, темный поезд без паровоза казался спящим, только впереди возились какие-то люди с фонарем и блеяли бараны в темном вагоне...

Наконец в девятом часу тронулись — поезд осветили, и как мы обрадовались электричеству! В Дине были через сорок минут, но тут нас ждали неприятности. Оказалось, от станции до поселка далеко, едва попали в битком набитый автомобиль какого-то отеля, где комнат не оказалось, и И. А. в страшной ярости и беспокойстве ходил отыскивать их в других отелях. Наконец устроились в двух комнатах: мы с В. Н. в одной с двумя постелями. Вышли: поселок скучный, состоящий из одной улицы между двух рядов платанов, ничем не привлекательный. Замечателен только тем, что описан у Гюго в «Мизерабль». Решили выезжать в пять часов утра. Ужинали в нашей комнате и засиделись до часу: И. А. вспоминал, рассказывал о прошлом, о юности, о родных.

В половине пятого он проснулся и стал будить нас. Мы встали, оделись и, конечно, оказалось, что надо ждать еще целый час. Опять он нервничал, сердился, кричал на ленивого и хладнокровного шофера.

Наконец кое-как выбрались и, проехав по спящему, светлому Диню, по шоссе, оставляя позади голубоватые прохладные горы, подъехали к вокзалу. Поезд, совершенно пустой, стоял и ждал чего-то. Казалось, он ждал бы и еще час. Шофер весело-лениво сказал мне, пожимая плечом: «Я ведь знал... что было беспокоиться!»

Устроились в примитивном деревенском вагоне. Шел теплый утренний дождь, ничто не шевелилось, цветущие деревья мягко белели в долине, под высокой серой горой.

Ехать оказалось совсем не так ужасно, как думали сначала. Да и скоро пошли уже знакомые места: провансальские горы, оливки, городки из тесно слепленных домов под черепичными крышами. Мы попеременно дремали на диванчике с подложенными чемоданами, выбегали с И. А. на какой-то станции за сыром и вином

— стало уже проясняться, блеснуло солнце на круглых мокрых каменных глыбах...

25 апреля

Ницца

Поселились в маленьком отеле, в котором 25 лет назад жил Боборыкин, что и дало И. А. мысль взять в нем комнаты. Живем мы в верхнем этаже — моя комната в другом конце коридора, окна выходят в пальмовый сад на юг.

В Ментоне, где мы прожили около двух недель, подали огромный счет, который произвел на всех впечатление. Здесь совсем скромно, прислуги только лакей и горничная на весь отель, хозяйка — монументальная усатая старуха, которая хранит в шкапу сочинения Боборыкина и говорит о нем с почтением. Вчера завтракали и обедали в русском ресторане.

Ницца веселее и оживленнее уже совсем замирающей Ментоны. Вечером ходили гулять, но очень ненадолго т. к. И. А. валился с ног от усталости. Сегодня, после крепкого сна — хотя и будили сначала автомобили и уличный шум — взяла ванну, убрала немного комнату. Окно веселое, яркое, небо и крыши домов в нем освещены уже по летнему, но перед отелем аллея платанов в молодой еще прелестной зелени, соединяющейся вверху, нежно зеленой и просвечивающей. Через несколько дней это, конечно, изменится, но пока чудесно.

2 мая

Вчера, когда мы закусывали у В. Н. в номере, вдруг постучали. Она пошла отворять и мы услышали из соседней комнаты ее радостные восклицания. Оказалось, что это Алданов, в тот же день приехавший из Парижа в Ниццу по вызову кинематографической компании, которой он должен дать исторические справки для фильма. Все мы обрадовались, словно только сейчас

поняли как скучали до сих пор. Его усадили, начались расспросы. Он рассказывал, что был в Ницце 16 лет назад, молодым, и что испытал очень грустное чувство, объезжая знакомые места.

— Ну, что у меня теперь впереди ! — сказал он грустно.

— А слава ?

Он отмахнулся с досадой.

— Ах, слава ! Полноте . . .

Мы пошли с ним в ресторан в старом городе, рекомендованный ему приятелем. Оказался кабачек под землей, в лабиринте улиц, узких как коридорый. Вход через кухню. Хозяин наигранно напевает, называют его père Бутто, на меню написано, что заведению 60 лет. Обедал только Марк Александрович[1] , а мы ели спаржу и пили розовое вино. Говорили о литературе, о молодых писателях. Потом проводили его в « Руль », где у него было назначено свидание с режиссером Волковым.

6 мая

До отъезда в Грасс осталось четыре дня. Но нам эти четыре дня кажутся очень долгими. Ницца надоела как и Ментона. И. А. томится. Я вижу как ему скучно без дела. Не помогает даже ежедневное общество Алданова, с которым мы завтракаем у Бутто. Вчера приезжал из Грасса Фондаминский, говорил, что там чудесно, сад цветет, спрашивал о моих стихах в « Современных записках ». Очень хвалил меня, как и в прошлый раз.

8 мая

Ездили с Алдановым в Эз. И. А. взял автомобиль, я села впереди с шофером. Ехать было истинное наслаждение. Все время шли дожди, и поэтому я почти забыла настоящее ощущение юга: жáра, обилия света,

---

1 М. А. Алданов.

красок. И вот снова — синее, в крупной серебряной зыби море, опускающееся и увеличивающееся по мере того, как мы поднимались, курчавый, похожий на кашалота в ярко-синей воде мыс Ферра, горы, поросшие соснами, в знойных тенях, и желтые пятна цветущего на крутизне дрока . . .

Эз — маленький, тесно слепленный на вершине скалы, составляющий почти одно с ней, первобытно серый городок. Городок мертвый — жителей в нем почти нет. Зато живет сын шведского короля, занимающийся литературой, в одном из неприступных домов на сваях, висящих над обрывом, и чудак американец, поставивший в грубые каменные стены провансальского дома музейную дверь в тончайшей резьбе.

Поднялись наверх — как далеко видно оттуда море ! Алданов не добрался: все время говорил, что ему хочется « на полати » и вспоминал об оставленной дома работе. Он — неврастеник, не выносит долгого пребывания на людях. Меня поразило, что он не знает какой вид имеют оливки и спрашивает, когда они « покрываются ягодами ».

Пили чай в стеклянном павильоне, где стояли на всех столах розы, на среднем — великолепный букет буйно распустившихся тюльпанов — было жарко, нагрето солнцем сквозь стеклянную парниковую крышу...

Вернулись рано, в пять: И. А. устал, Алданову надо было работать. Вечером у меня в комнате говорили о молодости И. А., он рассказывал о своей любви к Варваре П. [1] С неприятным чувством говорит об этом времени . . .

15 мая,

Грасс

Десятого мая вернулись в Грасс. Никогда не думала, что буду так радоваться саду, дому, деревьям,

[1] Варвара Пащенко.

знакомой туманно-голубой равнине. Первые дни все спала, лежала, находясь в блаженно-развязанном состоянии. Все тревоги временно куда-то отложились сами собой. Мы дружно убрали дом, с необыкновенной быстротой разобрали и разложили вещи, убрали комнаты. Я опять живу в той комнате, в которой меня поселили в прошлом году, в мае. Рядом со мной, как и в прошлом году, — Илюша. Он на этот раз немного рассеяннее и держится более одиноко — у него неприятности, и политические, и домашние. В. Н. все время в ровном, хорошем настроении. Я ничего не делаю т. е. не пишу. Читаю Луиса « Песни Билитис » и много о них думаю. Эта форма мне очень нравится и допускает большую свободу, чем стихотворная. Надо попробовать.

Вилла Монфлери под нами опять пуста, и я с наслаждением думаю о том, что опять можно будет ходить по ее саду, пробираться вниз мимо каменного водоема, по террасам. Я так люблю эти места. Мне кажется, что кроме природы у меня здесь ничего моего не осталось. Это одно не изменится, не разделит себя, не оставит до самой смерти.

17 мая

Читаю жизнь Альфреда де Виньи. До сих пор мало знала о нем. Теперь вижу, что жизнь его души — повторенье одной из бесчисленных схем жизни собирательной души поэта-художника. В каждой из таких душ есть одинаковые черты, весьма знакомые и мне.

И. А. читает « Конец Мопассана » и все время даже за столом делится с нами прочитанным. Из этих рассказов заключаю, что в каждом из нас есть сумасшедший.

Сейчас только была в кабинете И. А. и мы вспоминали испуг позавчера ночью подле виллы Монфлери. Мы пошли туда вечером, было очень темно, мы ходили по аллее и разговаривали о стихах. И. А. подошел к наглухо запертой двери и потряс ее, говоря: « Как жаль, что нельзя посмотреть комнаты . . . » В ответ на

его движенье где-то внутри послышался как-бы стук растворяемой двери. Мы замерли.

— Что это ? Что ? — задыхающимся шепотом, в котором был ужас, сказал И. А.

В одно и то же время мы вспомнили, что здесь года два назад кто то умер, но оба промолчали об этом. Я искусственно-спокойно стала говорить, что ничего не может быть, что это ветер, но все же мы отошли от дома и пошли прочь по аллее. Когда дошли до конца — страх уже охватил и меня. И. А. стал шутить, предлагал вернуться, но видно было, что он сам был испуган. Оба мы думали о мертвеце, который выходит на наш стук.

24 мая

После завтрака И. А. как всегда внезапно сорвался и мы поехали в Ниццу. Прыгали с автобуса на поезд, с поезда в экипаж, потом опять в автобус. Бегали по делам, и я не успела даже взглянуть на Ниццу. Зелено, весна в лесах по пути. Говорили о моих дневниках, которые я перепечатываю очень усердно. И. А. расспрашивал меня о Праге, о том, что именно я хочу писать из того времени. Рассказывала, кажется, довольно вразумительно. Он сказал, что это поэтично, хорошо, надо только умело расположить материал.

Ницца точно выпитая для меня. Странно, что нет в ней Алданова. С ним было веселее, хотя часто и грустно. Интересные беседы за завтраком, сами эти завтраки в ресторанчике в глубине старого города, в узенькой итальянской уличке, над которой висели всегда бумажные пестрые флаги. Хорошо было выходить после бутылки розового вина или пьяного белого « Сенека » в блеск и тепло послеполуденных улиц. Вечером танцевали под этими флажками. В улицах было множество кошек, грязных, худых, — нищенок. Хозяин кабачка père Бутто, конечно, плут. У него наигранная манера фамильярничанья с клиентами, припеванья, прибаутки.

Дешево, вход через кухню, из особого щегольства, но порции на таких крохотных тарелочках, что И. А. всего брал всегда по два раза. Он внушил себе, что там готовят хорошо и что можно есть только там, хотя макароны нам не раз давали полусырые, за что дома бы досталось всем. Алданов однажды после рыбы страдал два дня — подавился маленькой костью дрянной крохотной рыбешки.

Об Алданове надо бы записать многое. Очень рассмотрела его за эти ницдкие завтраки. Здесь он был « обнаженнее » чем в Париже. Его общество было интересно и как антипод И. А. Сравнивала их с интересом.

7 июня

Кончила рассказ « Олесь ». Наши хвалят. Илюша [1] сказал: « Превосходно ! Даю вам честное слово, что говорю искрено и с точки зрения редакторской. Как начал — оторвался только после конца, а думал просто просмотреть . . . »

Я все-таки отношусь к этому с осторожностью.

За столом И. А. рассказывал о Чехове:
« Один раз заставил меня читать ему вслух его рассказ « Студент » там описывается пасхальная ночь, костер в поле, студент рассказывает людям, сидящим подле него, о Христе и чувствует, что назад точно протягивается какая-то цепь. Когда я кончил Чехов сказал: « Ну, какой же я пессимист ? . . .

Только один раз был груб: Я прочел его рассказ, где солдат возвращается через Индийский океан. Там совершенно божественный конец. Когда я кончил, то воскликнул: Почему нет ничего дальше ? . . а он очень резко ответил: « Я пишу только то, что могу ». Обиделся. И я обиделся ».

Илюша: На что же он обиделся ?

— Очевидно чувствовал, что не мог написать. Вот там и переход и Индийский океан, а он не мог . . .

---

[1] И. И. Фондаминский.

Бывало: разлетится к нему какой-нибудь посетитель: « Ах, дорогой, какое высокое художественное наслаждение вы доставили нам своим последним рассказом » . . .

Чехов сейчас же перебивал:

— А скажите, вы где селедки покупаете ? Я вам скажу где надо покупать: у А., у него жирные, нежные . . . — переводил разговор. Как ему кто нибудь о его произведениях — он о селедках. Не любил.

18 июня

« Олесь » напечатан и в печати понравился мне. Получился огромный фельетон в 720 строк. Я очень рада, хотя именно сегодня была занята трудной главой нового рассказа, чтобы почувствовать вполне эту радость. Пишу рассказ о Константинополе: описывается русская кельнерша, ее жизнь, город с его красотой и нищетой и то, как она, незаметно для себя, затягивается этой жизнью вокруг нее. Пишу свободней и тверже чем « Олеся » потому что воображение стало гибче и мне точно открылись неисследованные страны. Живу только писанием: как машина встаю, утром пишу, потом завтрак, лежу, немного гуляю и опять сажусь писать до вечера . . . И все время думаю о том, о чем пишу, живу только в этом мире, который описываю. И. А. делает то же, но он пишет медленнее чем я и еще не вошел как следует быть в работу.

24 июня

Были вчетвером (с Борисом Зайцевым) [1] на провансальском спектакле « Мирей » Мистраля, поставленном под открытым небом, под платанами, на главной эспланаде.

Несмотря на наивность и бедность постановки — хорошо. Я очень отвыкла от театра, особенно от оперы,

---

[1] Б. К. Зайцев.

и было непривычно грустно и приятно. Хорошо было и солнце, освещавшее листву платанов, и лица актеров и провансальские мелодии, и провансальские тамбурины и дудки, на которых играли « дядьки » в белых, подпоясанных красными поясами костюмах, и голубоватые горы вдали, и женщины в арлезианских уборах, проходившие, обнявшись, по эспланаде, на фоне этих гор, и черепичные крыши старого города, ярко освещенные солнцем и как будто слушающие издали наивную и вечную историю любовников, разлучаемых отцом. И. А. не высидел до конца — пошел домой писать. Он вообще уже отсутствует из общей жизни. Зато Зайцев, живущий здесь третий день и с видимым удовольствием глядящий на все и на всех, был очень доволен и остался с нами до конца. Он мне приятен. Илюши дома нет, он поехал к Мережковским.

4 июля

В субботу 30-го уехал Илюша. Накануне отъезда он позвал меня на верхнюю террасу сада и сказал, что если мне что либо понадобится в жизни — я могу обратиться к нему и он сделает все, что будет в силах. Затем дал несколько советов: от каждой получки откладывать часть, чтобы не быть в зависимом положении, посылать эти деньги ему, а он будет обменивать их на фунты. Говорил о работе над собой, о борьбе с мыслями, о развитии, о чтении, о работе над своими способностями. Сказал, что я должна смотреть на свою жизнь здесь, как на передышку.

Я была очень тронута. Меня поразило, что ко мне так добр этот почти чужой человек, к которому не только я, но и И. А. относится с уважением. Вообще, я еще ни разу по настоящему о нем не писала, а сколько он уже помог мне в духовном отношении ! Сколько раз я напоминала себе о нем, о его выдержке, силе воли, твердости, мужественности в одиночестве, упорстве в работе, и это напоминание помогало мне жить. Он уехал провожаемый всеми с сожалением. Теперь часто ду-

маю о нем и о его словах и хочу, что бы он не ошибся в своих надеждах на меня.

28-го кончила рассказ. Окончив, выбросила из него две главы (почти десять больших страниц) и то он получился огромный — полтора печатных листа. Назвала в конце концов « Золотой Рог », прошлое заглавие было чересчур изысканно. Думаю послать его Демидову.

18 июля

Необычайно жарко. С утра до утра как в духовой печи. Особенно тяжелы ночи. Случилось так, что моя комната над кухней и стена отапливается. В соединении с 37° в тени это невообразимо. Я стала бояться ночи, своей комнаты, того жаркого, лилового, неподвижного, на все лады тихо звенящего, что за окном. Нервы расстроены, сердце слабо, вся в поту беспрестанно и не знаю куда девать себя, как забыть себя. Со всеми тяжело, хочется куда-нибудь заползти и спрятаться, навсегда, совсем . . .

20 июля

Не знаю когда это прекратится. Жара небывалая. С утра ложусь на верхней террасе под фигу с книжкой. Пытаюсь читать, писать стихи, читаю Эредиа, Луиса, Бодлера. Ночи проходят попрежнему ужасно. Ничто меня не радует — разве листья, деревья, да и то как сквозь сон.

Вчера сидели с И. А. вечером в саду. Разговаривали.

— Ну мучиться, и надо мучиться, — говорил он. — Все мучаются. Терпеть надо . . .

Сегодня В. Н. и Зайцев ездили в Канны, а я все послеобеда печатала « Арсеньева ». Замучился И. А. с « покойником ». Не знаю почему, но мне кажется, что была допущена ошибка в построении. Это повторение с покойником меня мучает. Я осторожно пыталась сказать об этом. Но он, кажется, и сам видит это.

28 июля

Собираются тучи. Душно. Капитан уехал на три дня в Ментону т. е. шляться. Зайцев послезавтра уезжает в Париж. За время его жизни здесь поняла какой он приятный собеседник. В нем есть некая « приятная умеренность », говоря его стилем. У нас часто бывали интересные разговоры, и я заметила, что он стал считаться со мной.

Лето жаркое, я давно не пишу и чувствую с грустью некое томление. И. А. мучается с началом третьей книги, Рощин диктует мне иногда рассказы для газеты с такой философией, что я начинаю с отчаянием думать о бесполезно потраченном времени. Он как то читал нам свой большой рассказ, который рассчитывает послать в « Записки » — и, Боже, что там накручено ! И фамилия героя — Антропов !

Я стала опять писать стихи и, кажется, недурные, по крайней мере окружающие хвалят, даже молчаливый и скупой на похвалы Зайцев — но все же чувствую себя слабо и грустно. Купаться ездим часто. Я много читаю, по французски особенно. Иногда за столом бывают большие разговоры о прочитанном, и я очень горячусь. Стараюсь себя воспитывать, учусь сдержанности.

7 августа

И. А. теперь часто от нечего делать дразнит капитана то за столом, то заглядывая к нему в комнату в замочную скважину и уверяя, что он там сидит и сам с собой разговаривает, плюясь и ворча как старик. Когда гуляли как то вечером наверху, он указал ему на полуразвалившийся забитый домик над шоссе и шутя стал предлагать снять эту хижину и назвать ее « Овечий Эрмитаж ».

Капитан от этого хохочет до слез, приседает и в голосе у него является что-то мальчишеское, когда он без устали твердит сквозь смешливые вохлипыванья:

« Вот ей-Богу . . . да, ей-Богу . . . Вот всегда ей-Богу . . . » Дальше у него не идет. И. А. очень весел и этим забавляется Его « образумливания » капитана следовало бы записать — так они интересны.

22 августа

Столько раз собиралась записать поподробнее о течении нашей жизни — о всех и о себе — и никогда на это не находится времени. А между тем лето уже кончается, скоро сентябрь и с ним изменение жизни. Возможно, что И. А. поедет в Сербию, на съезд писателей, и тогда это выбьет всех нас из колеи. Живем мы очень однообразно, много тише, чем в прошлом году. И. А. долго бесплодно мучился над началом третьей книги « Арсеньева », исхудал и был очень грустен, но в конце концов сдвинулся с места и теперь половина книги уже написана. Третья книга опять очень хороша, но мне чего-то жаль в маленьком Арсеньеве, который уже стал юношей, почти беспрестанно влюбленным и не могущим смотреть без замирания сердца на голые ноги склонившихся над бельем баб и девок . . .

Вообще И. А. не тот, что был раньше. Перемена эта трудно уловима, но я знаю, что она в отсутствии той молодой, веселой отваги, которая была в нем год-два назад и так пленяла. Он внутренне притих, глаза у него часто стали смотреть грустно . . . « Ничто так не старит, как забота », часто поговаривает он. Но все же он часто шутит, даже танцует по комнате, делает гримасы перед зеркалом, изображая кого-нибудь (и всегда изумительно талантливо), дразнит капитана так, что тот приседает от смеха. Капитан тоже присмирел в это лето, не так часто ругает кого-то в пространство, аккуратно каждое утро уходит писать в сад под фигу, меньше ждет писем, не бросается к почтальону, меньше спорит с В. Н. (хотя все-таки спорит), глядит покорнее. Все же попрежнему любит поездки и иногда, когда есть деньги, заливается куда-то на два-три дня на велосипеде: « в контрольную поездку », как дразнит его

И. А. Возвращается « на голеницах » тоже по словам И. А., всегда почему-то немного виновато, а мы все его дружно расспрашиваем и поддразниваем.

В. Н. попрежнему сидит постоянно за машинкой, не гуляет, бледна, и я часто чувствую сквозь стены как-бы какое-то болезненное веянье. Это отражается на мне тяжкой тоской — я замечала несколько раз, что хуже себя чувствую, когда она в дурном состоянии и веселею, когда оно делается легче. Иногда это меня пугает.

Сама я живу не очень хорошо. Попрежнему « безутешно грежу жизнью ». Попрежнему сомневаюсь в себе, тоскую, браню себя за лень, хотя все время как-будто что-то делаю. В это лето мне стало уже казаться, что моя первая молодость прошла . . .

Я давно ничего не пишу прозой и как-то привяла. Должно быть жаркое лето меня обессилило. Правда я пишу еще время от времени стихи, но они меня мало радуют. Единственное настоящее дело — подготовила книгу стихов И. А. — перепечатала две трети, а главное затеяла это — без затеи же это бы никогда не сдвинулось с места. Перепечатывая стихи многое узнала, увидела в них то, чего прежде не видела. Есть стихи изумительные, которые никто по настоящему не оценил. Мы много говорим с И. А. об отдельных стихотворениях. Думаю, что могла бы написать о его поэзии большую статью, если бы не страх ответственности и не моя слабая воля . . .

Как трудно, например, засадить себя за писание ! Я уж выдумала ходить с тетрадью наверх в рощу, где есть дубы и мирты и от них прохладная влажная тень. Там ложусь, слушаю как листья шумят — оливки очень красивы на синеве неба и долины, но не шумят, а шум — душа дерева — и наслаждаюсь прохладой, запахом, густотой лиственного покрова, отдаленным сходством его с русскими рощами и лесами. Напоминает иногда немного и Богемию, особенно то, что я хожу в лес с тетрадью, как делала когда-то в ее лесах, записывая стихи, которые сначала говорила громко,

бредя куда глаза глядят среди красных сосновых стволов с далеко шумящими вершинами... Но там я была окрылена своими стихами. Здесь пишу их грустно, как-то смиренно. И. А. говорит, что это взрослость. Да, может быть.

27 августа.

Вчера, в воскресенье были в Горж дю Лу. Было очень хорошо, но И. А. зевал и утверждал, что будет дождь, а он в смысле предсказаний погоды лучше барометра. В ущельи прошли далеко над потоком, и я вспоминала, как была там первый раз « туристкой » три года назад. Потом мы ночевали в Грассе в отеле, и мне и в голову не приходило, когда я смотрела утром в окно, заслоненное горой, что в этом городе я буду скоро постоянно жить.

Небо над ущельем было водянисто-голубое, чистое, нежное. Под скалами апельсиновые сады, дальше виноградники, яблони с красными уже яблоками, фиги. А дальше совсем дико, ежевика цепляется за ноги и длиннолистые округлые деревья, напоминающие наши приречные вербы, наклоняют к воде длинные тонкие ветки. Сидели над потоком, ели виноград, фугасеты [1]; капитан из-за своего обычного молодечества лазил по отвесным голым камням к потоку, мочил ноги. И. А. его поддразнивал. Через час в ущельи стало скучно, огромные стены гор заслоняли солнце, да и вообще уже стало хмуриться. Когда мы вышли из ущелья на мост, предсказанье И. А. стало сбываться — небо затянуло серыми тучами, вершины гор стали дымиться. Пошли пешком по шоссе, по направлению к дому. Шли и спорили, главным образом, конечно В. Н. с капитаном, на тему о том, достаточно ли было содержание офицеров в России, лет двадцать назад. Капитан утверждал, что оттого и шли в офицеры, что соблазняла обеспеченность, а В. Н., наоборот, доказывала, что ее

---

1 Провансальские белые хлебцы.

брат, офицер, нуждался и жил с трудом. И. А. поддерживал капитана, бранил Куприна за « Поединок », говоря, что того, что там написано, не было: краски безбожно сгущены. Я больше слушала, т. к. двадцать лет назад была совсем ребенком. Автобус нагнал нас только за Баром. Готовили обед дома сами, т. к. прислуга по случаю праздника была отпущена. За обедом разгорелся другой спор, в котором уже В. Н. и я были против И. А., поддерживаемого капитаном. Спорили о повести одной молодой писательницы, которую И. А. при Илюше очень хвалил, а теперь отрицал это и говорил, что « надо понимать оттенок » и что говорилось это в относительном смысле. Я разгорячилась забывая, что к И. А. обычные мерки неприменимы и что надо помнить о его беспрестанных противоречиях, нисколько однако не исключающих основного тона. Так о Чехове, о котором он говорил как-то восхищенно, как о величайшем оптимисте, в другой раз, не так давно, он говорил совершенно противоположно, порицая его, как пессимиста, неправильно изображавшего русскую провинциальную жизнь и находя непростым и нелюбезным его отношение к людям, восхищавшимся его произведениями.

Впрочем вечером мы с ним вполне помирились. Сегодня он пишет статью для « Последних Новостей » о Толстом. Толстой неизменно живет с нами в наших беседах, в нашей обычной жизни.

2 сентября

Вчера и позавчера был сербский профессор Белич, ночевал. Говорили, кажется, восемь часов подряд вечером и пять утром. Он говорил о съезде писателей в Белграде, о предполагаемом журнале, о книгоиздательстве. Приглашал И. А. быть редактором журнала с Мережковским и Струве [1]. Соединение противоестественное и заранее обрекающее журнал на гибель, и И. А.

---

[1] П. Б. Струве.

разумно отказался. Да и не о том он теперь должен думать... Выяснилось, что съезд не имеет ничего общего с сербами и затеян русскими. Значит И. А. может без зазрения совести не ехать, а побывать в Белграде его приглашают зимой. Говорили об этом отдельно. Возможно, что поедем туда все вместе вместо Парижа в январе. Посещение Белича и такие долгие разговоры всех утомили и выбили из колеи. Р. уехал на остров, хотя денег у него нет — он мрачен т. к. надеялся на что то от Белича, чего и сам объяснить не может. И. А. читает лежа, В. Н. пишет. Погода переменчивая, холодная.

За завтраком были одни и говорили о нужности для эмигрантов-писателей второго толстого журнала. И. А., и я возражали В. Н., которая находит, что раз дают деньги, надо делать журнал. Мы же, вспоминая весенние « редакторские заседания » с Илюшей во время прогулок и отсутствие материала даже для « Современных записок », говорили, что создавать другой журнал, значит разбивать силы, размельчать материал и губить уже имеющийся и хорошо поставленный журнал и вообще пускаться в плаванье, обреченное на гибель.

3 сентября

Письмо от Демидова. Пишет, что задерживает « Золотой Рог » для того, что бы выговорить мне у Волкова (издателя) франк за строчку, что уже сделано и теперь я получу за рассказ по новой расценке. Обрадовало меня это больше духовно т. к. указывает на хорошее отношение ко мне в редакции.

Звонила из Ниццы Тэффи. Пригласила нас завтракать в среду, когда И. А. собирался ехать туда для разговоров с Беличем.

Прохладно. Тучи, но море яркое. Я все читаю Чехова и о Чехове. Когда он стал заниматься литературой серьезно, и появились первые признаки его славы, мать сказала о нем: « Ну, теперь потеряла я моего Антошу »...

5 сентября

Сегодня первая половина моего рассказа в « Последних Новостях ». И. А. вечером в саду сказал: « А я сегодня много думал . . . Бог дал вам хороший, редкий по нынешним временам талант. Надо постараться его не прогулять. Надо очень поработать . . . »

7 сентября

Выехали из дому с утра, чтобы попасть в Ниццу к завтраку. В городе купили газеты, и всю дорогу в автобусе я читала первую половину своего рассказа.

Стоя затем у окна, уже у Биота, и глядя на море, стеклянно зеленое, белой пеной всходившее на белый полукруг берега, я думала о том, что такие дни мы потом обычно называем в жизни счастливыми. И в самом деле: прелестное морское утро, вдали рассыпавшийся под голубоватыми глыбами гор белый город в голубом тумане над нежнейшим в мире морем, радостное сознанье своей молодости, того, что в этот день тобой написанное читают в разных концах мира, а впереди — встреча с интересными людьми, завтрак в хорошем ресторане, остроумная беседа . . . Так я и сказала И. А., облокотившемуся рядом со мной на перила окна, и он подтвердил: « Еще-бы ! Конечно, это счастье. И надо ценить его ! » Насколько это было возможно для меня — я это сознавала и ценила. Мир был в этот день для меня другой чем всегда, и я смотрела на него с радостным бесстрашием.

Завтракали мы на берегу моря в известном рыбном ресторане Рено.

Тэффи, встретившаяся с нами так, точно вчера расстались, была изящно одета в чесучовый костюм, вышитый впереди синей словенской вышивкой крестом. Ели буябесс и куропаток. И. А. был не так весел, как всегда в таких случаях. (Он любит Тэффи). В три часа он ушел на свидание к Беличу, а через полчаса пошла

по своим делам и я. С наслаждением прошла по горячей, пустой набережной, отдыхая от людей и напряжения разговора. Как хорошо послеполуденное море !

В пять часов я нашла всех в зале поплавка Негреско. Был, кроме прежних, Белич с женой и тремя дочерьми — типичными славянками. Ели мороженое и говорили друг другу любезности. Видно было, что И. А. устал. Возвращались на закате. И. А. говорил мало, а в автобусе затих и сидел, закрыв глаза. Молчала и я, только В. Н. говорила без умолку — усталость у нее выражается так.

На бульваре в Ницце, в идущей навстречу худой светловолосой женщине с бледным лицом и нарисованными, изломанными, мучительно тонкими бровями, узнала актрису Соловцовского театра, Янову. Вспыхнуло в душе то, что было давно, давно . . .

Она — на сцене, в каких-то необыкновенных, вычурных, сложных туалетах, она на Крещатике, в прекрасный весенний день, в большой шляпе с поднятым впереди краем, под прозрачной светлой вуалью прижавшей ей слегка ресницы, взгляд ее сквозь эту вуаль... Цикламены, которые посылали ей мы с моим женихом, живущим у ее родственников, которые и просили его послать ей цветы ко дню Ангела, а главное та зима, воздух той зимы, снег, Киев, радостное возбуждение во всем моем существе — ведь мне шел восемнадцатый год, я была невестой, я была влюблена в какую-то будущую, ожидающую меня жизнь . . .

Не спала ночь. Читала « Испанские письма » Лакретеля. Замечательно как часто люди, мучимые какой-нибудь тайной болью, нападают на книги, в которых говорится как раз о их боли.

И. А. нездоров, мы в тревоге, может быть даже и преувеличенной. У меня сердце замирает от тоскливого страха, но я стараюсь разговаривать с ним весело, твердо. Раздражаюсь на В. Н., которая пугает его беспрес-

танными советами лечь, не ходить, не делать того или другого, говорит с ним преувеличенно, торжественно-нежным тоном. Он от этого начинает думать, что болен серьезно и чувствует себя хуже. У него ведь все от внушения.

11 сентября

Вчера был доктор Серов и успокоил нас. У И. А. расширена печень, и от этого он раздражителен, а сердце немного ослаблено, но ничего серьезного нет.

« Золотой рог » понимается вкривь и вкось. Одни думают, что я это одобряю и пишу как приманку, другие ругают меня « за русскую женщину », которую я развенчала (Илья Сургучев), третьи находят, что « Олесь » был лучше, четвертые, что это начало романа, который надо продолжать (Борис Лазаревский). Я уж не знаю рада я или не рада тому, что он написан. Хотя чему удивляться ? Ведь я это предвидела.

14 сентября

Сидели с Тэффи на поплавке у моря. Между прочим она говорила:

— Есть два сорта людей: одни все дают, другие все берут. Когда я знакомлюсь с человеком, всегда жду, что он скажет. Скажет « дайте ваш портрет » или « дайте вашу ленту » или еще что-нибудь, или сам сейчас же принесет что-нибудь . . . Ну, хоть старинную монету. Первые — эгоисты но зато интереснее. Вторые — все отдадут, раскроются — и дальше неинтересно.

Опять письмо от Сургучева. Видимо смягчен моим вежливым ответом на его грубость, но все еще толкает локтем. Пишет, что не следует писать все, что видишь, что надо « претворять воду в вино », что я ходила около отличной темы, но не нащупала, где ее соль. Все же пишет, что у меня « сочная, почти мужская одаренность », хотя тема и не удалась мне.

15 сентября

Начала писать об актрисе. Есть что-то новое в процессе. Довольно уверенно.

Дождь, тучи, похоже на осень. Вспомнилась прошлогодняя зима. Как переживу эту ? Рощин скучает, В. Н. грустна, боится за брата, которому в России должны делать операцию, ходит бледная, непричесанная, вялая. Вял и И. А. Он как-то изменился, и мне часто бывает грустно глядеть на него. В доме тоска. Единственное отвлеченье — писание. Точно сама себе рассказываешь разные истории и от этого забываешь остальное. Денег опять нет. Я как то не почувствовала в этот раз, что получила деньги, да еще такую большую сумму — 1200 фр. Заплатила за машинку, послала Илюше.

17 сентября

Открыла ставни — Вера Николаевна ходит по саду со стаканом в руке, она теперь пьет Гран-гри. Сошла вниз и после кофе походила с ней по саду. Утро тихое, мирное, синева нежная хотя и много облаков. Мы ходили и говорили о Рощине — тема у нас неисчерпаемая. В. Н. постоянно с ним спорит и уже безнадежно старается доказать ему, что нельзя жить так как он, нельзя требовать всегда только похвал за написанное и говорить, что не переносишь противоречия. Теперь вышла его книга, В. Н. прочла ее и вот первый повод к разговорам. Но с ним трудно. Он и правда слушает только себя и считает себя вполне законченным писателем.

В доме сейчас тоже нервность по поводу издания стихов И. А., переписки с Белградом, со знакомыми, на все лады извещающими о том, о сем, касающемся издательства, журнала, Белича, словом всех благ, ожидаемых от Сербии. В конце концов выходит то, о чем в первые трезвые моменты говорили И. А. и Ходасевич. Журнал и вся эта история с Сербией является тем клубком кишек, на которую бросаются чайки и с визгом начинают драть его во все стороны. А на деле — никому

ничего. Мережковских все дружно бранят. Каждый день со всех концов письма с возмущениями по поводу их поведения на съезде, по поводу того, другого, пятого, десятого... Хуже всего, что И. А. волнуется, а не следовало бы. Махнуть бы рукой на все это и жить спокойно. О В. Н. и говорить нечего. Она белеет и краснеет двадцать раз в минуту при всяком разговоре об издании книги И. А. О, Боже, какой в сущности невыносимо нервный дом !

Сегодня получила от Илюши письмо. Пока все раздирают себе грудь он спокоен, выжидает. Издательство идет прекрасно. Он посылает мне деньги, дает дружеские советы. Вот человек из всех самый выдержанный. И как мне это в нем нравится ! А ведь нервен он побольше нас. Помнить, помнить надо то, что он говорил мне, не забывать твердить про себя: « Господи, благослови мой малый труд ! »

23 сентября

Некий Леонид Зуров [1] вчера прислал И. А. книжку « Кадет ». Читать ее взялась первая я. Способный человек. И близко все, о чем он пишет.

25 сентября

Приехала кузина В. Н. Маня Брюан. Целый день по этому поводу суета, ходят по всем комнатам, даже И. А. не так упорно сидит у себя. Наблюдаю Маню из своего угла. Кажется основное ее качество — спокойная уверенность в том, что мир вращается вокруг нее. Но есть для меня что-то жуткое в ее неумении прожить сутки без декорации, в просто обставленной комнате, не забавляя себя натаскиваньем в нее ковров, безделушек, ваз, цветов. Точно без этого немыслимо переночевать в отеле. Я сама люблю все красивое, но в ней это доходит до смешного.

[1] Л. Ф. Зуров.

Они занятны рядом с И. А. Каждый эгоцентричен, и они невольно сталкиваются в этом, хотя бы это выражалось в куске курицы или кисти винограда или в самом удобном кресле. Она так же как и он любит все самое лучшее и считает, что оно сотворено для нее. И вот тут интересно как он бранит в ней то, что есть в нем самом и почти боится посягательства на свою тарелку, свою комнату...

Она приехала на своем автомобиле с шофером, бывшим русским офицером. Собирается поездить по окрестностям.

1 октября

Вчера были именины В. Н. Утром мы с капитаном ходили на базар за туберозами и фруктами. Я убирала столовую, расставляла цветы. Завтрак был торжественный, обед тоже. Были две курицы, сардины, груши, виноград. Маня надела по этому поводу розовое легкое платье в оборочках и была особенно торжественна. Впрочем она всегда почти в ровно-спокойном торжественном настроении, что хорошо действует на других, веселит, усмиряет все недоразумения.

После завтрака ездили на ее автомобиле в Сен-Поль. Она правила, мы сидели сзади, В. Н. с ней рядом. Сен-Поль понравился мне меньше чем я ждала. Были в церкви, кюре показывал картины, дубовые скамьи в редкой резьбе, статуэтки 13-14 века, между ними « черную мадонну », которую по его словам приезжают специально смотреть из Парижа. В городке лучше всего большие каштаны с уже порыжевшими листьями и черные кипарисы на кладбище, в которое переходит городок. День был серо-голубой, мирный, осенний.

9 октября

Читаю Полнера « Толстой и его жена ». Много мыслей по этому поводу. Нет, не все тут так, как я думала. Ей тоже было тяжело, хотя с некоторых пор она вдруг так меняется, точно ее подменили.

И. А. говорит часто: « У здорового человека не может быть недовольства собой, жизнью, заглядыванья в будущее . . . А если это есть — беги и принимай валерьяну ! »

А как-же Толстой ?

Пробую писать. Написала рассказ « Ночлег », но что-то идет не так, как-бы хотелось. То торопливость, то лень одолевает. Хочется чего-то нового, большого, затрагивающего, свежего.

Зато « Арсеньева » мы с И. А. кончали как-то приподнято, так что у меня горели щеки, щемило сердце. . . Он диктовал последние две главы, и оба мы были в праздничном счастливом подъеме.

О третьей книге « Арсеньева » и Вишняк и Илюша отозвались восторженно, что, кажется, подняло И. А., почти уже подумывающего о том, что-бы покончить с « Арсеньевым ».

И. А. как-то сказал о читателе: « Замечательно, что каждый читатель считает долгом чему-то научить писателя, указывать ему на его недостатки и при этом всегда сверху вниз » . . .

20 октября

Мережковские вернулись помолодевшие, гордые успехом и почестями. Все в Белграде разделали по своему: и журнал уже колеблется, и Струве не редактор — а он уже писал И. А., просил рассказ в первый номер — и во главе издательства поставлен почему-то Х, муж подруги В. Н., по ее словам не имеющий ничего общего с литературой.

И. А. разволновался. Вчера даже стал говорить, что в Сербию ехать не стоит, что Белич — неверный человек, что лучше всего отправиться в Алжир.

21 октября

В сумерки И. А. вошел ко мне и дал свои « Окаянные дни ». Как тяжел этот дневник ! Как ни будь он

прав — тяжело это накопление гнева, ярости, бешенства временами. Кротко сказала что-то по этому поводу — рассердился ! Я виновата, конечно. Он это выстрадал, он был в известном возрасте, когда писал это — я же была во время всего этого девченкой, и мой ужас и ненависть тех дней исчезли, сменились глубокой печалью.

22 октября

Разговор с И. А. у него в кабинете. В окнах красная горная заря, мохнатые лиловые тучи. Он ходит по комнате, смотря под ноги, и говорит об « Арсеньеве » :

— Сегодня весь день напряженно думал . . . В сотый раз говорю — дальше писать нельзя ! Жизнь человеческую написать нельзя ! Если бы передохнуть год, два, может быть и смог бы продолжать . . . а так . . . нет. Или в четвертую книгу, схематично, вместить всю остальную жизнь. Первые семнадцать лет — три книги, потом сорок лет — в одной — неравномерно . . . Знаю. Да что делать ?

Как давно уже он мучается этим ! Уже перед третьей книгой говорил то же. А теперь уж и не знаю, что будет . . .

В « Последних Новостях » мои стихи. Немного обрадовалась, но как-то формально. Все это бледно в сравнении с той непрестанной работой мысли, что происходит во мне в течение этого года. И больше для какого-то внешнего успокоения, подавания знака о себе: Я, мол, живу . . . не забывайте обо мне . . .

29 октября

Остров. Какой-то Цейлонский пейзаж — озеро, деревья, заросли. Непрестанный шум моря за соснами, непроходимые кустарники букса. Великолепный золотой, потом пурпурный закат, делавший снеговые вершины дальних Альп темно-розовыми. Запах глубокой воды, малахитовый цвет ее. Утром отправила фельетон « Конец Мопассана ». Сидя на террасе ресторана и глядя на закат, говорили о том, что солнце заходило так

же при Мопассане, при Башкирцевой и, еще раньше, в дали веков, при Александре Македонском. Говорили о « людях смерти », к которым И. А. причисляет себя.

Дома — книга от Ирины Одоевцевой с милой дружеской надписью и письмо от Илюши. Добрые вести. Книга стихов И. А. пойдет. Он предлагает оставаться в Грассе на январь.

1 ноября

Отослали прислугу — новая придет только в субботу, и три дня в доме работаем все понемногу. Не обходится, конечно, без раздражения, споров, недовольства. Да, что делать ?

Вчера были одни днем с капитаном в доме, и было тихо как в могиле. Шел дождь не переставая; черные перья пальм особенно мрачно закрывали горизонт, серое дымное небо медленно плыло над оливками. Было ужасно грустно. Это прекраснейшее в солнечные дни место в непогоду делается чуть ли не самым мрачным на свете. Я пыталась продолжать повесть о Праге, утомилась, замучилась и бросила. Потом мы часа два готовили на кухне с капитаном ужин. Он таскал из погреба дрова, промочил ноги, бранился. Растапливали плиту, жарили картофель.

Я: (видя, что ему неприятно носить дрова) мирно: А ведь когда нибудь будем вспоминать эту зимовку, эти вечера в кухне . . .

Он: Да. И, главное, будем вспоминать, как нечто приятное; вот ведь какие штучки проделываются человеческой памятью.

Я: (стараясь поправить дело) : Да ведь это свойственно человеческой памяти . . .

Прерывая наш разговор распахивается входная дверь, кто-то сует зонтик в угол, потом темная масса пролетает вверх по лестнице и раздается отчаянный гневный рев:

— Черт знает что . . . Жалеть тридцать франков на автомобиль и лечь из-за этого в могилу . . . Я же ей говорил . . .

Затем вбегает В. Н. взволнованная, запыхавшаяся. И. А. со страшным шумом раздеваясь наверху:

— Капитан! Ко мне! Галя! Растирайте ее... Растирайте... Возьмите одеколону... Ноги до колен мокрые... Растирайте скорее! Да где она? Еще внизу? Вера! Вера!

Поднимается невообразимая суета и беготня. В. Н. со смехом рассказывает, что на дворе «мистический ливень», что перейти через дорогу невозможно, что они бежали, как сумасшедшие... Я стаскиваю с нее мокрые чулки, растираю ноги. И. А. все кричит и бушует у себя. Рощин растирает его. В конце выясняется, что он так волнуется оттого, что считает, что простуда реже поражает людей в нервном, приподнятом состоянии.

— В мои годы воспаление легких — это смерть...

Мы спускаемся и едим картофель, сгоревший почти в уголь, пока мы были наверху. Во время обеда выпивается значительное количество коньяку, к чему пристревает и капитан: «я тоже промочил ноги...»

Вечером в кабинете И. А. с величайшим вкусом читает Мопассана, сидя в своей великолепной красной пижаме от «Олд Ингланд». В. Н. слушает уже лежа в постели. Дождь продолжается. Мы дружно смеемся. Капитан в наброшенном на плечи пальто, без воротничка, сидя у печки, напоминает человека из ночлежки.

В двенадцатом часу дом затихает.

3 ноября

С утра по случаю прихода новой прислуги — раздражение, беспокойство. В Н. ходит за ней и дает сто приказаний в минуту, по обыкновению тончайших, хитросплетенных и противоречивых. Прислуга — довольно красивая тридцатипятилетняя итальянка — уже видимо сбита с толку и отвечает на все неуверенным: «да, мадам»... Мы смотрим на это с некоторым страхом. Если бы можно было объяснить прислуге, что пыла у мадам хватит на два дня, а затем можно делать,

что вздумается, никто и не пошевелится ! Ах, наше хозяйство !

Погода немного прояснилась, голубое небо кое-где, даже немного солнца временами. И я все сильней чувствую тоску по вольной жизни. Хочется быть в городе, пройти по улице, купить пучек цветов, зайти в музей, пройтись с кем-нибудь, поболтать о пустяках, зайти в кафе . . .

Часто, когда мне делается совсем плохо я начинаю стирать себе рубашки или мою голову. И помогает.

4 ноября

После завтрака ходили гулять втроем — капитан уехал в Канны — к часовне св. Христофора, потом вышли на ниццкую дорогу и вернулись обратно. Вечер чудесный, осенний, свежий, бодрый, при безоблачном небе. Говорили большей частью о капитане, — его недостатки — любимейшая тема. В « Возрождении » оказался фельетон Рощина, который я ему недавно печатала. Значит опять деньги, которые можно « беспутно », как говорят у нас, истратить ! Его вид « человека из ночлежки » невольно требует какого-то улучшения, а он здесь за все месяцы не купил ни разу ни одного носового платка, предпочитая тратить деньги на мещанские шоколадки, коржики и разнообразные поездки.

Хуже всего то, что все, что им пишется о здешних местах — ложь, самая неправдоподобная, какую только можно представить. Все остальное ничего, но этого я не могу простить ему: художник во мне не может простить !

7 ноября

В « Новостях » мой рассказ. Замечательно все же ощущение какого то тепла при появлении чего-нибудь своего в печати. Как ни говори себе, что все это забывается через пять минут после прочтенья, что никому это не нужно кроме меня самой, что и все другие пи-

шущие думают как ты о себе — все же на душе теплей, и как будто появляется какой-то смысл во всех муках и незаметных жертвах каждого дня...

Илюша пишет в открытке, что по его предложению — это почему-то подчеркнуто — решено прибавить к выпавшему из корректуры моему стихотворению еще одно или два, и что пойдут они в следующем номере « Сов. записок ». Стихи послать не Цетлину, а ему. Меня и это немного ободрило, хотя я последнее время много думала над своими стихами и очень неудовлетворена ими. Я отклонилась в сторону сдержанности и отсюда некоторой сухости. Надо остерегаться этого. Часто вспоминаю слова Гиппиус: « Проза очень голит поэта ».

8 ноября

Капитан приехал вчера поздно вечером. Красный, мокрый, растерянный, неловко вошел в кабинет, где мы сидели, долго не мог найти тона, сообразил, что надо поздороваться только через пять минут после того как вошел. И. А. его высмеивал весь вечер тем, что будто бы из кафе прислали счет на тридцать девять франков на его имя, перечислял напитки, будто бы перечисленные там. Тот поверил и стал говорить, что пойдет и « сделает скандал ». А правда была та, что вчера прислали ему из газеты гонорар на 39 фр. Потом еще перед сном, дав ему желудочных капель, уверил его, что с ним будет ночью что-то ужасное — все это умирая и плача от смеха. Надо сказать, что вид у капитана был почему-то затравленный. Больше всего он боится. В. Н. так и ждет чего-то неприятного.

11 ноября

Армистис. В городе флаги, толпы народа, хризантемы. Ходили в Моганьоск. День ясный, холодный. Утром писала Башкирцеву.

В. Н. была вчера у Мережковских и Зин. Никол. хвалила ей мой « Ночлег ». Остальное все тоже. Капи-

тан рвется вон, но ждет денег. Мне лучше всего в своей комнате.

12 ноября

Пишу Башкирцеву страшно медленно. Тащусь как сквозь бурелом. Вот « Современники » Алданова — это другое дело. И какая эрудиция !

16 ноября

Вчера ездили с И. А. в Канны. Дела собственно, не было никакого, но захотелось проехаться. По дороге разговаривали. Я жаловалась, что не могу со времени « Золотого рога » писать. Он меня успокаивал, говорил, что так бывает у каждого « порядочного » писателя. Рассудком соглашаюсь, но все же тяжело.

Прочла Экклезиаста в первый раз сознательно в прошлом году. Да, гениальная книга. Теперь понимаю, что ничего выше и горьче этой мудрости не было. « Время плакать и время смеяться, время обнимать и время уклоняться от объятий, время сеять и время собирать, время строить и время разрушать . . . » А потом . . . « отяжелеет кузнечик и осыпется каперс . . . навсегда покидает человек дом свой . . . »

26 ноября

Были в Каннэ у Гиппиус. Она приняла нас одна за письменным столом, была в розовом платье, по обыкновению очень нарумянена. Ее рыжие волосы смешно заплетены в длинную тонкую косичку, уложенную через всю голову. Ордена, полученные в Белграде, стоят на камине в гостиной в голубых футлярах с золотыми надписями: Савва I-ой степени, Савва II-ой степени. На столе лежит дневник Гиппиус в зеленой обложке, взятый из « Возрождения »: она задумала теперь издавать его в Белграде под тем предлогом, что « Возрождение » хотело печатать его с сокращениями. Говорила о Югославии, видимо обратилась в ее страстную побор-

ницу. О « Возрождении » говорила, что там честных и порядочных людей только двое: Тимашев и Маковский, и обоим не дают ходу, читала полученное от Берберовой письмо, полное парижских новостей. Пригласила нас в следующее воскресенье к чаю. Затем мы ушли — отправились пить кофе в английскую кофейную. В. Н. была весела, строила планы, готовилась делать покупки — утром пришло извещение от Демидова, что ее фельетон принят. Получила письмо и я: « Башкирцеву получил. Очень хорошо и, конечно, пойдет ».

28 ноября

Был интерьвьюер, швед, Таге Аурелль. Молодой, довольно красивый, но с ужасно длинными сизыми треугольными руками, которые он все время совал в воздух, как показыватель теней. Сидел часа три, пил чай, рассказывал о Сигрид Ундсет, о том, что у нее семеро детей, что она подробно описала роды их всех и что она très solennelle, как и вся страна. Я разливала чай. День яркий, но очень холодный. И. А. нездоров, подавлен. Я стараюсь ни о чем не думать и добросовестно, пристально переписываю рассказ.

30 ноября

Чувствую себя немного веселей. Кончила « Снег ». Ходили с И. А. в город. Вчера были в Каннах, гуляли по набережной. С моря шел пароход, загудел « выпукло », как когда-то сказал И. А. Море тихое, гладкое накатывалось на берег, над водой беспрестанно взлетали чайки, блистая своими белыми челнообразными туловищами. Мы смотрели как поднимался с моря гидроплан. Он, как сильная птица, вольно, легко, радостно покинул поверхность моря и взмыл в пространство, сильно рассекая воздух. С набережной смотрело на него множество народа.

После завтрака сидели и пили кофе в кабинете — И. А. читал нам статью Ходасевича об Алдановских « Современниках » — я все смотрела в окно на голубой

туман средиземной зимы, на несколько бледное, широко разлившееся по горизонту море, на палевые пятна роз, висевшие на проволочной изгороди, и наслаждалась всем этим . . .

Я хочу жизни, а не « карьеры » . . . Хочу радоваться и печалиться жизнью, а не « карьерой » . . .

Все это довольно противоречиво, но именно так, как есть во мне. И с этим ничего не поделаешь.

8 декабря

Читали вслух новую книгу Морана « Париж-Томбукту ». И. А. в конце концов, прочтя страниц пятьдесят:

— И это все, что он мог сказать об Анатоле Франсе ? И зачем он, вообще, пишет о таких пустяках ? А еще талантливый ! « У меня болит живот », « А если соединить козу со свиньей то получится то-то » « А негры с женами поступают так-то » . . . Все это оттого, что он опустошенный. И, вообще, до чего пала современная литература ! Ведь это знаменитость на всю Европу ! Подумайте ! И все-таки он лучше вашего Моруа ! Это хоть настоящее художество (хотя и фельетон). А там микроскоп и искусственность . . . »

11 декабря

Вчера был день моего рожденья. Накануне с вечера под мою дверь (с ужасным шорохом бумаги) положили подарки: сумочку и духи. И. А. зайдя ко мне после всех прощаться внес все это и положил ко мне на кровать — я уже была в постели — со словами: « Вот . . . Что за глупости с этими комедиями, сюрпризами . . . » Я его поцеловала, благодаря, но была растеряна, боялась, как бы В. Н. не заметила, что подарки уже у меня. Внутри была вложена очень нежная записка. Я была смущена и тронута. Вчера В. Н. так старалась, чтобы все было празднично ! Мы снимались в саду Монфлери и в кабинете после завтрака. Вечером был праздничный

обед и мы с В. Н. даже оделись в вечерние платья. Но ложась спать я облегченно вздохнула: праздники меня стесняют.

13 декабря

Скоро полдень. Поют петухи, в комнате потрескивает догорающая печка, за окном сырой и светлый, похожий на осенний день. Желтая и рыжая листва, слабая жидкая голубизна неба.

Из всего дня я больше всего люблю здесь утро. Особая сосредоточенность, свежесть мысли, тишина во всем доме, еще какая-то смутная надежда на почтальона . . . После завтрака, обычно, наступает перелом к худшему.

Сегодня все утро употребила на просматривание своих писаний за эти два года. У меня все время упорное чувство, что я пишу хуже и хуже, что теряю непосредственность, делаюсь суше, « забываю жизнь », живя только воспоминаниями. Но на проверку выходит, что пока ни одного ложного шага мною не сделано, неудачные вещи, только что начатые лежат в коробке в шкапу, а напечатанное все неплохо. Я подумала о том, что хорошо-бы книжку . . . Знаю, что И. А. не позволит и мечтать об этом. Он меня строго называет « цыпленком », а в то же время, припоминая случайно какой-нибудь из моих рассказов и сравнивая их с другими авторами, воодушевляется и часто говорит: « Ну, это-же совсем другой мир . . . Это художество. Под многим, как например, под второй главой « Золотого рога », я бы и сам с удовольствием подписался. Да и первая отлична . . . »

Вчера, когда мы одни гуляли вечером, он бранил рощинский роман, ему дали прочесть две главы — и говорил, что никто в сущности не умел написать войну по настоящему. Отчасти тронул ее правильно Зуров. Потом похвалил моего « Кунака », которого он почему-то особенно любит и тот рассказ, где описан Бахчисарай.

Вечером он критиковал Рощина в лицо, конечно не так резко, как во время разговора со мной. Все-таки он

принес Рощину много пользы. Хотя бы то, что он упорными насмешками в течение всего лета заставил его переименовать героя романа Барсова (он все дразнил его Львом Барсовым).

Пришла почта. Вышел альманах « Русская земля ». На первой странице — стихи И. А. Он сморщился: « Как же это без разрешения » . . . Я унесла альманах к себе. Статьи о Пушкине, Ломоносове, Гоголе, Римском-Корсакове, рассказы и воспоминания Куприна, Шмелева, Осоргина . . .

Русская литература . . . Сейчас первое место в ней занимает И. А. Как будут писать о нем 50-100 лет спустя, как будут воображать его себе ? Странно думать об этом, потому что воображаемое и действительное — при самых идеальных соотношениях — все-же разные вещи.

И. А. с неделю назад послал письмо Зурову. Я очень рада. Первая его прочла я и хвалила всем в доме. Рощин, конечно, сказал, что ему не нравится, и что таких сотни. Но если бы он сам мог писать так !

15 декабря

Вчера уехал Рощин. Провожали его как родного. Накануне отъезда он читал нам статью « Вилла Бельведер », которую собирается послать в рижскую газету « Сегодня ». Описал в ней весь наш дом и всех в нем живущих, « расхвалил », как выражается В. Н. Ивана Алексеевича. Уезжал он с влажными глазами. Вообще, слава Богу, проводили его в добром радостном состояньи духа, с целым портфелем рукописей.

Сегодня в доме уже нечто новое — следующая эра, без капитана. Год на Бельведере распадается на несколько частей. Первая с Илюшей Фондаминским, вторая с капитаном. Когда он уезжает, наступает последний, зимний период, самый суровый, после которого уже должен следовать Париж.

Сегодня необычайно ясно видела во сне раннюю весну из окна какого-то незнакомого дома. Вдали были черные мокрые холмы, покрытые белыми цветущими

деревьями. Все было в тумане, сырое, черное, но такая острота весны и сладостной грусти была во всем, что я во сне как-то внутренне сказала себе — ну еще ! — и, перегнувшись из окна, точно наклонилась над собой и стала всматриваться в эту сладкую пронзительную грусть. Когда мы ехали в прошлом году отсюда в Париж — цвели деревья. Мы смотрели из окна вагона на холмы, поля — некоторые деревья были так густо усыпаны цветом, что при солнце их белизна казалась почти сиреневой. Прошлая весна была необыкновенно прелестна. Казалось, что непременно должно случиться что-то волшебное.

Изумительно до чего временами я теряю ощущенье пережитых лет, и какая во мне готовность к счастью, к совсем новой жизни. Я как будто только что родилась, все во мне так радостно напряжено и так искренне и полно забыто прошлое, что это кажется почти достоинством. Впрочем, я все чаще начинаю думать, что способность забывать, расцветать, как земля — достоинство. Толстой недаром возвел это в такой гимн жизни в Наташе. Вечное воспоминание, возвращение, перебирание одного и того же — уже в сущности болезнь. Недаром когда я начинаю вспоминать — я начинаю мучиться и болеть этими воспоминаниями...

Другое дело какая-то бессознательная мудрость, отстой от всего бывшего, которым душа упитана для дальнейшего процветания. Да ведь в этом вся вечная тайна природы. Прошлое должно удобрять землю, которая от этого становится тучнее и от этого лучше родит новое. Должно быть и человек первоначально создан по этому закону, но отклоняется от него и поэтому страдает.

20 декабря

Прочли в газетах о трагической смерти критика Айхенвальда. И. А. расстроился так, как редко я видела. Весь как-то ослабел, лег, стал говорить : — « Вот и последний... Для кого теперь писать ? Младое незна-

комое племя . . . что мне с ним ? Есть какие-то спутники в жизни — он был таким. Я с ним знаком с 25-ти лет. Он написал мне когда-то первый . . . Ах, как страшна жизнь ! »

22 декабря

Утром писала стихи. Потом пришла почта и как всегда по большей части расстроила. Илюша написал И. А. что они задумали издавать художественные биографии, как это теперь в моде. И вот Алданов взял Александра II-го, Зайцев — Тургенева, Ходасевич — Пушкина. И. А. предлагают Толстого или Мопассана. После завтрака В. Н. поехала в Канны за покупками, а мы с И. А. пошли гулять по дороге в горы — погода была удивительная, все вдали голубое, мои любимые кипарисы в сухой траве, голый дуб на светлом небе — словом чудо. Но мы мало обращали на это внимания — всю дорогу говорили. И. А. размышлял, что бы ему писать, критиковал писателей, взявшихся за темы в сущности мало им близкие, потому, что мало ведь знать факты, надо перевоплотиться в того, кого будешь писать. Особенно волновал его Пушкин.

— Это я должен был бы написать « роман » о Пушкине ! Разве кто-нибудь другой может так почувствовать ? Вот это, наше, мое, родное, вот это, когда Александр Сергеевич, рыжеватый, быстрый, соскакивает с коня, на котором ездил к Смирновым или к Вульфу, входит в сени, где спит на ларе какой-нибудь Сенька и где такая вонь, что вздохнуть трудно, проходит в свою комнату, распахивает окно, за которым золотистая луна среди облаков, и сразу переходит в какое-нибудь испанское настроение . . . Да, сразу для него ночь лимоном и лавром пахнет . . . Но ведь этим надо жить, родиться в этом !

Потом вдруг вспомнил о Лермонтове. « Вот ! Это и недлинно, 27 лет всего . . . Надо согласиться ! »

Но тут же стал говорить, что это все все-таки « мануфактура », хотя и надо согласиться, надо быть в

первых рядах действующей армии, тем более, что ведь все это будет на четырех языках...

24 декабря

Пришло письмо от Зурова, автора «Кадета». Взглянув на маленькую фотографию, приложенную к письму, сейчас же стала вспоминать что-то и в конце концов вспомнила высокого, худого мальчика с улыбающимся лицом и светлыми волосами, появившегося на некоторое время в Свободарне [1], в Праге, и куда-то затем исчезнувшего. Это и есть Зуров. Мы даже были знакомы, во всяком случае раскланивались.

Письмо его произвело хорошее впечатление. Оно написано на машинке и просто, кратко и сдержанно, хотя он, должно быть, ног под собой не чувствует от радости — сам Бунин похвалил !

Я написала ему письмо, после всеобщего обсуждения. Он как бы мой «земляк» по студенческим временам в Праге, во вторых по чему-то родственному в писаниях.

Ходили вдвоем с И. А. гулять перед сном. Полнолуние. Прекрасная, светлая, какая-то высокая ночь, с яркими звездами, скорее пасхальная, чем рождественская. Город пуст. Все в соборе, на мессе. Наткнулись на странную картину — на бульваре, на скамейке, очевидно выброшенные кем-то, после праздничной уборки, чьи-то шляпы. Две из них траурные, с длинным крепом, тихонько шевелящимся на ветру. Очень неприятно, почти жутко. В двух шагах около трамвайных рельсов трупик белой собачки, похожей на того песика, который каждый день деловито трусил с толстым стариком мимо нашей виллы. Подогнутые лапки, лежит тихо, точно спит.

На подъеме к нашей даче вдруг дружный и нестройно-веселый перезвон, очень похожий на пасхальный.

---

[1] Студенческое общежитие.

Мы остановились, долго слушали. На темной колокольне светился одинокий огонь и от нее расходился кругами и как-бы разлетался над всем городом, над долиной и тихими горами радостный, громкий перезвон. И. А. сказал с волненьем:

— И вот так странно думать, что пятьсот лет назад звонили точно так же... И какой благостной защитой над всем, даже над смертью был этот перезвон. И как это есть люди, которые не понимают этого ! Вот ведь я всегда говорю, что напрасно считают *людьми* всех. Есть две породы — из них одна низшая, у которой все, даже органы устроены иначе и такие хуже собак, потому, что даже собака чувствует, машет хвостом, узнает хозяев, думает, что ее впустят в дом и она войдет туда с теплым нежным чувством...

С порога сада мы еще минуту смотрели, остановившись, на прекрасную светлую пустыню ночи...

26 декабря

Днем ходили с В. Н. гулять по дороге в Сан-Валлие. Когда возвращались, позади все небо было в красном огне, а перед нами уже катился в мутно-сиреневом небе зеленый круглый месяц. Говорили о писателях, о молодых писателях, главным образом, о Рощине, о Зурове. Сегодня пришла книга последнего « Отчина ». Он писал ее по обещанию, работал в монастыре. Очевидно сам делал зарисовки титлов, концовок. От книги впечатление опять-таки талантливости. Немного цветисто, но есть места прелестные и сколько прекрасных уподоблений: « зеленый поясок муравы у белой стены », « Восковыми кругами лежали березовые рощи », « Псков выплывал из туманов лебединым станом ». Изысканно, конечно, но все же хорошо.

28 декабря

Зашла перед обедом в кабинет. И. А. лежит и читает статью Полнера о дневниках С. А. Толстой. Прочел мне кое-какие выписки (о ревности С. А., о том,

что она ревновала ко всему: к книгам, к народу, к прошлому, к будущему, к московским дамам, к той женщине, которую Толстой когда-то еще непременно должен был встретить), потом отложил книгу и стал восхищаться:

— Нет, это отлично! Надо непременно воспользоваться этим, как литературным материалом... « К народу, к прошлому, к будущему... » Замечательно ! И как хорошо сказано, что она была « промокаема для всяких неприятностей ! »

А немного погодя:

— И вообще нет ничего лучше дневника. Как ни описывают Софью Андреевну, в дневнике лучше видно. Тут жизнь, как она есть — всего насовано. Нет ничего лучше дневников — все остальное брехня ! Разве можно сказать, что такое жизнь ? В ней всего намешано... Вот у меня целые десятилетия, которые вспоминать скучно, а ведь были за это время миллионы каких-то мыслей, интересов, планов... Жизнь — это вот когда какая-то там муть за Арбатом, вечереет, галки уже по крестам расселись, шуба тяжелая, калоши... Да, что ! Вот так-бы и написать...

Потом о «Дыме», который читал по французски:

— Нет, что-то плохо. Фамилии ненатуральные... Вот г-жа Суханчикова — к чему он заранее над ней издевается ? Это как у Фонвизина: Правдин, Стародум, Милон... Поручик Стебельков какой-то !...

29 декабря

Письмо от Демидова. Он был болен и оттого материалом распоряжались без него. Мой рассказ пойдет в Новый год. Что касается Башкирцевой, тут дело осложнилось. Ее прочел Милюков и « прочтя задумался:

— Полное развенчание Башкирцевой, — сказал он. — В таком виде трудно пропустить »

И затем прочел вслух семь заключительных строк.

— Конец резок особенно потому, что во всем очерке почти не затронуты положительные стороны Баш-

кирцевой, и прежде всего ее художественный несомненный талант. Эта резкость встречается несколько раз в тексте. Сейчас едва-ли такое развенчание своевременно: да едва-ли оно и справедливо...»

Читал это письмо мне И. А., конечно раньше распечатавший и прочитавший его. Он был рассержен и все время бранил Милюкова за тупость.

— Ведь слава Башкирцевой зиждится вовсе не на таланте художницы! — говорил он. — Ее прославляют за дневник и высокие устремления... А какие это устремления вы им показали...

Однако он посоветовал ответить немедленно и предложить смягчить.

6 января 1929

Наш сочельник. Ночь провела дурно, снилось что-то грустное, потом В.Н. подходила ночью к дверям И.А. слушать спит-ли он и разбудила меня. Потом долго не могла заснуть и тоже все слушала — шорохи в доме, скрипы, какую-то грустную ночную жизнь. Проснулась поздно.

И.А. пришел с сообщением, что умер Великий князь Николай Николаевич и что завтра надо ехать в Антиб на панихиду.

12 января

Сквозь сон все видела отрывки «Жизни Арсеньева» и все хотела сказать, что то место, где Арсеньев сидит у окна и пишет стихи на учебнике — нечто особенное, тонкое, очаровательное. Потом проснулась и лежа в постели, не решаясь по обыкновению встать от холода в комнате и сознания общего неуюта, додумывала то, что вчера говорила И.А. и что он просил записать.

Мы говорили о рецензиях на «Жизнь Арсеньева» и в частности о рецензии Вейдле, написавшего, что это произведение есть какой-то восторженный гимн жизни, красоте мира самому себе, и сравнившему его с Одой.

Это очень правильно. И вот тут-то мне пришла в голову мысль, поразившая меня.

Сейчас, когда все вокруг стонут о душевном оскудении эмиграции и не без оснований — горе, невзгоды, ряд смертей, все это оказало на нас действие — в то время, как прочие писатели пишут или нечто жалобно-кислое или эклезиастическое или просто похоронное, как почти все поэты; среди нужды, лишений, одиночества, лишенный родины и всего, что с ней связано, « фанатик » или как его назвали большевики « Великий инквизитор » Бунин, вдохновенно славит Творца, небо и землю, породивших его и давших ему видеть гораздо больше несчастий, унижений и горя, чем упоений и радостей. И еще когда ? Во время для себя тяжелое, не только в общем, но и в личном, отдельном смысле ... Да это настоящее чудо и никто этого чуда не видит, не понимает ! Каким же, значит, великим даром душевного и телесного (несмотря ни на что) здоровья одарил его Господь ! ...

Я с жаром высказала ему все это. У него были на глазах слезы.

13 января

Напечатана моя « Башкирцева ».

Новогодний, безконечно печальный вечер. И.А. раздражителен, мрачен, все его сердит — значит опять прежнее недомоганье, которое вот уже месяц, как вернулось к нему, после двухлетнего перерыва. Не помогла ни курица, ни шампанское. Все кажется ему неприятным, безвыходным, сложным.

Жаль его ужасно и трудно иногда сдерживаться — характер у него от этого резко меняется, и это так странно и дико мне, знавшей его таким добрым, сияющим, неутомимым ...

Кроме того, он до сих пор под впечатлением зрелища Вел. князя в гробу.

14 января

Получила письмо от Зурова. Он пишет сдержанно,

начинает словами: « Многоуважаемая Галина Николаевна ! Я очень хорошо помню Вас, стихи Галины Кузнецовой и Свободарню — большую тюрьму с маленькими кельями . . . »

Он прочел статью Рощина о вилле Бельведер и представил себе все в преувеличенно-экзотическом, идеальном виде, как там рощинским « бойким » пером описано.

« Сегодня читал статью Ник. Рощина и видел всех вас. Очень хорошая там пальма, а если закрыть глаза, то можно представить и море. А о вашем море, солнце и ветре хорошо мечтать в розовые морозные дни . . . »

Живется ему трудно. Но сейчас он окрылен радостью и верой в себя. И будет окрылен еще больше, прочтя заметку И.А. о себе. В « Сегодня » — хвалебный, на самых высоких нотах фельетон Пильского о Бунине. Пишет, что Бунин вышел сам из себя, ничей не ученик, подлинное чудо. Странно, что когда И.А. читал это вслух, мне под конец стало как-то тяжело, точно он стал при жизни каким-то монументом, а не тем существом, которое я люблю и которое может быть таким же простым, нежным, капризным, непоследовательным, как все простые смертные. Как и всегда, высказанное это кажется очень плоским. А между тем тут есть глубокая и большая правда. Мы теряем тех, кого любим, когда из них еще при жизни начинают воздвигать какие-то пирамиды. Вес этих пирамид давит простое нежное родное сердце.

17 января

Вчера ездили на чай к недавно бывшему у нас шведу журналисту, Тагэ Ауреллю, в Кань.

Городок красивый, похожий на все здешние, с замком и капеллой на горе, с чудесным видом на Ванс, снежные горы — даже самые ближние все эти дни покрыты снегом. Живут они в маленьком розовом доме, сильно пахнущем сыростью и краской. Комнатки одна над другой, вверху терраса, все бедное, нищее, но приукрашенное собственными силами. Художественные

абажуры из кретона, розы в провансальском кувшине, декоративно расположенные на блюде яблоки и апельсины — до того декоративно, что хочется сказать о них « плоды » — полка книг, а в спальне хозяина средневековый холод, голые стены и рдеющие круглые голыши кокса за решеткой, похожие на корзину раскаленных фруктов.

Она — молодая еще женщина в очках, с длинным лицом и старомодно зачесанными на уши волосами в сетке. Сама готовит, убирает, спит в маленькой комнате, печатает на машинке рукописи мужа, вероятно страстно верит в него, ждет, ревнует втайне ко всем . . . словом, типичная писательская жена. А он очень много говорит, тычет во все стороны свои длинные сизые руки, похожие на плавники, улыбается, говорит о своем первом романе, который он недавно начал и вообще полон пыла. Но в общем есть в нем что-то простодушное, от славного парня. С И.А. он говорил об общих вопросах, мало касаясь литературы. Она спрашивала, правда ли, что осетры водятся только в Волге и хороша ли икра в Париже . . . Чай подан был в глиняных лоханках, совершенно меняющих его вкус. Были тартинки с маслом и вареньем и кекс. Прощаясь он попросил И. А. прислать портрет для газеты. Собирается писать о нем статью.

Вчера были письма от Фондаминского и от Рощина. Илюша пишет о « Башкирцевой », что статья « прекрасная » и что бы я присылала и присылала в « Последние Новости » материал. Рощин будто-бы видел Алданова, который « увлечен » (не могу себе представить Алданова чем-нибудь увлеченным) статьей, хотя и считает Башкирцеву все-же гениальной.

В доме идут нескончаемые разговоры о Париже. Подводятся счеты. Делаются проекты. И. А. по-прежнему говорит, что в Париж до смерти ехать не хочет, но уже ничем не может заниматься, целые дни ходит, пишет письма, беспокоится и видимо уже на отлете.

Ходили гулять. И.А. вдруг стал говорить, что было-бы хорошо, если бы я написала книгу о Башкирцевой.

2 мая

Грасс.

Сегодня первый раз выспалась и от этого начинаю понемногу приходить в себя. Последний месяц в Париже, вечер И.А. наш отъезд и болезнь И.А. совершенно истомили меня и я только сегодня, на пятый день по приезде сюда, более или менее начинаю видеть то, что за окнами, соображать яснее, вообще что-то видеть и понимать.

Из нашего сложного путешествия в Грасс через Биарриц в памяти моей всплывает только некоторое, всего вспоминать не хочется. Было слишком много неприятного, главным образом из-за нервности И.А., отражавшейся всю дорогу на нас. Вспоминаются особенно мумии, виденные в Бордо, их по разному искаженные, изъеденные лица, висящие языки в разверстых ртах, старуха, показывавшая их нам, освещавшая лампой то один то другой костлявый призрак в четырехвековых лохмотьях, и бесцеремонно щелкавшая наперстком по этим языкам и коже на груди, обратившейся в крепчайший сафьян. Потом моя чистенькая холодная комната в отеле, в Биаррице, где, как и в Бордо, мы только переночевали, потом виденье Лурда, его грота под скалой с желтыми пятнами пламени свечей и черно-снежные Пиренеи в окне мчащегося поезда.

В Грассе И.А. в первый же день слег. У него оказалась ангина. Я бы вероятно совершенно пала духом, если-бы не присутствие Илюши, при котором я всегда чувствую себя лучше. Раздражительность И.А. переносится легче при его легких дружеских кивках, ободряющем шепоте:

— Пустяки... Через три дня будет здоров. И ничего у него нет серьезного. Если бы это было у меня — никто бы и не заметил, я бы на ногах переходил...

Иногда, когда мы с В.Н. уж очень забегаемся и изнеможем, он говорил мне все тем же шепотом:

— Вот я теперь читаю об Империи. Вот это и есть

Империя. Талант и все дано, а в самых пустячных вещах — беспомощность, младенчество...

Я знаю, что в глубине души ему может быть до меня нет никакого дела. Но внешняя его веселость, твердость, неизменное ровное настроенье духа влияет на меня необыкновенно. Он иногда за столом, где обычно у нас ведутся все почти беседы, говорит, обращаясь к В.Н., но явно для меня:

— С тех пор, как я понял, что жизнь — восхождение на Альпы, я все понял. Я понял, что все пустяки. Есть несколько вещей неизменных, органических, с которыми ничего поделать нельзя: смерть, болезнь, любовь, а остальное — пустяки.

Он много говорит со мной о прочитанном. Сейчас он готовится к статье о русской Империи и читает все, что было написано о ней, между прочим, много мемуаров. Говорит, что они поразительно бездарны и, читая, их поражается, как узок тот круг, в котором жили « стоящие у трона »: « Несколько десятков семейств, полк и это все. Ни чтения, ни страны, ни народа ».

Я читаю « Записки Сушковой » и там, правду сказать, это так и есть. К сожалению я очень тупа сейчас, читаю урывками, устаю чуть ли не через каждые два часа и от этого все у меня еще не ясно.

Начинаю чувствовать только одно: благословенную, исцеляющую деревенскую тишину, отсутствие ненужных утомляющих людей, прелесть деревенской южной весны. Даже высохшие, померзшие в этом году пальмы, эвкалипты и лимоны не так уж огорчают меня, хотя это целое бедствие и вероятно надолго.

Несколько раз в день мажу горло И.А., бегаю в аптеку, в лавки в город, мою вечером посуду и целый день вперегонки с В.Н. исполняю поручения И.А.

Был доктор, француз. Сказал, что у И. А. une belle angine и напугал возможностью нарыва в горле. И. А. присмирел и стал как-то вдруг терпеливей, видимо, опасность его немного утихомирила.

Читала ему вслух письма Рильке « К молодому поэту ». Читая, волновалась ужасно, т. к. нашла в них

много важного, точно отвечающего на столь беспокоющие меня сомнения. И. А. все говорил мне:

— А сколько раз я это говорил ? Веришь Рильке потому что он далеко, а я близко... потому что меня видят в подштанниках, потому что говорю иной раз, как все, чепуху, а ума нет, чтобы это разделять !

Сегодня он тихий, умилительный.

Илюша ездил в Канны, в церковь на двенадцать Евангелий. Вернулся к десяти вечера. Сидел перед сном у И. А., все шутил, уверял, что все пустяки, и на всех подействовал ободряюще. На меня взглядывает с улыбкой и говорит, что я уже розовею, а когда приехала смотреть было страшно.

3 мая

И. А. как будто лучше. Утром, несмотря на сильный дождь, ходила в город в аптеку. Эти ежедневные путешествия по поручениям — мои единственные выходы из дому, и я по пути торопливо вдыхаю свежесть и холод весны, зелени, мокрых цветов и листьев, наслаждаясь этим всем мимоходом.

Пришло письмо от Зурова. Он пишет, что был вторично болен и потому не писал. Письмо длинное и сердечное. Он едет на Пасху в какую то командировку по пограничным деревням, где устраиваются питательные пункты. « Знаю, что сердце заболит, когда увижу лес на той стороне... »

Илья Исидорович, которому я дала прочесть письмо, заметил только что в нем есть некая литературность, что в его глазах недостаток. Мне кажется, что наше отношение к Зурову представляется ему преувеличенным. Он все спорит с В. Н. о Рощине: она силится доказать, что из Р. можно было что-нибудь сделать, а он на все отвечает, что у него « пошлый талант », если он только есть, и что такие в настоящую литературу не проходят.

5 мая, Католическая Пасха

Как-то скучно. Праздника в доме нет по обыкновению, хотя завтрак улучшен, на сладкое сбитые сливки, пирожные. И. А. капризничает больше чем вчера, сердится на всех, раздражен беспрестанно. Илюша смотрит на это с обычной улыбкой, приговаривая время от времени: « Это и есть Империя ! »

Среди дня лежала, лицом к стенке, как в минуты наибольших своих утомлений. Какой-то вопрос в душе: Ну, а дальше ?

День серый, на горах холодный туман, жалобно пищит какая-то птица в саду.

6 мая

Мои стихи в « Новостях » напечатаны слитыми (три как одно) отчего получается бессмыслица. В. Н. говорила, что И. А. закричал, увидев это: « Что они с ней сделали ! », но когда я вошла к нему, стал говорить, что это в сущности пустяки, никто на это не обратит внимания, а в газете это вина какого-нибудь метранпажа.

И. А. первый день как ходит по дому, и уже устраивает стол в кабинете, раскрывая чемоданы, раскладывая книги, и вообще передвигая все с такой энергией, точно никогда и не болел.

7 мая

За обедом пили Асти по случаю выхода книги И. А. Он ласков, весел, хотя еще слаб. Я по-прежнему хожу в город два раза в день и возвращаюсь, нагруженная покупками. Как странно ! Оказывается, у меня уже есть какие-то отношения с лавочниками, с портным Розини, с фотографом, с зубным врачем в городе — вообще « с населением ». С каждым поговоришь, каждый на свой лад спросит « Ну, как там у вас » ? Так чужой маленький городок начинает делаться своим.

Вечером

Вышла на минуту в сад. Как надушен цветами воздух ! И как все вокруг дрожит лягушиным роптаньем, точно какой-то сон, точно раденье какое-то...

А огни сквозь пар кажутся золотыми заячьими головами с тонкими удивленно торчащими ушами. И дом с тремя светящимися окнами вверху и пальма с толстым низким стволом и разметанной метелкой ветвей кажутся странными, точно декорацией.

А все это напомнило мне мою первую весну здесь. Так же пьяно пахла цветами темнота, так же кричали по провалам лягушки, но сердце у меня было другое, испуганное, жалкое, детское, томящееся. Разве тогда я была лучше ? Разве мне было лучше ? А вот мне жаль того времени, я гляжу на эту ночь и тоскую о тех отчаянных ночах...

9 мая

Старая площадь в густой тени деревьев, бой часов, фонтан, который видела я уже и под снегом в ледяных сосульках, крик играющих детей, а на верхах домов желтое солнце и уже предчувствие провансальского лета...

Днем пололи с Илюшей дорожки в саду, обрезали засохшие прошлогодние цветы. И. А., гулявший среди всего зеленого великолепия первого почти летнего дня в свой новой красной пижаме, останавливался, смотрел на нас и говорил:

— Все это ни к чему. Трава растет, где ей Бог повелел...

Его деревенская натура не терпит никаких ухищрений над природой. Так не любит он фонтанов, парков, Булонского леса.

Целый день читаю, лежу, ничего не делаю. Вчера на ночь читала « Запечатленного Ангела » Лескова. Вначале неприятно поразили некоторые выверты

языка, а потом общее захватило, захватило и понесло. Превосходно. Особенно интересно о старинной иконописи. И какое устремление в середине !

12 мая

Вчера за обедом Илья Исидорович рассказывал о том, что читая два года об Империи, он только в последние дни почувствовал ее, стал представлять ее себе:

— Каждую вещь представляешь себе как-то издали. Империю я представляю себе, как какой-то ассирийский храм, величественный и мрачный. Люди сгибались от тяжести этого храма. Они любили царя, поклонялись ему, видели в нем отца, но на устах у них даже в праздники не было улыбки.

И. А. — Это зависит от свойств русского человека. Никто так тяжело не переносит праздник, как русский человек. Я много писал об этом. И все остальное проистекает отсюда. В русском человеке все еще живет Азия, китайщина... Посмотрите на купца, когда он идет в праздник. Щеки ему еще подпирает невидимый охабень. Он еще в негнущихся ризах. И царь над этим народом подстать ему, и в конечном счете великомученик. Все в нас мрачно. Говорят о нашей светлой радостной религии... ложь, ничто так не темно, страшно, жестоко, как наша религия. Вспомните эти черные образа, страшные руки, ноги... А стояние по восемь часов, а ночные службы... Нет, не говорите мне о « светлой » милосердной нашей религии... Да мы и теперь недалеко от этого ушли. Тот-же наш Карташев [1], будь он иереем — жесток был бы ! Был бы пастырем, но суровым, грозным... А Бердяев ? Так бы лют был... Нет, уж какая тут милостивость. Самая лютая Азия...

В автомобиле на дороге к Муан-Сарту видела девочку в белом наряде причастницы. Вуаль был отки-

[1] Проф. Богословской Академии в Париже А. В. Карташев.

нут, под белыми розами венка было видно прелестное личико с рассеянно-счастливым, блуждающим взглядом. От сотворенья мира одно и то же! Мы всегда ищем чего-то (счастья ?) не в том, что нас окружает, а где-то во вне, в каких-то эфемерных странах...

На дороге наткнулись на убитую ласточку. Как она хороша, даже мертвая. Какой сине-зеленый бархатный пушек на головке, на спинке! И. А. говорит, что они часто убиваются о провода. Налетит, толкнется и падает, убитая током.

20 мая

Пишу об Айседоре Дункан. Не нравится.

И. А. второй день лежит, думает об Арсеньеве. Уже готовится. Илюша работает, диктует В. Н. выписки, бодро разговаривает со всеми за столом и « поучает » меня в саду.

27 мая

Гостит К. Мих. Лопатина[1]. Разговаривали с ней сегодня в отсутствие « старших », уехавших в Канны. Говорила о своем романе, о том как она писала его и о религии. Об И. А. сестра Гиппиус, между прочим, сказала по ее рассказам: « Он пишет так, точно Христос и не рождался ».

Кат. Мих. огорчена тем, что в писаниях Бунина столько страха смерти и « мало Бога ».

Рассказывала мне о том времени, когда жила в тайном иезуитском монастыре. Говорит, что все там были спокойны и счастливы, и монахини были все образованные женщины и девушки хороших семейств, причем многие очень состоятельные.

28 мая

Говорили о « Легком дыхании ».

---

[1] Сестра философа Л. Лопатина.

Я сказала, что меня в этом очаровательном рассказе всегда поражало то место, где Оля Мещерская, весело, ни к чему, объявляет начальнице гимназии, что она уже женщина. Я старалась представить себе любую девочку-гимназистку, включая и себя — и не могла представить, чтобы какая-нибудь из них могла сказать это. И. А. стал объяснять, что его всегда влекло изображение женщины, доведенной до предела своей « утробной сущности ». « Только мы называем это утробностью, а я там назвал это легким дыханьем. Такая наивность и легкость во всем, и в дерзости, и в смерти и есть « легкое дыхание », недуманье. Впрочем, не знаю. Странно, что этот рассказ нравился больше чем « Грамматика любви », а ведь последний куда лучше . . . »

30 мая

Читаю и перевожу Рильке. А как хороши некоторые места ! Он не боялся говорить о самом малом, о самом незаметном, о том, что все обычно считают не стоющим внимания.

Илюша вчера говорил мне, что я должна в течение этого года добиться того, чтобы мне дали в « Новостях » тысячу франков фикса, и чтобы я почувствовала себя самостоятельной.

« Ведь это подумать страшно — такой слабый мотылек в огромном чужом мире ! » — сказал он обо мне. — « Конечно, И. А. не хочет вашей самостоятельности. Он как солнце, а разве солнце переносит еще какой нибудь свет ? Но вы должны думать о себе и помнить, что когда у вас будет независимость, вся ваша психика изменится, и вы найдете в себе смелость, которой в вас пока нет, и найдете тему, которой пока не можете найти. У вас прекрасный талант — вы должны развивать его . . . »

31 мая

Встретили на площади внизу процессию. Мальчи-

ки и девочки причастницы несли на плечах грубую вызолоченную статую Мадонны и пели. Девочки в длинных белых покрывалах с большими свечами, убранными ветками лилий, шли, слегка покачиваясь, с чем-то уже женским в походке. На них смотрела толпа. Мы тоже подошли и долго смотрели молча, с стесненным сердцем, пока они прошли, распевая свое Ave Maria.

— Только у нас этого нет ! — сказал И. А. — Ничего у нас нет ! Несчастная страна !

4 июня

Сегодня с утра читала роман Кат. Мих. (Лопатиной), прочла весь. Даже в сокращенном виде он очень велик, но я много передумала, читая его. Вот разность поколений ! Триста восемьдесят страниц только о том, как женатый соблазнил девушку ! А сколько мы вмещаем в такие триста восемьесят страниц ? Да и нельзя же все писать только об этом, о любви, всегда о любви !

Илюша опять дал мне книгу — мемуары Тютчевой и я вчера до половины первого ночи глотала ее. Вот тоже надо учиться, и у нее учиться, как собирать записи, как хранить дневники, как делать выписки из писем ! Ведь все это может потом пригодиться . . .

Читаю целые дни. Кат. Мих. Лопатина живет рядом со мной. Сокращает с помощью В. Н. свой роман для предполагаемого второго издания. За столом ежедневно подымается какой-нибудь спор, чаще всего на религиозные темы. Кат. Мих., как тайная монахиня, на многое смотрит с монастырской строгостью, но при этом в ней столько привередливой и прихотливой русской барыни, что часто все смеются от ее неожиданных и вовсе не монашеских замечаний.

Прочла мемуары Тютчевой. Как написана смерть Николая I-го ! Страшно делается.

8 июня

Читаю Шестова. Много говорю о нем с И. А. Рас-

сказала ему м. прочим легенду об ангеле, сплошь покрытом глазами, посылаемом к людям перед смертью, который, однако, иногда вместо того, чтобы взять у них душу, оставляет их жить, но награждает при этом парой своих глаз. И тогда человек обладает как-бы двойным зрением, при чем первое, земное, видит все в обычном свете, а второе — ангельское — в обратном, часто спутывающем все земные понятия о добре и зле, и в таких людях всю жизнь борятся два зрения. Это сказание меня необычно взволновало, а И. А. даже думает его ввести в роман. Как много освещается, если допустить существование этого второго зрения !

Забыла записать, что Кат. Мих. уже два дня как уехала. Перед отъездом она прочла тетрадь моих рассказов и так хвалила меня и так всем в доме говорила обо мне, что я даже немного смутилась. Она дважды очень серьезно разговаривала со мной, назвав меня «настоящей писательницей», и долго внушала, что я должна помнить о своем священном долге — работать над своим талантом. « Я знаю, что бы я с вами сделала ! Я бы вас на год поселила в монастырь ! Вот бы вы писали ! »

В. Н. подарила мне Евангелие.

12 июня

Письмо от Бориса Лазаревского. Пишет о вечере Рощина, который прошел « с большим успехом ». « Зал не мог вместить всех желающих послушать прекрасную артистическую программу », как пишут в « Возрождении ».

Лазаревский дальше пишет:

« Рощин читал рассказ о глупом солдате (из романа) читал хорошо, произнося слова немного под Бунина, но рассказ мне не понравился, ибо чувствовалось, что этот самый глупый солдат после окажется самым честным и самым храбрым — впрочем автор закончил только описанием сцены как герой романа Сергей отдал последние 25 руб., чтобы глупый солдат купил своей жене корову. Я был так потрясен, что ушел ».

Когда говорили об этом за чаем Илья Исидорович сказал, что вот тут он глубоко жалеет, что нет « духовного ордена », который дал бы понять Рощину всю неуместность и неприличность его поведения.

— Ну я понимаю, когда в сов. России устраивает свой вечер какой нибудь Малашкин и пригласит читать к себе Горького. На то ведь это и рабоче-крестьянская страна, поставившая девизом « последние да будут первыми ». Но что бы это делалось у нас в Париже, в зале Плейель, каким-то Рощиным ! »

Замечательно, что среди прочих артистов, выступала с чтением рассказов и Тэффи. В. Н. говорила, что она считает Рощина безнадежно бездарным.

Продолжаю свое чтение. Сегодня читала Овс. Куликовского, делала кое-какие выписки. И. Ис. зашел ко мне и долго говорил со мной. Я вижу, как у него блестят глаза радостью и верю ему вполне, когда он говорит, что для него огромная радость « наполнять чашу души человеческой ». Он следит за мной с большим вниманием и в этом году особенно много и часто разговаривает со мной.

И. А. все пишет варианты начала четвертой книги, и я уже начинаю смотреть на него почти с набожным изумлением его терпению и упорству — ведь это длится уже с месяц, если не больше, и до сих пор еще нет ни кусочка для перепечатывания !

18 июня

В письме к В.Н. Шестов пишет:

« Очень рад, что моя книга понравилась Г.Н., поблагодарите ее за сочувствие. Ведь наш брат сочувствием не очень избалован: не только не сочувствуют, а и читать не хотят — говорят, что трудно да и скучно ».

Если бы он знал, сколько времени и как я живу его книгой !

У Шестова в одном месте сказано:

« Порфирий, биограф и ученик Плотина, озабоченный — как и все биографы и преданные ученики, боль-

ше всего тем, чтоб обеспечить своему учителю благоговейное удивление потомства . . . »

23 июня

Совершенно погрузилась в Пруста.

28 июня

Вдруг вспомнила один случай с И.А., вернее один его разговор со мной:

Я читала о Николае I-ом и о телесных наказаниях, о шпицрутенах. Дойдя до описания экзекуций, кончавшихся, как известно, по большей части смертью, и затем до ответа Николая одному из министров: « Я не могу его казнить. Разве вы не знаете, что в России нет смертной казни ? Дать ему двести шпицрутенов » (что равносильно смерти) я не могла удержаться от слез и, выйдя затем в коридор, говорила об этом с негодованием В.Н. и Илье Исидоровичу.

И.А., услышав мои слова, позвал меня к себе в спальню, запер двери и, понизив голос, стал говорить, что понимает мои чувства, что они прекрасны, что он сам так же болел этим, как я, но что я не должна никому выказывать их . . .

— Все это так, все это так, — говорил он, — я сорок лет болел этим до революции и теперь десять лет болею зверствами революции. Я всю жизнь страдал сначала одним, потом другим . . . Но не надо говорить о том . . . не надо . . .

Так как у меня все еще текли слезы, он гладил меня по голове, продолжая говорить почти шепотом: Я сам страдал этим . . . Но не время . . .

29 июня

Вчера ездили в Шато Клозон и К. М. Лопатиной. В поездке этой для меня было множество новых и интересных чувств. С внешней стороны все было довольно обычно: собрались с утра, по случаю нерасполагающей,

почти предгрозовой погоды решили отказаться от первоначального плана — сделать часть пути пешком, и взяли автомобиль прямо до Биота.

Когда выехали уже проглянуло солнце и под душным жарким светом среди долин, взгорий, виноградников, каменных городков, где красным запыленным шелком бросались всюду в глаза расцветшие мальвы, поехали через долину, на которую мы смотрим обычно с площадки нашего сада. Небо было все в пухлых облаках, и все были немного отупелые, особенно И.А.

Подъехав к подножью клозонского холма, мы отправили шофера завтракать в Биот, а сами, пешком через лес, пошли в Клозон. Не доходя до него, в лесу позавтракали, приятно разговаривая. Илюша говорил о том, как надо теперь строить будущую Россию и что было дурного в старой. И.А. возражал, но не очень.

К Клозону мы подошли в то время, когда там всем полагается отдыхать.[1] Все окна были закрыты ставнями, перед домом на шезлонгах лежали дети, в одних трусиках или прикрытые чем-то серым. Ни один ничего нам не ответил на вопросы, не вскочил — это час молчания; у крайнего нас поразили яркие, светло-синие, как подснежники, глаза. Он молча улыбался нам. Мы с Илюшей постояли подле него, любуясь им. К нам подошла сестра, некрасивая, с кривыми ногами, но милая и попросила нас наверх в приемную. Мы вошли в прихожую; там на матраце тоже спал голорукий худенький мальчик, зарывшись стриженой головой в собственный локоть. В приемной, куда нас привели, было темно не только от ставень — их тотчас распахнули, но от густой точно подводной зелени деревьев, серо-зеленые стволы которых толпились за раскрытым окном.

Тут был овальный стол, кушетка (на которую И.А. тотчас же лег), пианино с картиной над ним, изображающей голову кающейся Магдалины, и белый бюст Эпиктета на камине; некрасивое, длинноносое, умное ли-

---

[1] В Клозоне был превенториум для русских детей, кот. заведовала К. М. Лопатина.

цо. Мы все сели и тотчас же за этим вошла Катерина Михайловна, в своем белом сестринском одеянии, обрадованная, возбужденная и по обыкновению рассеянная. Она перецеловалась со всеми нами, поахала над неожиданностью нашего прихода, попеняла на то, что пришли мы, как всегда, на такой короткий срок, и стала говорить то о себе, то о делах, то о знакомых с обычной торопливостью и разбросанностью (сестра внесла нам угощение: варенье и воду, по восточному). И.А. весело насмехался над нею, войдя в ту обычную роль, которая ему кажется удобнее всего с нею, ответил на ее оханье по поводу того, что он лег, не открывши подушки («она право чистая, хоть тут и спал кто-то...»).

— Да ничего, авось я на постоялых дворах не раз спал!.. сказал И. А., что вызвало у всех смех и такое восхищение Кат. Мих., что она бросилась целовать его. Впрочем, он тут же заснул под общую болтовню. Следя за разговором, я все время испытывала чувство, которого уже давно не помнила в себе; это было ощущение старого деревенского усадебного мира, который я знаю неведомо откуда, прохладу затененных комнат, мирное течение дня, которое чувствовалось и в этих зеленоватых стволах за окном и в круглом лице Магдалины, вознесшей глаза к небу, и в банке варенья, и в разрозненных стаканах, стоявших на подносе. У воды был какой-то медный привкус, неизбежный в усадьбах. И все это было так успокоительно, так далеко от того ослепительного света, на котором стоит наш грасский дом, что какой-то частичкой души мне захотелось некоторое время пожить здесь.

30 июня

Илюша уехал. Ездили провожать его в Канны, на вокзал, где собрались Кат. Мих. Лопатина и Мережковские. В Гиппиус за румянами и букольками ничего не разберешь, а Мережковский показался мне очень бледным. Тотчас начал говорить со мной о Прусте в таком тоне:

— Да, гениально, гениально... И не художник

при этом... наконец-то не художник (невзирая на присутствие близ стоящего И.А. или вернее именно поэтому). Мне эти художники вот где сидят...

И.А. вмешался и сказал, что по его мнению Пруст в некоторых местах именно настоящий художник, на что Мережковский замахал руками:

— Ну, что вы, что вы ! Именно не художник...

Затем был открыто недружелюбный разговор о Степуне и о его романе « Николай Переслегин », который Мережковские бранят на чем свет стоит:

Илюша слушал разговоры Мережковских с И.А. молча, с улыбкой. Он знает писательские нравы, а нрав Мережковских особенно.

Когда он, перецеловавшись со всеми сел в вагон и посмотрел на нас сверху, я думала о том, что он все же немного любит нас, — такие у него были живые растроганные глаза. Он махал нам из окна до самого туннеля.

Потом пили чай в кафе под платанами и немного гуляли над морем. И.А. был молчалив. Мережковские видимо в этот раз были ему особенно неприятны. Большей частью говорил сам Мережковский (Зин. Ник. поехала смотреть с В. Н. какие-то шляпы).

Между прочим Мережковский сказал о Шестове:

— Шестов только талантливый популяризатор Ницше... Так его все и считают в философии. Конечно, если бы он знал это, он может быть удивился бы... Его беда в том, что он еврей. Но он женился на русской и, как часто бывает в браке, где духовный облик одного переходит на другого, произошло некое облинянье. Он перестает быть евреем, но не дошел до Христа... И вот сидит в этой своей какой-то щели...

Мы уехали раньше чем предполагали. Дома, после обеда я вдруг почувствовала прилив грусти и страха за будущее. Пустая комната рядом как то особенно ощущалась.

И. Ис. удивительно влиял на всех нас. Все подтягивались в доме, не было ссор, все старались быть лучше друг с другом.

2 июля

Сегодня один из тех длинных жарких летних дней, которые живутся тягостно медленно. Все утро переводила Пруста (зачем я это делаю ?) Чтобы заставить прочесть это и И.А. и поговорить с ним об этом, и чтобы это стало отчасти и « моим, пропущенным через меня ». Время течет однако медленно особенно в промежуток от завтрака до 4-х часов, наименее любимое мною время из всего дня из-за своего какого-то беспощадного, слишком резкого и трезвого света, от которого решительно некуда спрятаться, тут не помогают и притворенные ставни.

6 июля

Несколько раз пыталась начинать повесть о двух девушках, но всякий раз все теряется в какой-то расплывчатости. Вижу множество мест сразу и ни одного такого, от которого можно начинать. Это очевидно значит, что повесть еще не готова во мне и надо еще ждать... Вчера В.Н. привезла от Мережковских два следующих тома Пруста и поэтому, очевидно, лучше приниматься за них. Как медленно делается все во мне ! И.А. говорит, что это признак подлинной талантливости и органичности. А вчера был хороший день. Он писал, потом говорил со мной о написанном, тут же читая, и мы говорили чуть ли не о каждой фразе. Вечером, во время прогулки, тоже все время говорили — вообще ничто так не было пережито мной, как « Жизнь Арсеньева ». Сколько мы говорили о ней вперед ! И я вижу как все это рождается...

Мистраль. Сад ревет. И.А. ходит по комнатам и говорит нараспев:

Пришел ко мне скучный вечер,
Не знаю, что начать...

Грустно и мне. Берусь за одно, за другое и тоже не знаю, « что начать »...

7 июля

Вчера И.А. весь день писал, а я читала в саду Пруста. Совершенно погрузилась в это чтение.

Вчера, кажется, И.А. говорил мне как надо былобы писать дневник:

— Надо, кроме наблюдений о жизни записывать цвет листьев, воспоминание о какой-то полевой станции, где был в детстве, пришедший в голову рассказ, стихи . . . Такой дневник есть нечто вечное. Да вот даже то, что делает Вера, записи разговоров знакомых, гораздо важнее для нее чем все ее попытки описывать Овсянико-Куликовского. Да разве она меня слушает ?

Вчера было письмо от Илюши очень хорошее. От него опять повеяло на весь дом умиротвореньем. Ходили вдвоем с В.Н. гулять наверх, говорили о нем и потом был интересный разговор по поводу Пруста. Я часто вообще думаю о ней. Есть одна В.Н. милая, сердечная, добрая, с которой приятно быть и разговаривать, и есть другая — которая воспламеняется из-за всякого пустяка и с которой быть, особенно человеку нервному, физически тяжело. Но как вызывать первую и успокаивать вторую — никто не знает, кроме Илюши, пожалуй, да и то потому, что он стоит на очень отвлеченной позиции и совершенно не зависит от нее.

8 июля

Перед вечером, ходя по дорожке и думая о жизни, вдруг поняла: тоска у детей обусловливается тем, что у них нет прошлой жизни, которой они могли бы занять душу. Жизнь же, лишенная прошлого, пустая позади — очень томит. Отсюда та « тоска по будущему », о которой говорит И.А. в « Жизни Арсеньева », являющаяся в сущности « тоской по прошлому ». Говорили об этом с И.А. Потом я говорила ему о том чувстве бездеятельности, которое бывает у меня, когда я не пишу. Он горячо стал говорить то, что говорит всегда в таких случаях, что « это то и есть самая настоящая работа — чтение, думы, заметки, что за последнее время мной сде-

лана гигантская работа, что я расту не по дням, а по часам, и что единственное условие успеха — не спешить, не метаться ».

— Я и сам когда-то испытывал то же, когда сверстники обгоняли. Бывало, Федоров [1] покровительственно говорил: « Нет, брат, что эти все рассказики, странички... Нет, ты напиши роман ! Гляди, я уже восьмой диктую ... » И под влиянием всего этого начнешь думать: а может и правда ? Может быть они правы ?... Но к счастью если бы я даже и соглашался на такую работу, что-то во мне не соглашалось. И я ничего не мог из себя выжать « не подлинного » ...

11 июля

Вчера В.Н. опять ездила к Гиппиус, а мы работали. Написана новая очень интересная глава: вхождение молодого Арсеньева в революционную среду и описание этой среды, блестяще-беспощадное. С этих пор « Жизнь Арсеньева » собственно перестает быть романом одной жизни, « интимной » повестью, и делается картиной жизни России вообще, расширяется до пределов картины национальной. За завтраком И.А. прочел нам эту главу вслух. Мы говорили о том, что скажет Вишняк и даже Илюша. Во всяком случае, это блестяще и во многом вполне верно. Замечательно как изменились с тех пор русские люди. Наше поколенье (вспоминаю Киев, войну, университет в Праге) занималось другим. Конечно пелись еще при случае те же песни, но неуверенно и вообще потерявши для нас всякий прежний смысл. А в Праге уже больше занимались спортом да учением, если не романами. О « народе » никто никогда не думал и « революционной среды » никакой не было. Мне все больше хочется написать роман нашего поколения.

25 июля

Вчера возвратясь после купанья застали у себя Не-

---

[1] Писатель А. Федоров.

клюдова.[1] Остался обедать и был интересный разговор. За год он очень подался. Уши совсем мертвенные, страшны также руки, да и в лице есть что-то отчужденно-умоляющее. Но в остальном все так-же разговорчив, мил, весел, легок и прост, как в прошлом году. Разговор, однако, беспрестанно возвращался к смерти, отчасти, впрочем, потому, что И. А. несколько раз принимался расспрашивать как он себя чувствует, замечает ли, что стареет; правда всё это под видом шутки. Он отвечал, что в этом году что-то в нем пошло на схождение, что началось это с того, что он зацепился где-то на площадке за дужку крокета и упал, разбил губу; потом в день собственного рождения должен был идти на похороны брата и уронил часы. Они остановились на 8-м часе его рождения. « А главное, я начинаю чувствовать, что устал . . . ». Потом разговор пошел не такой печальный. Как всегда, он легко перешел к рассказам о разных случаях из жизни высокопоставленных особ, потом, направляемый расспросами И. А., заговорил о положении России (я видела, что И. А. интересуется этим для проверки себя, для « Арсеньева »).

— Россия была испорчена литературой, — говорил он. — Ведь все общество жило ею и ничего другого не желало видеть. Ведь даже погода в России должна была быть всегда дурной, по мнению писателей. Я как-то указал кому-то, что у Щедрина во всех его сочинениях ни разу нет солнечного дня, а все: « моросил дождик », да хмуро, да мерзко. И что же ? Так и оказалось. Просмотрели всего Щедрина — так и оказалось !

— Совершенно правильно ! Совершенно правильно ! — горячо воскликнул И. А. — А всякие Шеллеры-Михайловы ? А Щедрин ? Ведь это в сущности сплошной фельетон и оборотная сторона « Нового времени » . . .

— В России страшно разлагалось низшее сословие. Я замечал это каждые два года, когда приезжал из-за границы. В семидесятых годах мужики еще были отличные. Крепостное право они и не вспоминали — им

[1] А. В. Неклюдов — бывший русский посол в Мадриде.

его напомнили позднее, искусственно. В восьмидесятых годах было уже много хуже, а в девяностых — совсем никуда. Главное, три четверти пили. Всё пропивали. Помню, приехал я в Тверь, вечером страшно было смотреть, что делалось! Все эти телеги скакали домой, и все было полно бабами и мужиками — пьяными. Ужасно пили.

— Но ведь Россия шла к необычайному расцвету в царствование Александра III и в последнее царствование, — говорил И. А.

— Да, да... — соглашался Неклюдов, — и ведь в 1911 году государь мне лично сказал: помните, Неклюдов, войны у нас не может быть до 1918 года. Это он мне сказал лично, а уже было ясно — мы в это время изо всех сил старались завязать дружественные отношения между Болгарией и Сербией — что они соединятся и пойдут против турок... И к чему была нам эта Сербия! Один романтизм и больше ничего...

Потом говорил о разных лицах императорской фамилии. Неклюдов о каждом раскатывал что-нибудь. Он всех знал.

— Скажите в кого это пошел Николай I? От кого у него это олимпийство? — спросил И. А.

— А видите ли, был в Царском Селе портрет англичанина — доктора Грэвса; говорят, сходство изумительное... Говорят, английская кровь. А вот о Павле рассказывали, что Екатерина была беременна от Чернышева, а Воронцова — от Петра III. Доложили Елизавете. «Ведь кровь-то ваша у Воронцовой, а не у Екатерины...» Она подумала. И приказано было — переменить. Вот у Воронцовой и оказалась впоследствии девочка...

Слушая его я любовалась его манерой держаться, говорить, есть. Он и сливу разрезал как-то особенно, не так как все, необыкновенно изысканно и красиво, и руки у него двигались особенно... Вообще он при разговоре делал множество мелких, чрезвычайно изящных движений, и я все думала, глядя на его сухую старческую голову, на бородку, на продолговатое лицо, на

тончайший золотой обручик на левой кисти, что все это уже кончено навсегда, что эта порода людей вымирает на земле, что она больше не нужна и что все же это страшно жаль ! Как приятно беседовать, обедать и завтракать с такими людьми ! Они легки, просты, с ними никогда не может выйти никакой неловкости, что дается только воспитанием. Когда он ушел, я, сидя в саду, еще долго думала о нем, о его руках, изяществе его костюмов, изысканной простоте речи. Какую жизнь прожил он ! Посол в Швеции, в Мадриде — сколько дворов, сколько блестящих людей !

1 августа

Вчера кончена 4-ая книга « Арсеньева ». Кончив ее, И. А. позвал меня, дал мне прочесть заключительные главы, и потом мы, сидя в саду, разбирали их. Мне кажется, это самое значительное из всего того, что он написал. Как я была счастлива тем, что ему пригодились мои подробные записи о нашем посещении виллы Тенар ! [1]

После окончания он как то ослабел, как всегда, и вдруг сказал:

— Вот кончил и вдруг нашел на меня страх смерти . . .

Теперь вопрос: что запоет редакция Современных записок, и главное Вишняк, получив описание Вел. князя Ник. Ник. в гробу ?

29 октября

Вчера ездили с И. А. Сделали прекрасную прогулку. До Мужена доехали с В. Н., ехавшей в Канны, там встали и пошли на гору и через Мужен отправились пешком в Каннэ. За эти годы несколько раз совершали эту прогулку и всегда она выходила удачной.

Зашли в трактирчик в самом городке. Держат его

[1] Вилла Вел. князя Николая Николаевича.

два брата-художника; все стены увешаны картинами, всюду расставлены провансальские кувшины, старинные вещи, висят какие-то ржавые цепи, стремена, шпаги. Выпили там кофе и пошли дальше. Подле церкви И. А. сказал: Зайдем, — и пошел вперед. Боковая дверь была полуоткрыта. Он шел первым и когда уже входил, я смутно почувствовала что-то вроде того, что, что-то там есть, — не входите... смутно хотела даже его удержать, но не удержала. Войдя, прежде всего заметила сбоку у стены черную лежанку, которую обычно ставят под гробы, и облегченно, уже яснее подумала: нет! но повернулась к алтарю и убедилась, что есть... в совершенно пустой церкви, закрытый черным сукном с крестом, со свечами вокруг, стоял покойник... Это-то я и почувствовала входя. Мы быстро ушли.

А день был один из тех, которые бывают только осенью, и редко изумительный, с какой-то даже почти излишней красотой, с необычайным светом, от которого горы Горж-дю-Лу казались райскими, с пеной голубоватых облаков над ними. Кипарисы над хижинами были точно на картине, раздался удар колокола, и оба мы одновременно подумали о том, кто лежит перед алтарем в пустой церкви...

Вечером И. А. был грустен, все вспоминал о покойнике, о смерти, — у него сейчас один из тяжких периодов переживаний « перелома к старости, к смерти », как он говорит.

14 ноября

Вчера, кажется, что-то поняла в Мережковских. Мы сами наивны, когда удивляемся, что они не чувствуют высокой красоты « Арсеньева ». Или этот род искусства просто чужд им и оттого никак не воспринимается ими или даже воспринимается отрицательно.

Был разговор по поводу Сологуба, о котором кратко, но весьма для него невыгодно написал И. А. в прошлом фельетоне. Защищая род искусства, в котором действовал Сологуб, Мережковский сказал:

— Вы можете любить или не любить, но вы должны

признавать, что кроме вашего искусства, натуралистического, есть и другой род. В нем действуют не действительные фигуры, а символы, что может быть даже и выше первого. Для вас « манекены » ? Но ведь и дон-Кихот манекен ! А у Ибсена нет ни одного живого лица. А весь Гоголь — такие манекены. Но я не отдам одного такого гоголевского манекена из « Мертвых душ » за всего вашего Толстого ! А Гамлет ? Разве живое лицо ?

Зинаида Николаевна была мила, насколько это возможно для нее. За столом вскрикивала как капризная девочка, любимица в доме, приставляла лорнет к глазам и тянула: « Что это там ? Володя ! Дайте-же мне этого... Налейте-же мне белого... » или вдруг кричала, требуя, чтобы угощали чем-нибудь И. А.: « Дайте же ему салата ! А вот это что ? Акрида ? (креветка в майонезе) Как ее есть ? Кто хочет взять у меня акриду ?... »

Подавала за столом молодая кухарка, которой особенно хвалилась З. Н. в пригласительной записочке, обещая, что их « молодая ведьма обещает приготовить майонез, филе из молодого барашка, салат и яблочную тарту... » Приготовлено все это было действительно очень тонко; ведьма же оказалась очень недурной женщиной с красивым левым профилем — правый испорчен — одетой, как барышня. Мережковский сказал по поводу нее целую речь за столом, указывая на ее « профиль молодой римлянки », на тему о том, как тонки могут быть чувства, возбуждаемые такой молодой красивой женщиной в человеке пожилом и старом.

— Все воображение ? Но ведь это куда тоньше того пожиранья, которое подобно тому, что вы съедите это филе молодого барашка. Недаром в Библии сказано, что если ты посмотрел с вожделением на женщину, ты уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Остальное грубо и в сущности неважно. Если ты хочешь иметь детей, основать брак — это совсем другое. Но наслаждение воображением — это самое тонкое, очаровательное. Самые глубокие, пленительные, настоящие страсти бывают только в детстве и в старости. Остальное — ерунда.

Гиппиус дала мне прочесть рассказ Сологуба « Жало смерти », с тем чтобы показать его значительность и пронзительность. Рассказ этот мы читали вслух вечером. Если даже допустить, что « два отрока » — символы двух душ то сделано это все так, что действует отрицательно. Одна В. Н. утверждала, что « если это символы, то в этом что-то есть », но слабо и должно быть больше из желания быть « беспристрастной ».

Приятен у Мережковских некий эстетизм и вообще другой тон жизни. Меня мучит наша жизнь « спустя рукава ». Но могу исправлять это в очень малой степени, да и то почти только у себя.

Возвращаться было утомительно в поезде с темнотой за окнами. В. Н. не умолкая говорила, как всегда в возбуждении усталости.

23 ноября

Приехал Зуров. Целый день провели с ним. Всем понравился, даже Р., который однако делает вид, что ему все равно.

Первые впечатления очень хорошие. З. рядом с капитаном, несмотря на крупность, очень выигрывает. Губы, подбородок очень тонкие, нервные. Руки огрубели от работы, но пальцы тонкие. Когда И. А. первый раз вышел к нему он стал, вытянулся перед ним, как на смотру. Приехал он в 10 ч. утра с двумя чемоданами, привез русский черный хлеб, антоновских яблок, липового меду, вяленой баранины и плетенку клюквы, а нам с В. Н. по русскому лукошку.

От всего этого веет прямо древлянами и печенегами, а хлеб вызвал даже крик изумления у нашей Камий [1]. Да и мне было странно смотреть на него, когда он лежал передо мной на столе, чуть не железного цвета, какой-то обломок лаврского колокола !

---

[1] Кухарка Буниных.

26 ноября

Уже три дня как З. здесь. Привыкли, немного осмотрелись. В вечер его приезда И. А. читал вслух — пришлось к слову о русском народе — свое « Я все молчу » и потом, по моей просьбе, « Темир-Аксак-Хана ». Читал так хорошо, что мне стало грустно, и я ушла к себе, а он пришел туда ко мне, а за ним капитан, который вдруг, со слезами на глазах, обнял его и долго хлопал по спине, говоря: « Ей-Богу, дорогой, милый Иван Алексеевич, я вас ужасно люблю ! » что совсем не похоже на обычного капитана.

На второй день, в воскресенье ездили с З. в Канны. З. все смотрел, восхищался запахами, дивился, а день был и правда изумительно красивый — море все дымно-серебристое с туманными солнечными червонцами, кипящими от Эстереля до берегов, а потом на закате — с той сиренево-снежной пеной у берегов, которую я особенно люблю.

В. Н. была в этот день у Мережковских и пришла с Катериной Михайловной (Лопатиной) в кафе, где мы их и нашли. Кат. Мих. тотчас бросилась на меня за напечатанный только что рассказ « Осень », говоря, что не стоило мне писать о каком-то « лишнем » чеховском человеке и тратить такие описания на него. Но все это со стороны идейной. Она рассказывала, что они долго говорили обо мне с Гиппиус, и та с большим интересом расспрашивала о разсказе « Бахчисарай », особенно понравившемся Кат. Мих.

Вечером И. А. читал вслух Шмелева (« Въезд в Париж ») показывая все неточности, ошибки, нагромождения. После этого чтения З. [1] говорил у нас наверху: « Я до сих пор не читал Шмелева так как сегодня. Этот рассказ я читал в « Современных записках » и он мне нравился. А теперь я увидел . . . »

Перед И. А. он, видимо, в непрестанном восхище-

---

1 Л. Ф. Зуров.

нии. В. Н. ходила с ним гулять и расспрашивала его. Он ей нравится. Ходит он сейчас в замашной полотняной рубахе, похож на гимназиста. Глаза у него зеленые, узкие.

28 ноября

Вчера прислали корректуру моей книги. Читали ее с И. А. сегодня все утро.

3 декабря

И. А. грустен. Опять мысли о старости, о смерти. А прочие веселы, дурачатся, болтают. В. Н. ездила с Р. покупать ему башмаки в Канны, а мы в это время ходили втроем гулять к часовне.

Опять была корректура вчера — последняя.

5 декабря

Понемногу читаю Архив русской революции для своего романа, но делаю мало. Бодрюсь, но общий тон — грустный.

З. пишет очерк о Псковщине для « Последних Новостей ». Он вошел в жизнь дома, но нельзя сказать, чтобы слился с ней.

16 декабря

Вчера ездили вчетвером: И. А., капитан, З. и я в Сан-Сезер. День был великолепный, теплый, весь в тумане от солнца, чуть ли не весенний.

Мы завтракали в кабачке, в окна которого смотрела пустая площадь, освещенная солнцем и старинный фонтан с четырьмя трубами под голым желтым платаном. Хозяин дал бутылку бордо 23-го года, очень порядочного. Потом ходили по городку, снимали. Как и прошлый раз, когда была здесь, дивилась огромной горной стране, развертывавшейся с обрыва. Там Моры, холмы, морщинистые от лесов, теплый туман от солнца,

огромная тень от горы, в которой, точно на дне моря слабо, смутно белеет несколько кубиков-домиков, а на дне этого огромного ущелья-оврага кипит маленькая горная речка. Шум ее слышен и вверху, и в тишине как-то убаюкивает, завораживает. Вышли к кладбищу, но в ворота не заходили. З. снял колоколенку церкви, которая устроена как звонница.

Звон там хорош. Мы слушали его с обрыва, оставив И. А. и капитана, разлегшихся на хоботье под дубом. Огромные камни висят над пропастью, а сбоку, весь освещенный солнцем, тесно слепленный желтый городок. И вдруг оттуда оторвался и слабо, серебряно, одинокими ударами, поплыл звон... В нем была жалоба всей старой умирающей деревенской Франции.

Домой шли от плато Наполеона пешком. Когда выбрались на шоссе к дубу, светлая, зеркально-голубоватая огромная луна стояла над лесистым краем горы. Мы так и шли на нее.

Все, что записала, однако, только внешнее. Как-то трудно писать о внутреннем. Да и как-то не обертывается все хорошей стороной... И. А. был грустен, когда смотрел на всю эту красоту. После бордо в кабачке, сказал:

— Это вам все предстоит, а мне предстоит одно: большая гробница, как Николаю Николаевичу...

Потом, отойдя, смотрел издали на кладбище и думал, что хорошо лежать на нем под солнцем, при звоне... когда я подошла — сказал мне это. Потом, на обратном пути устал и сердился.

17 декабря

Перед обедом сидели с З. у него в комнате, и он читал вслух « Суходол ». В середине вдруг оба остановились и стали смеяться, и он сказал:

— Конечно, тот же Суходол ! И нечего говорить о Европе ! Здесь тот же самый, чистейший Суходол, и все мы оттуда !

25 декабря

Серо, сине за деревьями сада. С утра, как и вчера,

разбудил звон — все та же неудающаяся на колоколах Марсельеза. Праздник к нам не доходит, только этот звон, да то, что кухарку отпускают второй день сразу после завтрака. Вчера ездили с И. А. в Канны. Там — толпа, омела, цветы в автомобилях и полные народу парикмахерские.

Сумрачно сегодня в доме. По утрам я, как всегда, пишу, но что-то сейчас застопорило . . .

Сирин прислал книжку, только что вышедших рассказов. Читаем ее вслух. Очень талантлив, но чересчур много мелочей и кроме того есть кое-что неприятное. А все-таки никого из молодых с ним и сравнивать нельзя !

30 декабря

Вчера сделали большую прогулку мимо пустого сдающегося поместья и кругом вдоль кладбища в Грасс. Был какой-то северный закат. Оливковая роща, сплошь темная, была косо освещена унылым болезненным светом, в котором было много малинового. Свет этот, освещая целый угол рощи, левее поднимался и шел только по верхушкам, постепенно уменьшаясь и отдельными мазками трогая то одну, то другую вершину. И. А. как всегда не хотел идти мимо кладбища, кричал на меня за то, что я хотела заглянуть в него. З. зашагал вперед и, встав на камень у стены, все-таки заглянул. Это обычное французское кладбище с безобразными склепами и черными венками. Есть один очень красивый тонкий кипарис, остальные обыкновенные, плотные.

После обеда И. А. читал Сирина. Просмотрели писателя ! Пишет лет 10 и ни здешняя критика, ни публика его не знает.

После завтрака полезли с З. рвать оливки. Он влез на то дерево, что над крышей водоема, и за руку втащил силой за собой меня. Был ужасный крик изо всех окон. Камий бросилась к И. А., а капитан к В. Н. — каждый с извещением, что « он убьет и себя и ее » ! И. А. вышел в ярости и заставил меня слезть.

Когда З. тащил меня — за одну руку ! — вверх, то говорил: « Я хочу чтобы вы были писателем, а не барышней » !

И. А. потом бранился со мной.

31 декабря

Ездили в Мужен. Ходили за вином и сладостями и потом посидели в кабинете И. А. стараясь создать впечатление новогоднего вечера. Не удалось. Каждому в душе было грустно. Кажется грустней всех был И. А. Я старалась казаться веселой. Что с нами всеми будет в этом году ?

7 января 1930

Первый день русского Рождества. В первый раз в доме елка. Сделал ее З. Нервничал весь день, на всех сердился, обижался как ребенок, но сам нарисовал всякие картинки, связал елку из веток и потом мы ходили покупать свечи.

Вчера всем домом ездили встречать сочельник к Кугушевым [1]. И. А. сначала не хотел ехать, но потом все обошлось и было даже очень приятно. Была индейка с каштанами и сколько угодно самой разнообразной водки.

Потом Ася Кугушева играла, а мы танцевали. Танцевал даже И. А. и замечательно. Отвезли нас на автомобиле. Мы сидели позади втроем: В. Н., З. и я. Улеглись и смотрели в небо на звезды. Потом еще гуляли в саду.

8 января

Встала рано, услышав, что И. А. варит себе кофе, сошла к нему и мы выпили его вместе.

Идет дождь. Тепло, сиренево. Весь дом спит, а я уже убрала комнату, оделась и пишу.

---

[1] Князь и княгиня Кугушевы, жившие по соседству.

Хотя внешне я и весела втайне мне нехорошо. В. Н. вчера сидела со мной в темноте, при горящей печке, и говорила, что очень рада, что у нас живет З., что он внес в дом оживленье, молодость и влияет на меня в этом смысле, а то я чересчур поддаюсь влиянию И. А., живу вредно для себя, не по летам.

— Вам надо пожелать только одного, что есть у З. и чего нет у вас, — сказала В. Н., — самоуверенности и веры в себя.

12 января

Все эти дни грустна, потому что в доме нехорошо. У И. А. болит висок, и он на всех и на все сердится. Впрочем и без этого он раздражается на наши голоса, разговоры, смех.

Мне часто бывает грустно от этого. Я не знаю как держаться, чтобы были хорошие отношения в доме. Не думаю, чтобы кто-нибудь, кроме капитана, мог жить у нас длительно.

14 января

Проводили Рощина. Уезжал неохотно, прощался растроганный. В Париже ждет его не мед. Но что-же делать? Даже Камий говорит, что нельзя кормить « cinq personnes » в доме. Да и стало очень трудно. Чехи прекратили пособие, и вообще на все стало хронически не хватать.

Послезавтра должна приехать Маня Муромцева [1].

Последнее время чаще бываю с В. Н. Сейчас она больна и мало выходит. Вчера мы обе оставались вечером дома, лежали на ее постели и разговаривали о человеческом счастьи и о неверности его представления. Человеческое счастье в том, чтобы ничего не желать для себя. Тогда душа успокаивается и начинает находить хорошее там, где совсем этого не ожидала.

---

1 М. Муромцева-Брюан.

Р. уехал. О нем мало жалеют в доме. Прожил он какой-то картонной фигурой, тенью, никому не открываясь, употребляя только привычные, неизменные на несколько случаев фразы. Называли его то « капитан », то « Пэка », З. часто по утрам, лежа в постели, громко сочинял стихи на воображаемое существо, которое прикрывало подлинное лицо Р., вроде

Знаменитый мистер Пэка
Любит льва и человека.

В. Н. играла с ним целые вечера в карты. Со мной он держался то в позиции всегда готового на интрижку « ухажера », то не замечал совсем. А уезжал растроганный, с красным лицом и внезапно распухшими увлажненными глазами. Отчего ? Очевидно все-таки покидал какой-то « дом », хотя климат этого дома был ему всегда тяжел.

17 января

В. Н. вчера ездила встречать и устраивать в Гранд-Отеле Маню, а мы втроем поехали в Рокфор в « Хижину » Реттере и оттуда ходили с ним осматривать дом, который он предлагает снять И. А.

Реттере очаровал нас всех. Живой, энергичный, бодрый, неутомимый, этот русский француз, миллионер в прошлом (кофе Реттере в Москве) теперь владелец скромной « Хижины » на проезжей дороге, провел почти весь день с нами, выпили вместе пять бутылок вина, он угостил очень хорошим завтраком и был так родственно мил, что нам всем казалось, что мы знакомы всю жизнь.

Дом, о котором идет речь, стоит в лесу, в километре от ницццкой дороги. Это уже настоящая глушь. Подле него маленькое здание мэрии Рокфора и большие горные дубы. Он деревенский, без мебели, с лоджией. Хозяин хочет за него 10 тыс. в год с землей. Пока ничего не решили, отложив все до приезда В. Н., но И. А. говорит, что ему нравится. Правда, дико, глу-

хо, будут грустны вечера, ночи. Но « Реттере под боком », как все время говорил он весело и убеждающе.

И. А. кажется доверился ему вполне. Они все время шли по дороге впереди и разговаривали. Мы с З. шли сзади. З. там нравится, напоминает Псковщину. Он всю обратную дорогу приводил И. А. различные доводы в пользу съемки дома.

Когда мы наконец ушли и, в ожидании автобуса, пошли по сырой темной дороге, казалось, что уже глубокая ночь. Все было пусто, молчаливо. Дорога тонула в сыром тумане, также и леса вокруг. Только вверху блестели звезды среди оголенных сучьев. Когда обернулись — где-то, страшно далеко казалось, — тускло светился огонь у вывески « Хижины » . . . И это была уже дичь, глушь . . .

Когда потом приехали в Грасс и зашли в Гранд-Отель, казалось, что перенеслись на другую планету. Ковры, тепло, азалия в цвету, туфельки с лебяжьем пухом на ковре, зеленый, расшитый как риза халат без рукавов на лежащей в кресле во всей своей « идольской неподвижности » Мане . . .

23 января

Вчера пришли первые книги « Арсеньева ». З. разложил их на столе, перед прибором И. А., украсив стол огромным букетом, так как мы были в Сан-Рафаэле, а В. Н. с Маней в Каннах. Вид книги хороший, только бумага плохая, пухлая, сыпящаяся тряпками.

На этой неделе выходит моя книга. Илюша пишет об этом в последнем письме. Странно, что я не испытываю ничего особенного. Смутно тяжелое чувство какого-то страха.

Сегодня встала раньше всех. Ждем к обеду Кугушевых. Солнце. Выспалась. В постели почему-то вспомнила, как мы смотрели вчера на вокзале на кремовые, задранные головы быков в вагонах, и И. А. сказал в шутливом удивлении перед напыщенной громадностью и сложностью этих как будто завитых, в буклях голов: « Какие . . . Бисмарки ! . . » Быки косили темно-лило-

выми громадными глазами и сцеплялись рогами. Их везли на убой.

Через неделю мы должны выезжать в Париж. З. едет с нами, но где будет жить пока неизвестно. В. Н. хочет, чтобы с нами.

27 января

Третий день льет. Ночью был такой шум, что я просыпалась, а потом видела во сне потоп и какой-то огонь, падающий с неба.

Вчера мы с И. А. весь день убирали вещи. Устали ужасно, но зато много сделали. Едем через три дня. З. писал у меня в комнате. Он вообще днем, после полудня, почти переселяется ко мне, так что вчера уж я ушла в кабинет к И. А. писать письмо. Правда у меня тепло — есть печка — а у него холодно, и надо-же ему писать! Мы уже напечатали страниц 40 третьей главы. Он непременно хочет написать еще одну до отъезда. Отношения у нас вполне товарищеские: мы иногда спорим и даже иногда царапаемся, но в общем ничего. У него все писательские недостатки, как сказала бы В. Н.

Очень хороша, кротка все последнее время В. Н. Она и правда как бы с чего-то сдвинулась, стала терпеливее, терпимее, как-то « выше » смотреть на вещи, и исчезло то неприятное, что было в ней так долго. Я иногда чувствую к ней настоящую серьезную нежность, хотя избегаю по прежнему ее показывать.

29 января

Среди бела дня, на улице, в Париже похитили генерала Кутепова. Ужасное впечатление.

1 февраля, Париж

Ночь в вагоне. Удалось быть вчетвером в купе. Но спали мало. Квартира все та-же, на rue Offenbach, хорошо известная. На этот раз обошлось без отелей и без больших волнений. Когда проезжали по Парижу с удивлением заметила, что все это немного забыла.

Против прежних намерений З. остается у нас. Ему взяли кушетку и поселили в столовой. Весь день убирались, купались и никого не видели. Только уже совсем вечером И. А. вызвал Нилуса [1], и он пришел посидеть с нами.

На этот раз мы ничего не ждали от Парижа и может быть потому нет чувства разочарования. З. мечтает о Лувре.

3 февраля

Завтракал Илюша. Познакомили его с З. Он ему понравился. Потом был Алданов. Произвел грустное впечатление. Утомлен видимо ужасно.

Под дождем отправились втроем к Амалии. Были Мережковские. Я сидела в кабинете и при разговорах не присутствовала. Потом туда пришли Илюша с З. Илюша показывал ему книги.

Моя книга уже разослана. В « Возрождении » писать о ней будет Злобин. Он сегодня, возвращаясь с нами в автомобиле, демонстративно помахивал ею перед моим носом.

20 февраля

В. Н. и И. А. куда-то уехали, Зуров в Нац. библиотеке, я каким-то чудом первый раз одна за все это время.

В этом году Париж для меня несколько иной чем в прошлом и позапрошлом. Мы ходим в Лувр, в Нац. библиотеку, в старые церкви. И. А. встает поздно, ложится поздно, но все-таки как-то здоровее чем в прошлом году. Моя частичная « эмансипация » его раздражает, расстраивает. Но что делать ? Это необходимо.

6 марта

Вчера были на заседании « Зеленой лампы ». Тема

---

[1] Художник П. Нилус.

доклада: « Отчего нам стало скучно ». Это первый сбор « всех частей » в этом сезоне.

Какое чувство отъединения ! Вот вчера привезли домой « Числа ». Толстенная книжка и вся « действующая армия » в ней, но какая это армия чужая, равнодушно-неприязненная !

В этом году часто ухожу одна из дома на час, на полтора. Вчера зашла в церковь на rue Дарю. Службы еще не было. Остывший ладан, лампадки, которые по три зажигал и на блоке подымал сторож — как все это пахнет детством, юностью. Гимназические увлечения, потом Дима-муж как то связаны с этим запахом и лампадками. А главное — дед и детство ! И как это было давно ! И между тем это я — та же самая я сижу здесь в Париже в церкви и смотрю на иконку Александра Невского, освещенную поставленной мной тонкой свечей . . .

Во мне произошли десятки изменений, но должно быть сердцевина души не меняется. Должно быть во мне жива девочка с Печерска, только обросла какими-то новыми образованиями, как дерево кольцами древесины и коры.

13 марта

Статья П. Пильского о моей книге. Как будто бы главное во мне « радостное отреченье ». Совсем неправильно. Если уж я отрекаюсь, то отрекаюсь не с радостью, а с горечью, с болью и сетованиями на свою же натуру, по какой то, как мне кажется, слабости отрекающуюся.

У Розанова: « жизнь наша (наша биография) есть организм, а вовсе не отдельные поступки.

— все наши ошибки, грехи, злые мысли, злые отношения с самого детства, в юности имеют себе соответствие в пожилом возрасте и особенно в старости ».

В нашем литературном кругу все всего боятся. Боятся говорить, высказать прямо мысль, суждение о ком-нибудь. Вдруг передадут ? Вдруг выйдет сплетня ?

И от этого говорят только то, что безопасно т. е. пресно, скучно, обще, никому не нужно, без красок. Все друг друга боятся. Оттого мне кажется, когда мне предстоит вечер в гостях, что я его гублю в какой-то вредоносной для себя тупости.

Были с З. в музее Клюни. Смотрели обувь. Там есть черные шелковые туфельки Жозефины, жены Наполеона, непонятно узенькие, — как она могла их надевать, или как может быть такая странно узкая и маленькая нога ? — и золотистые туфельки принцессы Ламбаль.

Встретили с И. А. как то днем на улице Куприна. Он в летнем пальтишке, весело жмется.

— Зайдем в кабачек, выпьем белого винца по стаканчику . . .

Несмотря на то, что мы были с базарной кошелкой, полной бутылок, зашли .Он все знает. Повел к « каменьщикам ». Даже собака его там знает, он позвал ее: Кора !

Был суетлив, весел. Все напоминал И. А. их молодые годы, знакомство:

— Вот весна, и мне хочется куда-то . . . в страны . . . это он рассказывал, что какой-то его знакомый едет на Мадагаскар, где неприлично иметь меньше 3-х жен — уважать не будут. Говорил, что любит ходить в бистро на улице доктора Бланш, где 11 собак и 4 кошки. Интересно, и симпатичные хозяева-Пьемонтцы. Хорошее потофе и белое вино. Его всюду знают. Хозяин встречает: m-eur Куприн !

Он очень мил, хотя только к себе, к своим ощущениям внимателен и все говорит мимо собеседника.

Вышли в снег. Сразу облепило. Он в тонком пальтишке.

— Да вы промокнете, простудитесь после грога !

— А я воротник подниму . . .

Ласково-грустно почему-то с ним рядом. Как будто все уже в нем кончено.

2 апреля

Необыкновенно душная городская весна. Каштаны все обсыпаны почками, на глазах кажется увеличивающимися.

Ритм домашней жизни, чем ближе к 13-му (вечер И. А.) нервнее. В. Н. убегает с утра, возбужденная сверх всякой меры, и целый день носится по городу, возвращается же только ночью, убежденная, что все что она делает совершенно необходимо для продажи билетов. З. пишет каждое утро в столовой с необыкновенной пренебрежительностью к внешним условиям (что внушает мне невольную зависть) и даже И. А., преодолев все свои мнимые и настоящие недомогания, садится за стол, заставляя себя писать к вечеру.

Я печатаю обоим. Этим ограничивается моя деятельность.

5 апреля

Вчера был юбилейный банкет в честь Ходасевича.

Нина в начале вечера так волновалась, что глаза у нее были совсем розовые. Была рассеяна, но держалась хорошо. Раевский и Голенищев — Кутузов посылали ей и ее соседу по столу Аминадо стихи, сочиненные тут же, где было что-то вроде:

Нам не надо Аминадо,
Лысого и старого,

мы предпочитаем

Ниночку Берберову.

До вечера И. А. четыре дня, не считая сегодняшнего. Однако, у него почти ничего не написано. Вчера он говорил, что написать ничего не в состоянии, что «Мои современники» тема большой книги, а не полуторачасовой лекции и т. д.

25 апреля

Читаю весь день « Петра I-го » Ал. Толстого. Зуров говорит, что это лубок, но по моему все-таки талантливо. Чувствую тенденцию, освещение временами какбудто издевательство над « заказом », но все талантливо.

Одна в доме. От чтения устали глаза. День теплый такой, что ходила в летнем пальто. Опять было приятно идти по сухим тротуарам, нагретым солнцем. Ярка зелень. Птицы поют.

4 мая

Вечером был пьяный Куприн, еле вывели с помощью вызванной по телефону жены. Говорил обо мне: « Она славная девченка ! » и тянулся целоваться, а Алданову, сидевшему тут-же, кричал: « Ты, мальчик ! »

15 мая, Грасс

Приехали сюда 13-го днем. Сад и окрестность поразили обилием зелени, цветов, нарядностью. И. А. успокоился по приезде сюда.

Илюша в этом году отдаленнее, чем когда-бы то ни было. Держится с И. А. как всегда дипломатично, но мне эта дипломатия уже не кажется чем-то тонким — я ее много трезвее вижу и ценю.

В корзинке с книгами нашла « Книгу о смерти » Андреевского и читала ее эти два дня. Многое в ней подчеркнуто рукой И. А. Книга замечательная и написана местами с силой первоклассной.

16 мая

В Марселе, где мы ночевали, утром из окна отеля прелестно было небо над портом и старые черепичные крыши на горе. Марсель, весь бледный даже теперь, в мае, от пыли, с обрезанными платанами, с некрасивыми памятниками на фоне этой зелени. Понравился мне род канальчика, соединяющего часть порта, где под

крепостными стенами с тюремного вида окошечками стояли серо-зеленоватые картинные парусники с голыми снастями.

Но жить в Марселе я бы не хотела. Есть города, как и комнаты, в которых можно и нельзя жить. Лион, Марсель, Бордо принадлежат к числу тех, где бы я не хотела жить.

18 мая

На прощальном вечере у Цетлиных в Париже обратила внимание на незнакомого господина с крупными чертами серо-желтого пробкового лица. Время от времени он подносил к глазу лорнет и взглядывал на меня. Так как мы приехали во время концерта, спросить кто это было нельзя: все слушали или во всяком случае делали вид, что слушают пианистку. Я подумала, что это Рахманинов, т. к. в лице у него было что-то похожее на лицо Рахманинова, к тому же какая-то его фраза, шепотом сказанная о музыке еще больше утвердила меня в этой мысли. Когда пианистка кончила, я только что собралась спросить кто это, как его подвели ко мне и он сказал: « Керенский . . . » Мы стали шутить на тему о моей ошибке. Он сразу стал держаться « ухаживающе ». Я шутя спасалась от него. Мы пили крюшон, болтали о пустяках и я никак не могла мысленно связать его с тем, что произошло в России . . .

На этом же вечере я опять встретилась с Сориным [1], которого узнала не сразу. Он долго, очень долго разговаривал со мной, мы вспоминали его приезд в Грасс летом, вечер в саду, тишину, стол под пальмой, блюдо с фигами . . . Он долго уговаривал меня остаться на три недели в Париже т. к. ему хочется написать мой портрет. Даже спрашивал: не приехать-ли для этого на юг ?

У него казацкие, каре-черные глаза в желтоватой тени глазных впадин и хохлацкое лицо с черными пря-

---

[1] Художник С. Сорин.

мыми, чуть не конскими волосами. Алданов сказал о нем, что сейчас мода на него в мире необыкновенная и фотография с его портрета, приложенная к переводу моей книги, могла бы иметь для меня большое значение.

21 мая

Лежу, читаю, перечитываю «Красную лилию» Франса. Очень хорошо, но теперь вижу все нитки, которыми автор вязал фабулу.

Илюша вчера уехал от нас. У нас были вчера разные разговоры втроем с ним и с З. Мы ходили по саду и говорили, пользуясь тем что «старших» не было — они уехали в Канны. Илюша все говорит о своем любимом: об Ордене. Однако З. мало поддается на это, вернее отмалчивается, думая о чем-то своем.

З. обвинял меня в том, что я не пишу. Илюша больше понимает и потому защищает. Он был вчера вообще со мной очень нежен. В первый раз пригласил нас «кутить» т. е. выпить чаю с пирожными в кондитерской, что мы и — правда довольно робко — сделали.

23 мая

Вчера весь день шел дождь, было похоже на осень, мы все сидели по своим комнатам.

Читаю воспоминания Анненкова о Гоголе. Оказывается, Гоголь так же боялся болезней и вида смерти, как И. А. В постели вечером долго думала о Гоголе моего детства т. е. воображаемом — и этом действительном, с нелегким, необщительным, лукавым даже обликом. Высчитала, что он был в Париже весной, 84 года тому назад. Он жил в отеле на рю де ля Пэ.

И. А. тих, много спит, почти не раздражается, вообще никак не похож на парижского. Много сидит у себя, пересматривает рукописи и книги, чтобы дать что-нибудь в газету. В. Н., у которой распухла нога от укуса какой-то ядовитой мухи, все эти дни лежит и читает.

Вечером

Были в гостях у Амалии[1], они живут теперь в « Beau Site », внизу. Осмотрели нижний этаж виллы, который они снимают. Он прохладный, толстые стены, должно быть приятно в жару. На окнах рамы с сетками от москитов — моя мечта.

Амалия была очень любезна, угощала, разговаривала, потом пошла провожать нас и при этом куталась в свой черный вуаль с какой-то надгробной грацией. Несомненно, что между глазами ее редкостного кота и ее собственными есть что-то общее, только у кота они пустее и жутче и временами в их голубизне аметистом загораются зрачки. Задние ноги у него почти оленьи. « Вообще, совсем особое животное, неописанная никем красота » — сказал И. А. — « Я бы его не хотел иметь у себя, потому что все время был бы соблазн смотреть, погладить и еще что-то . . . сделать . . . » тут он сделал руками жест непередаваемого усилия, который у него всегда служит выражением творческого желания. Амалия была довольна. Уйдя от нее мы с удовольствием шли по пустому, ярко-освещенному послеполуденным солнцем шоссе и любовались вздымленным поголубевшим морем и эмалевым блеском облачного, ярко освещенного неба.

Мне еще долго потом вспоминались голубые усталые глаза Амалии, белые тесные без блеска зубы, легко и часто раскрывавшиеся в невеселой улыбке, грациозно-утомленный и вместе с тем твердый наклон головы. Какая они странная пара с Илюшей !

24 мая

Провели почти весь вчерашний день вчетвером (с Илюшей, но без В. Н., у которой все болит нога) в Дубке, имении Кугушевых.

Долго завтракали, потом гуляли, ели под орехом

---

[1] А. О. Фондаминская.

клубнику, ходили в сад сниматься. Они милые люди, несмотря на некоторые странности вроде того, что Ася решила посадить перед домом ряд кипарисов, чтобы закрыть «эти голые горы» т. е. божественно прекрасный кратер Горж дю Лу.

Вечером, гуляя, разговаривали с И.А. о писании. Он многое видит во мне и старается помочь совладать. Какое у него зрение удивительное — особенно когда он любит и желает добра !

30 мая

Вечером с В. Н. у Фондаминских. Катерина Михайловна в писательском унынии — пишет статью о брате-философе Лопатине и говорит, что не удается. Амалия — в черном шелковом платье, ее изумительный кот, запертый в спальне по случаю прихода В. Н. (она не выносит кошек) и очень этим обиженный. Доберман-пинчер Риго, собака англичанок, с умной и странной мордой, жутко обрисовавшейся в полумраке сада. Взяла у Илюши Воспоминания Григоровича и Дневники Блока.

1 июня

Вчера гости. Трогательная для меня чем-то Ася с ее нежным румянцем и белизной кожи. Ходили с ней по саду Монфлери, снимались. Они пригласили нас с З. на будущей неделе.

Весь вечер была Кат. Михайловна. Она уже кончает свою статью о брате и собирается домой в Клозон. Все время говорили с З. о православии и католичестве, при чем в конце концов каждый говорил свое, не слушая собеседника.

4 июня

И. А. читает дневники Блока как обычно внимательно с карандашем. Говорит, что мнение его о Блоке-человеке сильно повысилось. Для примера читает вы-

держки, большей частью относящиеся к обрисовке какого нибудь лица. Нравится ему его понимание некоторых людей. « Нет, он был не чета другим. Он многое понимал... И начало в нем было здоровое... »

Вчера у нас почти целый день была Кат. Мих. Диктовала В. Н. свои воспоминания о брате-Лопатине. Писала она в течение последней недели у Фондаминских, которые для этого и пригласили ее к себе из Клозона. Вчера же вечером я читала уже перепечатанное. Немного сумбурно, как всегда у Кат. Мих., а в общем талантливо, интересно, хотя и неотделанно и поспешно до крайности, до того, что в некоторых фразах нет смысла.

5 июня

Ездили в Таннерон вшестером — из нашего дома И. А. и я и кроме того Кат. Мих., ради которой и был взят автомобиль.

Погода была серенькая, но с очень теплым, упругим ветром. Дорога очень красивая, мимо Орибо, но когда пошел подъем Кат. Мих. стала боязливо жаловаться и, схватившись за меня, говорить, то еслиб знала, никогда бы не поехала. Таннерон — целая область холмов, деревушка же состоит из одного дома, представляющего одновременно и кафе и жилище мэра. Почта и телефонная будка в другом старом запертом зданьи. Слегка накрапывал дождь. Отовсюду несли великолепную крупную клубнику, только что собранную на склоне холмов — промысел Таннерона. (Другой промысел — мимоза, плантации кот. на всех холмах). Амалия купила плетенку клубники себе и половину в подарок В. Н. Пили чай, вино, ели сыр, колбасу в темной комнатке кафе, где вылезало из угла медное, точно самоварное жерло граммофонной трубы. Хозяин некогда принимал у себя Клемансо и очень этим гордится. Ему лет 80.

Ходила на холм собирать цветы. Множество маков, ромашки, а по дороге на обрывах, среди папоротника и сосен, великолепные крупные колокольчики, которые

я лазила доставать. Вода, песчаный берег быстрой горной реченки, в которой, говорят, водятся форели. Необыкновенно приятно было в густой траве на лугу подле речки рвать ромашки, белыми звездами испестрившими все вокруг.

Вечером Кат. Мих. до 11 диктовала свою статью. Ночью у нее был сердечный припадок. « Ей, пожалуй, не следовало ездить » — сказала Амалия.

А воспоминания ее о брате яркие, живые, хорошо рисующие ту обстановку, в которой жило образованное московское общество ее времени, — читала сегодня утром их с большим интересом.

12 июня

Вчера был пикник с Кутушевыми и Фондаминскими. Ездили в лес завтракать. Место выбрали неудачное — скатерть оказалась почему-то втиснутой между двумя большими камнями т. что сидеть было неудобно, притом была очень жидкая тень сосен и масса мух. Майонез, рыба, паштет и ананасный компот довершали неудобство. Притом компания была очень неслаженная, хотя Илюша из всех сил старался подымать общий дух, говорил громче всех, смеялся, распределял еду, всех подталкивал. Амалия держалась любезно и снисходительно. З. был в плохом настроении — все его раздражало. Пошли гулять — долго шли по заворачивающей дороге — все время Илюша говорил со мной о делах. Он еще раз поразил меня вниманием. Мы очень горячо и хорошо поговорили.

— Еще в прошлом году я боялся за вас, — сказал он, — но вы за этот год выросли необычайно. Теперь я больше за вас не боюсь.

Он говорил о предполагаемом проекте предоставить нам на зиму виллу Бельведер. Трогательно, что он обратился прежде всего ко мне, считаясь с тем, что мне придется сидеть в Грассе полтора года. Я думала об этом ночью. Жизнь в Париже не принесла никому из нас ни разу счастья. Расспрашивал Илюша также почему И. А. выписал З. Я отвечала, что сделано это бы-

ло из самых благородных побуждений и вполне простодушно.

По дороге в Ниццу наши вчера переехали змею — по рассказам нечто необычное в здешних местах, что-то экзотически-огромное. Понадобилось три раза переехать ее автобусом, чтобы прикончить. И. А. рассказывал об этом с дрожью.

Алданов пишет, что Куприну собирают на юбилей, собрали тысяч 30, а надежды на 50-60. Жалеет, что И. А. вместо юбилея сделал вечер.

17 июня

Вчера ездили в Канны и И. А. неожиданно захотел выкупаться, что и сделал, удивив меня своей отважностью. Еще никто не купается и сам он обычно начинает не раньше половины июня. На обратном пути в автобусе он говорил, что « выдумал для меня весь мой роман ». Что писать его надо несвязанными кусками, назвав каждый кусок отдельно, и что нужно это для того, чтобы было легче отношение к этим кускам так как, по его мнению, меня « губит серьезность ». Надо относиться к своему писанию полегкомысленней » — часто повторяет он мне последнее время. Он очень прав, чувствую это, верю, понимаю, на минуту как будто загораюсь... но потом все исчезает при малейшей потуге на что либо. Чувствую себя в этом году равнодушно-вяло.

Читаю книгу о Некрасове. Умный, интересный и неприятный... Мало к сожалению о его истории с Панаевой. Хотелось бы знать побольше. Глухо очень и о ней и о их романе и о Панаеве...

Много интересного в истории его работ. Вот писал !

« Все бывало нехватало материала для книжки. Побежишь в Публ. Библиотеку, просмотришь новые книги, напишешь несколько рецензий, все мало. Надо роману подпустить. И подпустишь. Я, бывало, запрусь, засвечу огни и пишу. Мне случалось писать без отдыху более суток. Времени не замечаешь: никуда ни

ногой, огни горят, не знаешь день-ли, ночь-ли, приляжешь на час другой и опять за то же ».

А вот в другом месте он пишет Тургеневу:

...« Только увлекшись каким-нибудь продолжительным трудом буду я в состоянии не чувствовать ежеминутно всей тягости моего существования, которое более плачевно, чем я об этом говорю ».

А вот еще:

« Надо работать, а руки опускаются, точит меня червь, точит. В день двадцать раз приходит мне на ум пистолет, и тотчас делается при этой мысли легче. Я сообщаю это тебе потому, что это факт, а не потому, чтоб я имел намерение это сделать, — надеюсь, никогда этого не сделаю. Но не хорошо, когда человеку с отрадной точки зрения поминутно представляется это орудие ».

Рассказ Амалии Фондаминской:

« Жили мы в Париже, имея три с половиной тысячи в месяц, не считая квартиры и платьев, счета за которые посылались в Россию маме, и все-таки всегда в конце месяца были без гроша. Да все это было ничего. Денег нет — значит мама думает — ну, вот будет от нас телеграмма. А к дню рождения и именин ей-же посылались счета. И это не считая драгоценностей. А то помню раз мне загорелось ! Хочу жемчугá ! Да еще не какие-нибудь, а вот такую нитку (жест во всю грудь) и так загорелось, что вот вынь и положь ! Ну, пришлось выписывать ювелира из Москвы. И так, помню, он мне нанизал их на простую нитку, пошла погуляла и сразу все прошло — ничего особенного ! А Тузя (Илья Исидорович) был революционером и меня не понимал ... »

Было это приблизительно, в 1907 году.

Вчера после обеда Илюша попросил у И. А. разрешения поговорить с ним « о делах » и, удалившись с ним в кабинет, сказал ему о том проекте касательно предоставления нам Бельведера на весь год, о котором у нас с ним шла речь еще на пикнике. Затем предложил ему издание книги рассказов, на что И. А. сог-

ласился при условии — 3 тыс. авансу, которые должны пойти на уплату виллы зимой. Впрочем и это не мед. Книги И. А. не дают никакого дохода. За « Арсеньева » он получил 1000 франков, т. е. меньше чем Рощин за книгу рассказов, изданную в Белграде (1800). Денег нам хронически не хватает. Получается в месяц 2500 ф., а жизнь стоит больше трех, не считая квартиры, за нее уплачено деньгами с вечера И. А.

Сегодня по этому были дебаты. И. А. требовал сокращения бюджета почему то « на салатах », хотя едим мы более чем скромно. Да вот одна беда. « Пишите, как Алданов » — как говорит Илюша — « и вас будут покупать. А если хотите писать для вечности — терпите ».

З. нападал на Илюшу, доказывая, что у них плохой распространитель, что « надо связаться с лимитрофами, что нельзя довольствоваться одним эмигрантским рынком . . . » Но на все это Илюша уныло твердил, что все испробовано, а спускать марку им нельзя — нельзя становиться на одну доску с издательством « Литература », которое издает Брешко-Брешковского.

Мы уже сегодня говорили с И. А. что делать ? Работать надо, а как ? Живя в Грассе трудно доставать русские новинки. Когда мы все четверо посылаем в одну газету — трудно надеяться на общий успех. Да и вообще не нужны мы им, да и не умеем, откровенно говоря, угнаться за моментом, а для газеты только это и интересно. И все Илюшины посулы и искушенья — мираж, хотя не могу отказать ему во внимании и в известной заботе обо мне.

20 июня

Вчера за обедом Илюша читал письмо Алданова, извещающее, что он решил приехать и пробыть здесь до начала июля. Просит найти ему комнату. Жить у Фондаминских он, конечно, отказался по свойственной ему боязливости стеснить и быть самому стесненным.

После обеда толковали в конце сада об Илюшином докладе в РДО, спорили о значении слова « Ор-

ден ». Илюша, мне кажется, сделал ошибку, прочитав этот доклад и вызвав всех на возражения. От этого ему так и трудно теперь писать дальше свою « Империю ».

Он опять советовал мне писать пересказы новых книг для газеты. Но это работа не по мне, да и И. А. против.

Вчера И. А. весь день разбирал свой архив (письма), раскладывал по стопкам, кое-что показывал. Читал письма своего племянника Коли Пушешникова. Очень хорошо пишет. Влияние И. А. огромное, но все-таки замечательные письма и жаль, что он перестал (из-за цензуры, вероятно) писать.

21 июня

Второй день живет приблудившийся рыжий песик. Вошел он в сад, когда мы с Л. [1] сидели под пальмой, боком подошел, держа торчком остриженные уши и внимательно и испуганно косясь на нас черные глаза. Морда у него была черная, точно на нее чехольчик черный надели, в отличие от всего прочего. Худ он был так, что все ребра видны. Дали ему белого хлеба и корку сыра — боится есть. Л. назвал его « Сухарем ». Пробыл он у нас две ночи и два дня, первую ночь подвывал от скуки и одиночества, чем и навлек на себя недовольство. Вчера его изъявил желание взять почтальон, но прислуга отложила дело до сегодняшнего дня. И. А. с ним нежен, он его трогает, несмотря на напускной суровый и даже палаческий вид. « Вот бы написать о нем рассказ », говорил он.

Илюша пришел, принес мне книги — роман Рамюза и Морана, а за обедом тотчас после первого блюда разгорелся жаркий спор, истоком которого была вчерашняя статья Вейдле. Илюша говорил, что в основе статьи его есть правда, что есть два способа писать и один способ, несомненно, новее, просто потому, что он исходит от людей более молодых и значит живущих другим ощущением мира.

---

[1] Л. Зуров.

— Да вот Иван Алексеевич, недавно я выступал в Париже, я как будто умею удержать аудиторию, помню, когда-то чувствовал, как три тысячи человек в моей власти, что нити, протянувшиеся от них, все собраны в моих руках и я их держу. А тут говорил, говорил и вдруг в конце одна дама говорит мне: « Да, вы очень хороший оратор. Но вы говорите старомодно. Вы — vieux jeu. Я вернулся домой, подумал и понял, что она права. Теперь чувствуют иначе. Вот теперешняя молодежь прошла через войну и она уже совсем другая, чем мы. И вот я считаю, что для того, чтобы идти в ногу с эпохой, надо не подражать ей искусственно, а чувствовать ее так, чтобы она преломилась в вашей, пусть и « старинной » душе и дала свою проекцию на экран искусства. Пусть даже это преломление будет отрицательным — надо, чтобы оно все-таки было.

Спорили об этом долго. И. А. не понимал, доказывал, что самое главное — талант, что важно, лишь бы человек говорил свое. Я видела, что тут ничего нельзя поделать. Илюша правильно сказал: « Вот я смотрю, что делает автомобиль с Амалией Осиповной. Ведь чудеса. Как вы теперь подойдете к женщине, которая правит автомобилем ? Что вы с ней сделаете ? Она совсем иное существо . . . »

Сухаря забрал сегодня почтальон, накинул ему на шею ошейник из своего кожаного пояса — какая тоненькая, жалкая оказалась у него шея ! — и пытался увести. Но Сухарь стал биться и метаться и укоризненно глядеть на нас черными испуганными глазенками . . .

— Скажите, чтобы он взял его на руки ! — крикнул из своего окна Л. — он не сошел прощаться с ним.

Почтальон взял его, огладил, поплевал ему на нос — видимо, чтобы знал хозяина — и захватил его подмышку. И бедный Сухарь робко забил хвостом . . . И. А. говорил потом, что ему так жалко, что хоть плачь.

Перед обедом ходили в город, смотрели комнаты для Алданова — он предполагал приехать во вторник — потом стояли перед собором, ждали выхода процессии. Опять внизу узкие улички завешаны белыми по-

лотницами с приколотыми к ним цветами, кое-где устроены престолы, украшенные букетами и статуями. Девочки в белых причастных вуалях и длинных белых платьях, мальчики в синих костюмах с белыми бантами на левой руке — все в волнении, с оживленными лицами, совсем маленькие в веночках, с корзиночками, полными розовых лепестков.

И. А. один был в соборе (мы не могли войти из-за коротких рукавов) и вышел бледный, усталый, размягченный.

25 июня

Алданов приехал вчера днем. Около семи часов он с В. Н., ходившей его встречать, появился в нашем саду. Под мышкой у него была большая коробка конфет для Амалии (это был день ее рожденья и все мы шли затем к ним на обед). Вышел И. А. — через минуту они сидели в столовой. Алданову, конечно, дали кресло. Он показался мне утомленным, лицо больше расплылось и виски чуть поседели. С первых же слов заговорил об этом своем утомлении, и о седых висках, и о своей наследственности. И. А. его успокаивал, подшучивал над ним. Он-же был как то устало-мил, хвалил наши платья, был ровно-грустен.

Пошли к Фондаминским. Илья Ис. встретил нас подле Парк-Отеля. Нас уже давно ждали. Амалия вышла в сад в черном тюлевом платье, любезная, улыбающаяся. Мы все поздоровались, поздравили ее. В столовой тотчас сели за стол: хозяева по концам, друг против друга, с одной стороны И. А. и я, с другой Алданов, В. Н. и З. между ними.

Знаменитый обед, который готовили три кухарки, включая нашу Камий, начался довольно принужденно. Алданов был устало-грустен. И. А. его поддразнивал так, что тот даже в конце-концов кротко пожаловался на это. Потом постепенно разошлись. Разговор шел о продолжении « Ключа », романа, который Алданов сначала хотел назвать « Рабы на конях », а назвал « Бегство », — потом об « исторической сцене примире-

ния Мережковских с Вишняком », потом о Некрасове и многом другом.

Меню: бульон с волованами, форели, куры с разными салатами, земляника и клубника со сливками, персики, абрикосы, сыр и кофе, после чего перешли в соседнюю комнату, где И. А. тотчас лег на диван. Говорили о писательском быте, жаловались на ссоры и раздоры между всеми. « А у нотариусов не то-же ли самое » ? — говорил свое любимое И. А. « Нет, не то, Иван Алексеевич », — отвечал Алданов. « Ни у нотариусов, ни у почтовых чиновников, ни у офицеров, ни у обывателей ». Это — привилегия писателей ».

Потом говорили о доброте и недоброте. Алданов сказал, что не встречал людей, таких как Илья Исидорович, по доброжелательному отношению к людям. « И. А. добрее, как ни странно », — сказала В. Н. Алданов покачал головой: « И. А. замечательный человек, удивительный писатель, но нельзя сказать, что « доброта его душит », как говорят французы. « Жизнь Арсеньева » его самое доброе произведение. А посмотрите все другие ? Да и « Арсеньев » добр только относительно ».

Хозяева провожали нас домой. Амалия всю дорогу рассказывала о Степунах, особенно о Натальи Николаевне, о ее изумительной женственности и хозяйственности.

Дома точас легли. Все-таки на утро у меня был грустный осадок и от этого вечера. З. вчера говорил мне, что у него бывает ужасная тоска, что он не знает как с ней справиться, и проистекает она от того, что он узнал, видел в Париже, из мыслей об эмиграци, о писателях, к которым он так стремился. И я его понимаю. Правда еще то, что вокруг все люди вдвое старше. И. А. когда хочет обидеть меня, ядовито спрашивает: « Старше ? Значит вам это общество не по плечу ? . . . » и я не могу объяснить ему в чем дело. А дело в том, что нельзя всю жизнь чувствовать себя младшим, нельзя быть среди людей, у которых другой опыт, другие потребности в силу возраста. Иначе это создает психологию прежде-

временного утомления, и вместе с тем лишает характера, самостоятельности, всего того, что делает писателя.

У И. А. вчера было большое кровотечение. Когда он пришел сказать мне об этом у него дрожали руки и он был бледен. Он говорит, что за все время после операции у него не было ничего подобного. Он думает, что это следствие зимы и, действительно, никогда еще у него не было такого мрачного раздражения, как в эту зиму.

26 июня

Вчера вечером опять разговор с Илюшей. Он сказал: « Вы могли бы все бросить. Но я знаю, что вы выбираете более трудный путь. В страданиях душа вырастает. Вы немного поздно развились. Но у вас есть ум, талант, все, чтобы быть настоящим человеком и настоящей женщиной ».

27 июня

Вчера ездили с Алдановым к Ниццской обсерватории, которая нужна ему для романа. Выехали часа в четыре. Амалия Осиповна правила, с ней рядом сидел ее учитель француз, так что мы на заднем сиденьи были предоставлены самим себе. Правда, сидеть втроем с Алдановым было немного тесно; мы вдвоем с И. А. занимали места столько, сколько он один, так что временами И. А. садился на пол против нас по-турецки, особенно когда закуривал, чем вызывал возгласы удивления у Марка Александровича, которому такая легкость передвижения казалась подвигом.

У обсерватории я была первый раз и на меня произвела известное впечатление мысль о том, что на этой уединенной огороженной горе живут люди, собравшиеся для того, чтобы следить за жизнью неба. Алданов хитро придумал поместить сюда своего Брауна после « Бегства ».

— Верующие идут в монастырь, а неверующие сюда, — говорил он.

Уже объезжая гору, на которой видны три купола обсерватории, он стал расспрашивать, как называется то или другое дерево, какой лес на соседней горе, потом стал делать предположения, как доставляют сюда провизию, есть ли какие-нибудь развлечения. На воротах обсерватории висела доска с надписью: « Вход строжайше запрещен ». Консьержка встретила довольно нелюбезно, сказала, что надо написать директору, просить разрешения посетить — без этого осматривать нельзя. Пришлось удалиться ни с чем. Алданов оглядывал гору, стараясь пока запомнить хоть бы внешнее: фигуры на воротах, скверный ресторанчик « Белая сирень », куда он даже хотел было заехать, чтобы посмотреть, мог ли бы жить там Браун. Вообще же он был настроен довольно грустно-мистически, говорил, что « как подумаешь, что в одном Млечном пути какое-то количество тысяч звезд таких, как наша земля . . . »

В Ницце мы отправились в кафе, под казино, и в то время, пока Амалия ездила к брату, закусили холодным мясом с вином. Алданов был в этот раз как-то покорно-кроток, мил, открыто-грустен, как часто последнее время. Выпив вина, как всегда, немного повеселел и стал разговорчивым. Говорил и И. А. и мне, что очень любит нас и вообще стал похож на того Алданова, который завтракал с нами в Ницце два года назад.

Всю дорогу туда и обратно он расспрашивал. Это его манера. Разговаривая, он неустанно спрашивает, и чувствуешь, что все это складывается куда-то в огромный склад его памяти, откуда будет вынуто в нужный момент. Расспрашивал он решительно обо всем: как мы здесь живем, охотятся ли здесь, ездят ли верхом, почему не охотится И. А., почему не ездит верхом, почему не ловит рыбу (все эти вопросы показывали полную неосведомленность его о нашей и общей жизни здесь), потом, как И. А. жил когда-то, тридцать лет назад здесь с Наживиным в Ницце, кто были его знакомые, как проводили время писатели в Москве в то время, жил ли И. А. всегда в гостинице, не скучно ли ему

было жить в деревне, как кутили Андреев, Горький. « Всего этого не только вы, но и я уже не застал », — сказал он, обращаясь ко мне. — « Настоящая жизнь была, конечно, только до войны ». — Потом он сказал, что чувствует, что И. А. теперь не скоро приедет в Париж и что ему это грустно.

— Я вам завидую, И. А. Вы мудрый человек. А я вот боюсь одиночества и мог бы жить только в таком месте, где можно было бы встречаться с двумя, тремя такими милыми друзьями, как Фондаминские, вы. Но такое место только одно — Грасс. А это слишком далеко. Дорого ездить часто. Я бы на юге, правда, предпочел Канны, но там никого нет. Мережковские же мне несимпатичны. Я их не люблю и боюсь. Она всегда говорит неприятности. А в Париже прямо нестерпимо. Отрывают то и дело. Надо идти то на адвокатский обед, то на лекцию, чтобы не обидеть . . .

— Вы, Марк Александрович, больны, и в тяжелой форме, деликатностью. Кто вам велит ходить на все эти адвокатские обеды ?

— Ах, Иван Алексеевич, а откажешь, придут, надо объясняться, обижаются . . .

Прощаясь, я ему сказала:

— Завидую вам, Марк Александрович. Вот вы сейчас придете к себе, выпьете чаю, сядете писать . . . Все у вас уже налажено, роман выдуман, только остается писать . . .

Он серьезно ответил:

— Хотите дам вам совет ? Купите записную книжку и заносите туда все замечания, разговоры, планы. И из этого сам собой появится план романа . . .

30 июня

Вчера провела день у Кугушевых. Вышел встречать меня князь. Были гости: две пары. Дамы — одна подруга Аси Кугушевой, внучка профессора Райна, Ляля, другая какая-то ее приятельница, попавшая туда случайно. За завтраком Асина мать посадила меня

рядом с собой и была подчеркнуто внимательна и нежна. Она очень хочет, чтобы я подружилась с Асей.

Перед чаем ходили гулять, собирали колокольчики на лугу. В бассейне выловили впавшего в обморочное состояние лягушенка, очень хорошенького с золотистыми глазками и точно из белой лайки животиком и лапками. За столом мать Аси расспрашивала меня почему И. А. « не напишет ничего значительного », « Ведь « Жизнь Арсеньева » его первая большая книга ? », о том выведена ли его первая жена в « Лике » и т.д. Спросила также со мной ли было то, что описано в « Золотом Роге ».

Обо мне она сказала: « Все-таки жаль молодой искалеченной жизни. Ведь все-таки не к кому в минуту горя голову преклонить ». И все добивалась добр ли И. А. дома.

Ася поехала провожать меня. Князь правил, мы сидели позади.

Какая все-таки пропасть нас разделяет, несмотря на внешнюю симпатию ! Я вообще иногда чувствую себя глупо. Во мне ищут « писательницу », какую-то сердцеведку и при этом нисколько не подозревая, что это значит на самом деле.

Дома меня ждали. Обедал Алданов. Он был в Жюан-ле-Пэн, где, кажется облюбовал себе местечко в пансионе Винтерфельда. Он был в каннском казино и даже работал там, сидя в глубоком кресле, под музыку, что, по его словам, он очень любит. После обеда И. А. читал вслух выписки из дневника Блока (отрицательные), и они спорили с Алдановым, можно-ли быть талантливым поэтом, не обладая большим умом. Сначала Алданов спорил и говорил, что есть музыканты, ученые, у которых все пошло в одну сторону — в остальном же они дураки, но потом согласился с И.А., доказывавшим, что « химия слов » получается из душевного состояния, которое адекватно человеку.

З. кончил сегодня первую часть повести. Диктовал мне последнюю главу. Все у него живое и видит он хорошо. И. А. сегодня говорил о его главе, которую

отослали в « Посл. Новости » (Прощание), что это вероятно, лучшее, что ему удалось написать. Я за него рада.

5 июля

Вчера ездили с И. А. купаться. В автобусе встретились с Марком Александровичем, отправлявшемся в Жюан-ле-Пэн, уговариваться с Винтерфельдом. Жена его приезжает на днях и им нужны комнаты. М. А. уже слегка раскис от жары, особенно если принять во внимание, что ходит он в темном суконном пиджаке и фетровой шляпе.

Сели в автобусе все на одну скамейку и всю дорогу разговаривали. И. А. в хорошем настроении. В Каннах разделились, условившись встретиться потом в кафе под платанами. За время отсутствия Алданова мы с И.А. успели зайти в английский магазин, переменить оказавшиеся негодными белые брюки на красную шерстяную рубашку, которые теперь модны, потом выкупались и напились у Рора чаю. Под платанами же тотчас увидели Мережковского, быстро, бочком, пробиравшегося с видом похудевшего таракана — усы у него торчали. Увидев нас подошел, стал здороваться, воскликнул, хлопая И. А. по спине:

— Отлично в красном ! В профиль совсем римский прокуратор ! Вас бы на медаль выбить, на монету...

Вскоре подошел Алданов, а затем и Зинаида Николаевна в таком-же огненного цвета платье, как рубашка И. А. и какой-то целлулоидового вида панаме с пестрой лентой. Начались восклицания, разговоры. Но просидели мы вместе недолго, надо было спешить на автобус — Марк Александрович у нас обедал.

Винтерфельд дал ему две комнаты с пансионом по 45 фр. Алданов недавно выкупался и говорил, что юг его почти вылечил от хандры и что И. А. во всем прав — « человек создан для юга ». Для него здесь большое удовольствие прогулки в автобусах, чего разделить, однако, с ним не могу. Впрочем мы этим всем объелись, да и разные бывают автобусы, на некоторых рыдванах

закачивает довольно противно, в то время как на море мне все нипочем.

Вчера говорила с Кат. Михайловной о писании. Она говорит, что нельзя садиться за стол, если нет такого чувства, точно влюблена в то, что хочешь писать. Надо этого ждать, искать случаев такого « влюбления », но без этого не писать.

Я не сказала ей, что у меня теперь никогда почти не бывает таких минут в жизни, когда мне так нравится то или другое, что я хочу писать. Я не успеваю быть одна, не гуляю одна, да и вообще мы живем « кланом писателей », что по моему не всегда полезно.

7 июля

Сегодня вечером Алданов последний раз обедает у нас перед отъездом в Жюан-ле-Пэн, а И. Ис. будет читать нам законченную только что статью об Империи.

8 июля

После обеда в кабинет И. А. внесены были полотняные кресла, все уселись, И. А. лег на постель, и чтение началось. Читал И. И. около часу. Основную идею его можно в нескольких словах пересказать так: Империя в России зиждилась на религиозном основании. Царь был Бог на земле и все подданные его рабами. Но состояние рабства самая ужасная вещь на земле. Поэтому едва родилось сознание себя человеком, личностью, состояние рабства — невыносимо. « Орден » и принялся за работу пробуждения этого сознания в толпе бессловесных, почти восточных рабов, но недостаточно успел в этом; на свободу с революцией вырвались рабы и получился « бунт рабов ».

Когда начались обсуждения И. А. сказал, что написано очень хорошо, что все, что касается первой части т.е. религиозного отношения к монарху очень правильно. Разрушаться это отношение началось ко времени I-ой революции, и он сам слышал после японской войны как мужик обозвал царя по-матерному.

Почти все время молчавший Алданов, на вопрос, что он скажет, ответил, что у него очень много возражений.

— Я вперед знаю, что скажет Марк Александрович, — сказал Илюша, — он находит, что монархия у меня очень стилизована, что происходило все это много проще . . .

— Не совсем, но грубо говоря, так. Монархия, действительно, у вас « стилизована », и вы сами знаете, что происходило все это много проще. Прежде всегдо я не согласен с вами в том, что народ так уж любил некоторых монархов и что они были верующими . . . например Екатерина. А что делал Петр I ? Не будем говорить здесь об этом, но ведь вы знаете, что он делал . . .

— Но ведь провалы свойственны русскому народу, — вмешался И. А. — Он молится, а потом может так запалить в своего бога . . . как это свойственно всем дикарям, когда бог не исполняет их желаний. Но это не мешает ему потом опять поставить его перед собой, намазать ему губы салом, кланяться . . .

— Да я же и говорю, — Петр был первым комсомольцем, — спокойно сказал Алданов. — А больше всего я против того, что Илья Исидорович хочет вывести из этого. Он напирает на то, что вот, мол, есть Запад и есть Азия, т.е. Россия. На Западе все было по иному, по светлому, а у нас было рабство, дикость. Поэтому народу собственно и потребно такое правительство, какое сейчас он имеет, т.е. большевистское. Он собственно говорит то, что говорят о нас иностранцы, что сказал Эррио, например: « Для такого рабского народа — так и надо ». А между тем на Западе было то же самое. Разве какой-нибудь Людовик не считал себя Богом ? « Раб твой », подписываемое на челобитных, является простой формой вежливости. Я не согласен с тем сусанинским пафосом, который вы придаете всему этому . . .

— Марк Александрович, я ведь беру главное ! Между Западом и нами все-таки было различие . . . Различие в оттенках . . .

— Нет, нет, самое ужасное, что вы роете этот ров

между Западом и нами — « Азией ». Все шло таким быстрым темпом последние несколько десятилетий, что удержись мы после войны — мы бы догнали Европу. Мы не Азия, а только запоздавшая Европа...

— Правда, правда, М.А. — закричал И.А. — И революцию можно было предотвратить...

— А по поводу любви народа к монархам, вспомните, еще, что Л. Н. Толстой писал в письме к Николаю П: « Вы думаете, что народ Вас любит, Вы увидите, что никто не пошевельнет пальцем для Вашего спасения ». И это оправдалось.

Потом прощаясь, когда все вышли в сад, я спросила Илюшу, не смущают ли его возражения и считает ли он их правильными.

— Я проверил себя Г. Н., — ответил он. — Я работаю над этим уже 10 лет и могу сказать, что умру, веря в то, что пишу. Я знаю, как мне будут возражать. Но это нисколько не колеблет моего убеждения. Я хочу, кроме того, показать, что монархия в России была трагедией...

9 июля

Довольно томительно. Вчера целый день читала, а больше бродила по дому и по саду, а после завтрака печатала Л. его « Пугачева ». Начато крепко. Вечером была луна, мы ходили гулять наверх и все время почему-то спорили то об одном, то о другом. Л. говорил мне, сидя со мной в саду перед прогулкой, что ему здесь постоянно после работы бывает грустно, не хватает молодости, не с кем пошуметь, повеселиться. « Вы уже стали даже медленно ходить, все себя во всем сдерживаете », — с горечью сказал он.

10 июля

Вчера простились с Фондаминскими. Амалия выдержала наконец свой автомобильный экзамен и по этому поводу была в веселом настроении за обедом, к которому принесла И. А. бутылку бургундского. На ми-

нуту было предположение взять им с собой до Гренобля И. А., но потом оказалось, что едут и две англичанки, не считая сундуков. Да И. А. и не собирался серьезно. « Одному мне было бы скучно возвращаться », — говорил он. Теперь они уехали сегодня утром в Париж на автомобиле.

24 июля

Были вчера в Жюан-ле-Пэн, Самое приятное — купанье в очень веселом, светлом, полном веселых смеющихся людей море. Алданов прыгал в воду, ездил на морском велосипеде, скатился два раза с горы (с плота). И. А. нашел воду холодной и купался очень недолго... Потом он пошел завтракать с Алдановым, а мы завтракали втроем на берегу в лодке купленной заранее едой. Все были в каком-то особенном возбужденьи. Снимались, потом ели мороженное в « Каравелле ». И. А. был к счастью трогательно добр весь день, так что не было ни одной неприятности. Вечером нашли дома новую книжку « Современных записок », которую стали просматривать и читать вслух в кабинете И. А. как в лучшие времена.

31 июля

Прочла « Державина » Ходасевича. Умно, интересно, с большим тактом и пониманием жизни. Не могу, конечно, судить о правильности освещения эпохи. Но так написано, что заманивает писать, а у меня за последне время такое желание редкость .

Живем последнее время плохо. Все какие-то перебои в доме. Алданов еще здесь, но видимся мы редко и без одушевления, как это бывало, когда он жил в Грассе.

Как то на днях, под вечер неожиданно приехал с визитом Сорин. Сказал, что звонил несколько раз по телефону, но все не заставал. А у нас уже знали, что звонил он, т.к. Камий передала фамилию, но И. А. не хотел отзываться: был уверен, что он хочет писать с

меня портрет, а это по его мнению ни к чему. Как бы то ни было он приехал. И. А. принял его очень сухо, за ним были принуждены сделать то же самое мы. Он высидел пятнадцать минут и уехал, не сказал ни слова о портрете, получив отказ на предложение съездить куда-нибудь на его автомобиле и не получив даже обычного приглашения заезжать. После его отъезда поднялись неприятные разговоры. Все мы дружно говорили И. А. что так обращаться с людьми нельзя. И. А. с улыбкой отвечал, что он его « принял самым обыкновенным образом и даже был любезен », а потом тут-же говорил: « не желаю его видеть . . . »

Однако общие доводы все-таки подействовали. Через день И. А. позвонил ему (он остановился в Мужене) и неожиданно для нас пригласил его завтракать в субботу.

1 августа

Немного лучше. Веселей, добрей (хотя и с провалами) И. А., а от этого свободней в доме. Вчера даже захотелось писать, когда ходили с ним в город. Летний сухой свет лежал на домах и деревьях, и мы говорили о первых воспоминаниях детства. У него они связаны с видом сухого жнивья в окне и от этого ему так на всю жизнь мила сухость и жар лета. У меня это несколько вспышек сознания в Трояновом Вале и тоже сухость бессарабских степей, возы с арбузами и дынями, сухой золотой дым заката, стадо за белыми столбами ворот, а за стеной обширного дедовского двора — какая-то неведомая, исчезающая во тьме памяти степь, в которой живут таинственные « молдаване » . . .

3 августа

Возвращаясь вечером с купанья, заметили внизу нашей горы чей-то великолепный темно-синий автомобиль. И. А. пошутил, что это должно быть какой-нибудь американский издатель, приехавший к нему, а когда мы вошли в калитку дачи, навстречу нам с кресла под

пальмой поднялась высокая мужская фигура, а за ней что-то голубое. И. А. ждал Рахманинова с дочерью (Таней), приехавших на несколько дней в Канны.

Сели, заговорили. У Тани оказался с собой американский аппарат, маленький синема, который она наводила поочередно на всех нас. Одеты оба были с той дорогой очевидностью богатства, которая доступна очень немногим. Рахманинов еще раз поразил меня сходством в лице (особенно где-то вокруг глаз) с Керенским. Галстук, костюм, шляпа, кожа рук — все у него было чистейшее, особенно вымытое, выдающееся.

Разговор вертелся вокруг Шаляпина и его сына, живущего сейчас тоже на Ривьере и предполагаемой постановки в кино Бориса Годунова, сценарий к которому « развивает » с Пушкинского « Бориса » Мережковский. Через двадцать минут они поднялись, говоря, что им пора ехать домой обедать. Мы сначала неуверенно, а потом видя, что они готовы согласиться, с большей силой стали предлагать остаться на обед. После недолгих уговоров они остались.

Тотчас же были «мобилизованы » все съестные припасы в доме. Камий послали вниз за ветчиной и яйцами, я побежала за десертом и через полчаса мы все уже сидели за столом. Р. попросил завесить лампу, жалуясь на то, что его глаза не выносят сильного света, и с его стороны был спущен с абажура кусок шелка.

Разговор был разбитый и малозначительный. Р., между прочим, все настаивал на том, что И. А. должен непременно написать книгу о Чехове, перед которым он сам, видимо, преклонялся. Был любезен, прост, интересовался тем, что пишет Зуров, что я, как и кто работает и вообще как мы живем. Остановились они в Каннах, в Гранд Отеле. У него какие-то дела с Борисом Григорьевым, очевидно тот будет писать его портрет. Видно, что он очень любит дочь, это было особенно заметно по его рассказу о ее падении с лошади в Рамбуйе, где у них вилла.

Они уехали часов в десять, предположительно решив встретиться с нами на другой день в Каннах.

Во время обеда я часто смотрела на него и на И. А. и сравнивала их обоих — известно ведь, что они очень похожи — сравнивая также и их судьбу. Да, похожи, но И. А. весь суше, изящнее, легче, меньше, и кожа у него тоньше и черты лица правильнее.

5 августа

Вчера обедали на песке под лодкой с Алдановым и Рахманиновыми. Был настоящий песчаный смерч, так что нам ничего не оставалось, как забраться в это сравнительно тихое место и расположиться там. « Босяцкий обед », по выражению И. А., вышел оригинальным. Котлеты, помидоры, сыр и фрукты были с песком, и на всех было только четыре стакана. Рахманиновы подъехали тогда, когда все было разложено; у них были с собой бутерброды с ветчиной и бутылка Виши. И. А. представил Алданова и Рахманинова друг другу. У Алданова был особенно небрежный костюм: брюки и рубашка сидели кое-как, волосы висели. У него только что уехала в Париж жена, и он был немного грустен.

Рахманинов был с ним исключительно любезен, даже пригласил к концу вечера его к себе в Рамбуйе гостить, уверяя, что ему там будет очень удобно тихо писать, так как он сам очень много работает.

На другой день все мы были приглашены к Алданову в Juan les Pins завтракать. (На прощанье он успел шепнуть мне: « привезите непременно фотографический аппарат, не забудете ? »)

Без числа

Сначала мы выкупались на маленьком пляже — вода была прозрачна, чиста, прелестна — потом пошли по направлению к вилле Алданова. Рахманиновы нас догнали на автомобиле. В. Н. и И. А. сели к ним, а Таня вышла к нам, и мы пошли, не торопясь, пешком.

У Алданова в салоне ждал нас накрытый круглый стол уже заставленный закусками. Сели: с одной стороны И. А., Алданов и Рахманинов, с другой — я, Л.,

Таня и В. Н., завершая круг, рядом с Рахманиновым. В полуоткрытые двери приятно дул ветерок. Из уважения к « знаменитостям » нас отделили от прочих пансионеров, обедавших в соседней комнате. Рахманинов был очень мил, любезен, весел, поминутно обращался к нам, передавая то одно, то другое, сам заговаривал, помогал В. Н. раскладывать с общего блюда рыбу, курицу.

После жаркого нам подали десерт и кофе, закрыли двери и оставили нас одних. Рахманинов, мало пивший и евший очень умеренно, позволивший себе только лишнюю чашку кофе, стал рассказывать о своем визите к Толстому. Говорил он еле слышным голосом, почти шопотом, с придыханиями, произнося « р » вместо « л ».

— Это неприятное воспоминание... Было это в 1900 году. Толстому сказали, что вот, мол, есть такой молодой человек, бросил работать, три года пьет, отчаялся в себе, а талантлив, надо поддержать... Играл я Бетховена, есть такая вещица с лейтмотивом, в котором выражается грусть молодых влюбленных, которых разлучают. Кончил, все вокруг в восторге, но хлопать боятся, смотрят, как Толстой ? А он сидит в сторонке, руки сложил сурово и молчит. И все притихли, видят — ему не нравится... Ну, я понятно, от него стал бегать. Но в конце вечера вижу: старик идет прямо на меня. «Вы, говорит, простите, что я вам должен сказать: нехорошо то, что вы играли ». Я ему: « Да ведь это не мое, а Бетховен », а он: « Ну и что же, что Бетховен ? Все равно нехорошо. Вы на меня не обиделись ? ». Тут я ему ответил дерзостью: « Как же я могу обижаться, если Бетховен может оказаться плохим ?... »

Ну и сбежал. Меня туда потом приглашали, и Софья Андреевна потом звала, а я не пошел. До тех пор мечтал о Толстом, как о счастье, а тут все как рукой сняло ! И не тем он меня поразил, что Бетховен ему не понравился или что я играл плохо, а тем, что он, такой как он был, мог обойтись с молодым начинающим, впавшим в отчаяние, которого привели к нему для утешения, так жестоко ! И не пошел. Утешил меня потом только Чехов, сказавший по-врачебному:

— Да у него, может быть, желудок в тот день не подействовал — вот и все. А пришли бы в другой раз — было бы иначе.

Теперь бы побежал к нему, да некуда...

— Вот, Сергей Васильевич, этим последним вы себе приговор изрекли! — сказал И. А. — С начинающими, молодыми, жестокость необходима. Выживет — значит годен, если нет — туда и дорога.

— Нет, И. А., я с вами совершенно несогласен, — сказал Рахманинов. — Если ко мне придет молодой человек и будет спрашивать моего совета, да еще не в моем, а в чужом искусстве, и я буду видеть, что мое мнение для него важно — я лучше солгу, но не позволю себе быть бесчеловечным.

Поднялся спор. И. А. защищал Толстого, говорил, что он думает о нем « давно, лет сорок пять » и что нельзя судить его по нашим обычным меркам, что музыку он понимал, если, умирая, мог сказать: « Единственное, чего жаль — так это музыки! » Рахманинов напротив утверждал, что музыку он понимал плохо, что в Крейцеровой сонате, например, нет того, что он в ней находит, а что сам он Крейцерову сонату не любит и никогда не играет.

В конце разговора он спросил меня: « а вы работаете? » Я сказала, что сейчас нет, что у нас « каникулы », что у меня сравнительно недавно вышла книга. « Как недавно? Это уже когда было! » воскликнул он. « Я ведь знаю, когда ваша книжка вышла. Надо работать каждый день! »

Между прочим он рассказал, что за столом у Толстого он ему сказал: « Я в себе сомневаюсь, боюсь, что у меня таланта мало... » На это Толстой ответил: « Об этом никогда не надо думать. Это ничего. Вы думаете, у меня никогда не бывает сомнений? Наша работа вовсе не удовольствие... Просто работайте... »

Снимались в этот день бесчисленное количество раз. Рахманинов, между прочим, очень убеждал меня в том, что надо дать писать с себя портрет, если Сорин

возобновит этот разговор. Его очень поддерживал Алданов.

Простились очень дружелюбно, хотя уже и в большой толпе, собравшейся в саду. Таня звала к себе в Париж. Рахманинов задержав мою руку, сказал, прощаясь: « Ну, работайте же, работайте ... Смотрите ... »

6 августа

Вчера обедали в Мужене у Сорина. Приехали заранее с Алдановым из Канн. Всю дорогу с ним разговаривали (мы с ним сидели отдельно) он был очень мил, как-то особенно родственен на этот раз.

Хвалил напечатанный в « Новостях » отрывок из « Золотого Рога ». « Как хорошо описаны Принцевы острова ! — говорил он. — Ну, конечно, что говорить об Иване Алексеевиче, но вот я бы не мог ! Я улицу не могу описать. Вот вы говорите, что у вас нет сюжета для романа. Да у вас тут сюжет manqué ! »

Сорина мы застали еще в рабочем костюме. Пошли вместе осматривать городок. Едва мы остались на минуту один, он сказал мне:

— Ну, как же будет с вашим портретом ?

Я сказала, что не знаю. Подошел Алданов и, вмешавшись, спросил за чем дело стало ? Сорин с самолюбивой улыбкой ответил:

— Да ведь я тоже капризный ! Вот с Парижа жду ответа и все не получаю его.

— Я буду посредником между вами, — сказал Алданов. — Галина Николаевна, соглашайтесь скорей !

Обед подали в саду. Стол был покрыт провансальской скатертью, вино, хотя и простое, было превосходное. Приятель Сорина, А. Панчулидзе, потомок Вигеля, толстяк с висящими вниз щеками, заговорил с Алдановым, который, узнав, что он окончил пажеский корпус, тотчас стал расспрашивать для романа, какой был германский флаг на посольстве, какой был такой-то зал во дворце, какая обивка Михайловского театра. В конце концов он стал спрашивать нас: « что видишь

прежде всего, когда входишь зимой в 7 часов вечера в сад ? »; каков должен быть снег, ноздреватый или крепкий, какие стволы деревьев, какие цвета. Расспросив, всё записал. Нужно большое писательское мужество даже смирение, чтобы открыто признаваться в своем незнании чего-нибудь и так прямо расспрашивать, и оно есть только у него одного. Между прочим, он спросил Сорина, чем определяется для него решение писать портрет, с первого раза или постепенно. Сорин сказал, что с первого раза.

Последний обед Алданова у нас позавчера носил какой-то элегический характер. Алданов был растроган, говорил, что расставаться со всеми нами ему очень грустно, что у него почти нет таких друзей как мы. За обедом (обедали в саду под пальмой) то и дело забывал есть, растроганно повествуя о своем знакомстве с Ал. Толстым и « очаровательным видением » его женой, Н. Крандиевской. Когда В. Н. отвлекалась разговорами с прислугой, он старался привлечь ее вниманье жалобным: « Вот я рассказываю, а В. Н. не слушает ! » Опять хвалил мой отрывок из « Золотого Рога » и советовал писать роман. После обеда пошли провожать его к автобусу. Вечер был почти осенний, с мягко выстланным лиловыми тучами небом и внезапными порывами ветра. Он очень нежно простился с И. А. и всеми нами.

12 августа

Была на первом сеансе. Сначала Сорин долго усаживал меня, смотрел. Долго не мог выбрать позы. Наконец посадил с книгой, раскрытой на коленях. Сделал первый карандашный набросок. Рисовал, стоя посреди комнаты, в очках. Разговаривал, но видимо полумашинально. Потом примерял голубую шелковую повязку. Сначала восхищался, потом попросил сбросить ее и сказал:

— Нет, мне нужен от вас документ. Это уже маскарад. А я хочу написать *вас*. Давайте же писать честную голову, без всего этого . . .

13 августа

Вчера в комнате уже было два подрамника с полотном и мольберт. С. сделал большой карандашный набросок. Был совсем нелюбезен, даже суров, занят был одной мыслью, чтобы я не двигалась, и злился, когда время стало подходить к 6 часам, ничуть не скрывая этого. Чтобы « оживить » меня — разговаривал, вернее раскасывал, но все это опять-таки поглощенный работой. Много раскасывал о себе, и вот один рассказ, которым он хотел показать степень своей гордости.

« Лет семь тому назад я был в Лондоне, и вот однажды, телефон. Звонят из Галлереи, говорят, что герцогиня Йоркская хочет меня видеть. Я говорю, я небритый . . . Мне отвечают, все равно приезжайте немедленно. Я еду. Она там, действительно ждет. Начался разговор. Она хочет, чтобы я написал ее портрет. « О цене мы говорить не будем. Это вы сговоритесь с кем полагается ». Вижу, что галлерейщик мне делает лицом отчаянные знаки: мол, соглашайся, хорошо заплатят. Ну, начал я писать. Она была прелестная, такая веселая, молоденькая, прямо из старинного английского романа. Написал ее я в 15 сеансов. Писал по утрам, потом уезжал завтракать и ехал в поместье к лорду Б. где писал лэди Б. Однажды жду ее (Йоркскую) жду, жду — нету. Наконец, за пол-часа перед окончанием сеанса пришла такая красная и говорит: « Вот я опоздала ! Знаете, хотите оставайтесь со мной завтракать, а потом я велю позвонить лэди Б. что вы будете писать вместо нее сегодня меня ? » Я конечно согласился. Она ушла, я жду, входит мэтр д'отель и говорит: « Пожалуйте в соседнюю комнату, вам там подано ». Я ничего не сказал, но поразился ужасно, вышел в парк, иду, иду, не знаю что делать ? Как же так, она меня пригласила завтракать с собой, а тут вдруг — в комнату . . . Очень я боролся с собой, но в конце концов не смог. Парк огромный, идти далеко, да и нет тут ресторанов поблизости, ну, к счастью проезжал мимо такси, я его взял и поехал, — итальянский там был ресторан, я там позавтракал и вернулся во дворец. Ну, она пришла, ни

слова. Я тоже. Дома рассказал друзьям — они меня ругают, как, говорят, если-бы тебя государь пригласил и сам за стол не сел с тобой, так ты тоже бы обиделся ? Ну, я не знаю, что отвечать, но все-таки говорю, как же приглашала с собой завтракать, а потом — в комнату рядом... Ну, через несколько дней среди сеанса она говорит: « Хотите мадеры ? » Я говорю: да. Принес метр д'отель бутылку, налил два бокала. Она присела на барабане (она на нем позировала), а я с другой стороны, она подняла бокал и говорит: « Сегодня мне двадцать три года ! » В это время двери открываются и входит офицер, который со мной торговался насчет цены и вообще этикетом заведывал. Вошел, посмотрел и сейчас же обратно. Она вспыхнула и говорит мне: « Как он меня мучит ! Он ко мне приставлен и тогда вот, когда я вас пригласила завтракать, он нашел, что это неприлично и велел накрыть вам отдельно... » А портретом она была так довольна, что потом писала мне, что когда у нее плохое настроение — она входит в комнату, где он стоит, и смотрит на себя, и настроение у нее меняется... »

29 августа

Портрет подвигается, хотя и медленно, но сам С. начинает все больше затруднять меня настойчивыми знаками внимания, приглашениями обедать с ним и жалобами на то, что я спешу домой. Со вчерашняго дня я решила приходить на час позже к нему с тем, чтобы перед сеансом выкупаться, а затем возвращаться вместо половины седьмого в семь. Автомобиль его ждет нас с И. А. с половины третьего внизу у нашей горы. Но зато приходится возвращаться одной, без И. А. Вчера С. пошел провожать меня и стоял, опершись на борт автобуса и смотря на меня с весьма смущающим меня видом до самого его отхода. Все это меня в достаточной степени расстраивает. К несчастью наступившая жара вынуждет к тому, чтобы ездить позже. И портрет подвигается медленно.

31 августа

Все езжу к С. Портрет должен быть скоро закончен. Езжу с И. А. на присылаемом ежедневно автомобиле Сорина. И. А. купается и потом ждет меня. С Сориным мне нелегко. С некоторых пор он стал говорить сначала шутливо, а потом как бы серьезно: « Выходили-бы за меня замуж. Не раскаялись-бы. » Я отмалчиваюсь или перевожу разговор. Вчера он сказал ни с того ни с сего: — Вы ко мне хуже относитесь, чем к последнему у вас в доме ! — что было совсем глупо. Он стал обижаться на разные пустяки, умиляться — вообще вести себя как человек неравнодушный, что чрезвычайно затрудняет меня.

1 сентября

Сорин говорил во время последнего сеанса, что писатели без конца сами о себе пишут в газетах, хотя читателям это гораздо менее интересно, чем они думают, забывая, что « есть одна общая культура, в которой и художники и скульпторы и музыканты . . . »

Я возражала, указывая на статьи в той же газете о живописи, о музыке. Потом он опять говорил, как писатели некультурны, как мало знают вне своего, как ничем больше не интересуются. Я опять возражала, приводила примеры. Но у него видимо зуб против писателей.

В этот день И. А. зашел по его приглашению взглянуть на портрет. Так как он вообще последнее время в грустном настроении, то вошел он как-то прохладно и говорил каким-то обескровленным голосом. Похвалил глаза, чуть заметную улыбку, вообще сходство. Но когда мы ехали с ним обратно сказал, что при сходстве и « красивости » портрета, я у Сорина все же не та и нет свободы в позе.

2 сентября

Сегодня отдыхаю, сеанса нет. К завтраку был Мо-

чульский [1], загорелый до цвета красной глины, очень худой в модной шерстяной рубашке с короткими рукавами. Говорили о лагере « Витязей » под Напулем, где Мочульский бывает, об уровне развития мальчиков, настолько низком, что они не знают жив или умер Достоевский. И. А. был в хорошем настроении духа, он расположен к Мочульскому, любит его свободную манеру разговаривать. Заговорили о современной молодежи вообще. М. рассказал, что он познакомился с двумя молодыми немцами и много говорил с ними, и во многом они были так чужды ему, что он едва понимал их. Они принадлежат к новому типу молодых снобов, главная забота которых быть как можно более современными. У одного из них М. видел галстук, книгу, украденную им в Каннах. Он же украл в магазине совершенно ненужную ему лупу и говорит об этом как о самой естественной вещи, и очень удивляется, когда Мочульский говорит ему, что подобные поступки считает дикими. « Как, а эмоция ? »

По мнению его и подобных ему каждый современный человек должен иметь дорожный граммофон и пишущую машинку. У него есть и то и другое, хотя на машинке ему печатать нечего, а граммофон за все время их совместной жизни (он некоторое время жил у Мочульского) не завел ни разу. Он жестоко против войны и презирает патриотически настроенное немецкое студенчество. « Это отсталость... Это наши отцы могли ненавидеть Францию, но не мы ! »

« Замечательно у них отсутствие всяких чувств — говорил М. — Молодой человек, очень красивый, спортсмен, рассказывал мне о связи с очень красивой женщиной, с которой он только что познакомился. Говорил в ужасных выражениях, что провел с ней ночь, а потом она, встретившись « стала предъявлять какие-то претензии, чего-то требовать, выть... так что мне пришлось уехать ».

---

[1] К. Мочульский.

3 сентября

Вчера на ночь читала дневник В. Н. за 1918-ый год наново, по совету Л., перепечатанный с выпусками лишнего. Интересно. В нем выступает очень И. А. того времени и сама В. Н. с ее детской, во многом трогательной натурой.

Оттуда узнала, что когда-то, на Капри, И. А. после веселого обеда с вином, музыкой, тарантеллой, написал на своей книге Горькому: « Дорогой Ал. Мак. чтобы ни случилось, всегда буду любить вас ». Интересна и та однобокость, с которой смотрели тогда на добровольцев. Если победят — хорошие будут, нет — отношение к ним, пожалуй, изменится.

И. А. стал присаживаться за стол. Сегодня сел с утра.

4 сентября

Разговаривали в саду на дальней скамейке.

Заговорили о Катаеве, рассказ которого « Отец » читали в газете « Сегодня ».

— Нет, все-таки какая то в нем дикая смесь меня и Рощина. Потом такая масса утомительных подробностей ! Прешь через них и ничего не понимаешь ! Многого я так и не понял. Что он например делает с обрывком газеты у следователя ? Конечно это из его жизни.

— А разве он сидел в тюрьме ?

— Думаю, да.

— Он красивый, — сказала В. Н. — Помнишь его в Одессе у нас на даче ?

— Да, помню как он первый раз пришел. Вошел ко мне на балкон, представился: « Я — Валя Катаев. Пишу. Вы мне очень нравитесь, подражаю вам ». И так это смело, с почтительностью, но на границе дерзости. Ну, тетрадка, конечно. Потом, когда он стал большевиком, я ему такие вещи говорил, что он раз сказал: « Я только от вас могу выслушивать подобные вещи ».

5 сентября

Приехал Рощин. В доме суматоха с переходом в другие комнаты, ношение вещей, разговоры. Р. какой-то расстроенный. Говорит, что хочет бросать литературу, поступать в шоферы, иначе надо умирать с голоду. Но, кажется, тут главное желание жениться.

А с Сориным сегодня было так: он попросил меня помочь ему — подержать полотно, пока он устанавливал его на подрамнике. Я сказала, глядя на портрет:

— Снимите его и пришлите мне снимок на память.

Он ответил:

— Почему вы не хотите лучше взять на память меня ? Я себя никому еще не предлагал, а вам предлагаю . . .

К счастью мы были разделены полотном и я не могла видеть его лица, а он моего. Уж очень мне было неловко и неприятно. Теперь предстоит ездить к нему с утра до вечера 4 дня, чтобы кончить.

И. А. был у доктора. Он сказал, что у него подагра.

Сегодня сплю уже в своей зимней угловой. Хоть бы скорей кончилась вся эта суматоха езды туда и сюда. Работать пора, а тут тревога какая-то . . .

7 сентября

Позирую весь день. Завтра конец. От позированья у меня распухла нога. И еще один день !

9 сентября

Вчера, наконец, кончили. На прощание Сорин был сумрачен, но довольно сдержан. Перед самым концом не выдержал и несколько раз сказал, что ему очень тяжело уезжать и что, вообще, состояние у него неприятное. Кончили мы раньше обычного и около шести он отвез меня на вокзал. На прощание стиснул мне руку и сказал со слезами на глазах:

— Прошу вас, не забудьте меня !

И. А. сидел в баре на углу и писал письма. Поехали мы на поезде, и я этому была рада, перемена, и вообще как то приятно было ощущенье конца очень утомительного месяца поездок и главное сиденья в комнате в довольно неудобной позе. И. А. был рад тому, что я кончила. Он тоже устал ездить и ждать меня. Был необыкновенно трогателен в этот месяц со всеми его заботами обо мне.

Дома оказалась одна В.Н. — Л. и Р. ночевали в Гольф Жюан. Обедали мы, как уже давно не обедали, втроем, в затихшем саду. Взошла большая уже совсем полная луна, облила сад белым светом. Я долго смотрела из своего окна на тихий сад. От усталости, от чувства отхождения еще какой-то полосы жизни, была грустна. В голове было столько мыслей: вот хотела, чтобы был портрет, столько говорили об этом, так убеждали меня Алданов и Рахманинов, говоря, что это нужно — « важно для молодой писательницы », потом казалось, что никак этого не осилишь, а вот кончено все и как мало похожим оказалось осуществление на мысли об этом ! Портрет, несмотря на свою внешнюю похожесть и красивость, вышел, как говорит И. А. « олеографичным », а главное, на поверку вышло и не особенно нужным мне. Так, приятно немножко, ничего больше.

10 сентября

Встала раньше всех, села за стол. Пробовала писать. Все утро В. Н. и Р. готовили в кухне, пока мы, остальные, писали у себя. И. А. занят фельетоном, сосредоточен, поглощен, добр, когда приходит в себя.

Вечером сидим в кабинете у И. А.

— Бывает с вами И. А., — говорю я, — чтобы вы ловили себя на том, что невольно повторяете чей-нибудь жест, интонацию, словечко ?

— Нет, никогда. Это, заметьте, бывает с очень многими. Сам Толстой признавался, что с ним бывали такие подражанья. Но вот я, сколько себя помню, никогда никому не подражал. Никогда во мне не было восхищенья ни перед кем, кроме только Толстого.

— И ты воображаешь, что это хорошо? — спросила В. Н.

— В вас есть какая-то неподвижность, — сказала я.

— Нет, это не неподвижность. Напротив, я был так гибок, что за мою жизнь во мне умерло несколько человек. Но в некоторых отношениях я был всегда тверд, как какой-нибудь собачий хвост, бьющий по стулу...

И он показал рукой как, так талантливо, что мы все дружно рассмеялись.

14 сентября

В кабинете после обеда И. А. рассказывал, как был в молодости в Яновщине, в доме Яновского, родственника Гоголя.

— Помню плотину, гусей, даже эту знаменитую лужу. В доме же помню почему-то только одну приживалку, которая утром угощала меня в столовой кофе и все при этом откашливала и никак не могла откашлять до конца мокроту. На плече у нее была вязаная гарусная косынка, на голове наколка, и все лицо какими-то нарумяненными кусками. Была она очень со мной любезна и даже как-то кокетлива, все придвигала какие-то рассыпчатые крендельки, булочки, печенья, и все приговаривала:

— Кушайте, кушайте, молодому человеку надо есть...

Оттуда я пошел на Шишаки и Сорочинцы к знакомому Яковенко. Это был мужчина с длинной бородой, голым черепом и вполне сумасшедший. Помню, он все говорил, что будет интересно познакомиться с докторшей. Потом мы с этой докторшей сидели на обрыве, под которым неслась очень быстрая речка, и слушали пение, в унисон, на селе, необыкновенно прекрасное, и она говорила, что хочет « невозможного »... Ну, я очень скоро смылся, потому что ясно было что это за « невозможное », а с такими, если свяжешся — потом, нет никакой возможности развязаться...

Посмеялись, пошутили на эту тему. Потом З. спро-

сил, был ли И. А. на севере. И. А. сказал, что был в Вологде.

— Когда ?

— Да году в шестнадцатом. У Сашеньки.

— Кто это — Сашенька ?

— А это его подружка по Орлу, — смеясь ответила за него В. Н.

— Какая это подружка ?

— А это, когда я еще был в Орле, пришла в редакцию барышня, такая, с очень нежным цветом лица, мгновенно вспыхивающая, в длинной черной юбке и сапогах с ушками. Принесла рукопись « История кусочка хлеба». Редактор дал мне прочесть. Оказалось так талантливо, что мы ухватились за нее двумя руками. Вызвали ее, она пришла, да и говорит:

— Мне с отцом очень тяжело жить...

А отец у нее был старый профессор с больной ногой, вполне бешеный и на всех замахивающийся палкой и пускавший ею в кого попало. Ну, редактор пригласил ее жить при редакции. Она переехала, и он тут же очень быстро, невзирая на наличие молоденькой, с ямочками на щеках жены, лишил ее невинности...

— Ну, а потом ?

— Ну, а потом мы долго не видались. Она была идейная революционерка. Когда я приехал к ней в Вологду, она жила с каким-то рабочим, большевиком. (Тогда, еще это понятие не имело теперешнего значения). Я пришел к ней в дом, поднялся по какой-то грязной лестнице, где пахло нечистотами. Постучал, она вышла, все в такой же длинной черной юбке, с седыми обрубленными волосами, выкатила на меня глаза, как два облупленные яйца.

— Сашенька ! Что же ты здесь живешь ?

Она сразу узнала меня, стала говорить:

— Да, я теперь живу с рабочим... Он чудная душа, необыкновенная, только, конечно, все-таки мне тяжело...

— Сашенька, да как же тебе не стыдно ! Ты ведь хорошая была барышня !

— Да, да что-ж делать... Знаешь, Иван, только лучше нам куда-нибудь уйти, я здесь на положении не вполне легальном... Хозяйка может подслушать...

Мы вышли. А тогда была весна, ярка и густа зелень. Пешеходы были деревянные и такая грязь, какой я нигде не припомню. По этой грязи нырял извозчик, я кликнул его, мы сели.

— Куда везти ?

Я сказал ему везти за город, он повез, мы поехали к монастырю. А монастырь этот вырос прямо из черной равнины, и была такая прелесть в его стенах, эта белизна, толщина, грубость... Потом этот голый деревенский погост... словом у меня осталось от этого такое прелестное впечатление, что вечером я сказал себе: « Нет, шабаш, надо уезжать ! » и уехал, хотя она и просила остаться.

Рассказывал он это так, точно уже готовый рассказ читал.

16 сентября

У И. А. есть одна особенность: страсть к перьям. Всю свою жизнь он мучится с неподходящими перьями, мучится своим почерком, хотя есть периоды когда пишет великолепными клинообразными письменами. Для того чтобы было легко писать, ему необходимо какое-то особенно легкое, удобное перо, и вот, достаточно ему войти в писчебумажный магазин, как он начинает тянуться к коробочке с золотыми перьями и ватермановскими ручками, пробовать их и почти всякий раз покупает ручку за 70-80 фр. которую, испробовав дома, находит негодной. Накопилось этих перьев и ручек у нас немало, он чрезвычайно ревниво относится к ним, не дает никому до них дотрагиваться, а время от времени обходит все комнаты и берет со столов то одну, то другую чью-нибудь ручку. У него было простое перо, купленное в Грассе, которым он писал 7 лет, написал « Митину любовь », и « Дело корнета Елагина », но теперь он уронил его и перо разбилось.

Вчера Л., зная страсть И. А. продавать вещи хотя

бы за бесценок, предложил ему купить у него одну из его ручек с золотыми перьями за 10 франков. Пошли в кабинет, И. А. достал, разложил свои коробки с перьями и стал на листе бумаги пробовать их, давая затем попробовать мне и Л. Рощин, пристроившийся у другого стола, подле В. Н., тоже стал выпрашивать какую-нибудь ручку. Разговоры были в таком роде:

— И. А., дайте мне какую-нибудь... Ей-Богу...

— Погоди, погоди, я тебя завяжу вот по ушам! Так узнаешь! Зуров, а вот попробуйте как это...

— Как вы их запаиваете И. А., на огонь, на спичку! Прямо странно!

— А где было другое перо, четырехгранное?

— Да это не перо, а какая-то пушка!

— Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет! Отдайте, капитан!

— И. А., отдайте, ей-Богу, рыженькое вот это... Стыдно прямо! Ну, смотрите В. Н., отнял!

— Ну отдай ему, Ян — лениво говорит В. Н., лежащая с книгой на постели, — подари ему. Оно же испорченное.

— Да как это так подарить? Так?

— Да ведь всегда дарят так! И. А., ей-Богу, подарите, ведь это дело профессиональное...

— Иди-иди, не проедайся.

— Эхе-хе-хе, ей Богу!

— Эх, писатели! — говорит В. Н. — Возьмите мое, капитан.

— И. А. это мне от В. Н., а от вас что будет?

И. А. шутя замахивается на него.

В конце концов он дает две ручки Л. и одну Р. без всяких, конечно, денег. Через четверть часа Л. приносит одну назад, — не годится.

23 сентября

« Тридцать лет назад.

Уездный город. Гостиница. Номер первый, как всегда самый лучший. Я, конечно, занимаю его. Пообедал, потребовал бутылку удельного 18-ый номер. Сладко

слегка захмелел, спать рано, куда деваться ? Выхожу. Месяц, мороз такой, что извозчики, уткнув руки в рукава и голову в грудь, спят. Окликаю одного. Сажусь в насквозь промерзшие узенькие санки. Он дико оглядывается, спрашивает: куда ?

Отвечаю: Не знаю куда.

— Ну, так я знаю...

И он мчит меня по спящему глубоким сном городу. Над собором блестит месяц, мы едем мимо спящих усадеб, каких-то занесенных снегом домов, пустошей... выезжаем за город, наконец он останавливается перед каким-то низким домом, извозчик слезает, звонит в колокольчик. Долго не отворяют, наконец слышим чьи-то шаги.

— Кто там ?

— Да уж отворяй ! Мы приехали...

Дверь отворяется, старуха впускает нас, входим в « зало », где фикусы и горит перед образом лампадка. Извозчик лезет за мной.

— Ты куда ?

— Да я здесь, барин... погреюсь, посижу, покуда вы там управитесь...

Я понимаю, куда он привез меня. « Управляться » я, конечно, не собираюсь, но все же хозяйка говорит мне: « пожалуйте наверх, они там... » И я иду. Иду по скрипучей тонкой лестнице, пахнет уборной, кошками... вхожу в комнату, где при прикрученной керосиновой лампочке в нестерпимой вони и духоте спят две девки: одна в черном шелковом корсете и в красной из ломающегося шелка юбке; другая в запашной серой рубахе — какое-то большое бебе... Та, что в корсете, тотчас просыпается, садится и, громко зевая, любезно обращается ко мне: « Приехали, значит... Не угостите ли пивом ?... » (По голосу слышу — сифилис !)

— Отчего же, можно и пива, говорю я.

Она предлагает « разделить с ней ложе ». Я отказываюсь. Она удивляется: Отчего же ? Вы, значит, так ? Вы больны или так ?

— Так, говорю я.

Приносят пиво. Она берет, отрывает кусочек газеты, скручивает сигаретку, наклоняется над лампой. Огонь бросается вверх, вспыхивает, газета загорается зеленым огнем . . . Сидим разговариваем. Потом я выхожу, извозчик опять мчит меня по спящему городу, месяц уже высоко, стал бледный, маленький . . .

И это называется « веселый дом » !

Рассказ И. А. вчера за обедом.

1 октября

Завтракал Адамович. Сразу начался разговор с И. А. о Толстом и Достоевском. И. А., как всегда, говорил, что Достоевский не производит на него никакого впечатления. Он многое просто забывает, сколько бы ни перечитывал. Потом говорили о советской литературе.

Говорили о Катаеве, о некоторых других, но все как-то бегло. Между прочим И. А. сказал, что ему кажется, что надо писать совсем маленькие сжатые рассказы в несколько строк и что, в сущности, у всех самых больших писателей есть только хорошие места, а между ними — вода.

— Да, но тогда будет как с питательными пилюлями, сказал Ад., а хочется чего-то больше.

Уехал он рано, тотчас после завтрака, торопился в Каннэ к Мережковским.

Вечером уговорили Рощина прочесть главу из романа, которую он собирается читать на вечере в Ницце. Поломался, но прочел.

Какое-то любовное объяснение в номере гостиницы, разрыв, и потом соблазнение женщины идти в работницы Чека. Уговаривает ее старый приятель, актер. Написано все с каким-то « пошлым блеском и умением », как сказал И. А. Все начало точно для сцены. Какие-то способности у него есть, но ни одного живого трогающего слова.

Потом ходили втроем: И. А., Л. и я гулять. Шли по Ницкой дороге. Была чистая луна, много звезд.

— Вот если бы Коля [1] был с нами, он бы нам все показал и рассказал о звездах, с присовокуплением разных легенд о них, — сказал И. А. Он часто последние дни вспоминает о Коле.

3 октября

И. А. прочел и дал прочесть мне « Семейную драму Герцена ». Читала вчера на ночь и сегодня утром дочитывала. Чувство как при чем-то личном. Потрясает искренность и вообще веяние какой-то другой, более откровенной и полной натуры. И как описана смерть и это море, бессмысленно двигавшееся и мерцавшее за окном комнаты, в которой лежала умершая ! И его « шипение » и то, что сказано о мертвой, что « кротко застыли скорби и тревоги, словно страдания кончились бесследно, их стерла беззаботная ясность памятника, не знающего, что он представляет. И я все смотрел, смотрел всю ночь . . . »

« Когда мы всходили на гору, поднялся месяц, сверкнуло море, участвовавшее в ее убийстве . . . »

Все это было здесь. И вот уже все опустело, как театр, и актеры исчезли, и все изменилось. И теперь мы действуем здесь, и все это пройдет так же скоро . . .

Весь день была под впечатлением прочитанного, ходила смотреть на Эстерель, на туман долины, в котором прятались огоньки Бокка, на черно-синие тучи, покрывавшие небо, в прогалинах которых ныряла белая полная луна, и все думала о том, что было здесь 80 лет назад. Вечером И. А., Рощин и я ходили по саду; И. А. говорил, отвечая на его слова о том, что все, что он пишет « пока » и « для широкого читателя », а настоящую книгу, хорошую, он напишет потом и « будет писать ее долго ».

[1] Племянник И. А. — Пушешников.

— Нет, не потом надо, а сейчас, — говорил И. А., со своей обычной энергичной силой в голосе, — сейчас, пока еще нет такой книги. Смотрите, о войне у нас не написал пока никто ничего настоящего. А вы бы взяли и написали вот так, как вы сейчас рассказывали о войне, именно о ее буднях, а не захлебываясь лиризмом и патриотизмом. Нет, это все оттого, что вы русский человек, капитан, а русские запаздывают и в молодости. Вы должны были бы бросить этот ваш поганый роман и написать настоящую правдивую книгу. Только без лиризма ! Не надо « открывать читателю свою душу », не надо становиться с ним на равную ногу. Он уважать не будет. Надо его бить по голове, писать жестоко, спокойно, только это и производит впечатление . . .

— Да я напишу, И. А. обязательно напишу — истерической скороговоркой частил Р. — Но ведь жалко же, надо уж дописать . . . Ведь два года корпел . . .

15 октября

Ездили с И. А. в Ниццу. Подъезжать к ней, да еще солнечным утром, всегда приятно — какое-то особенно голубое и глубокое подле нее море, на котором особенно прелестна белая стая чаек, почему-то всегда собирающихся в одном месте, довольно далеко от берега. В автобусе говорили об « Алешке Толстом », и о его Петре I. Мне книга, несмотря на какую-то беглость, дерзость и, как говорит И. А., лубочность, все же нравится. В первый раз я почувствовала дело Петра, которое прежде воспринимала каким-то головным образом. Нравится она и И. А., хотя он и осуждает лубочность и говорит, что Петра видит мало, зато прекрасен Меньшиков и тонка и нежна прелестная Анна Монс. « Все-таки это остатки какой-то богатырской Руси, — говорил он о А. Н. Толстом. — Он ведь сам глубоко русский человек, в нем всё это сидит. И, кроме того, большая способность ассимиляции с той средой, в которой он в данное время находится. Вот писал он свой холопский 1918 год, и на время писания был против этих генералов. У него такая натура ».

В Ницце особых дел не было. Пошли на базар. Какое богатство, великолепие и щедрость юга ! Самые разнообразные фрукты, свежие и сушеные, масса винограда — такого скульптурно красивого, что он даже потом снился мне, — гранат, яблок, груш, фиг, арбузов, апельсинов, а дальше лук, свежий салат, разрубленная, истекающая малиновой кровью свекла, орехи, каштаны — всего не перечислишь. А на рыбном рынке особенно поразили корзины живых угрей — полное впечатление тихо текущих, перевитых, скользких, отовсюду поднимающих сплюснутые головы с раскрытыми ртами, змей. И над всем и на всем солнце, голубой блеск, теплота, и вдали над базаром раскрытая крона пальмы и желтый полосатый, как на востоке, навес на веревках над переулком... Минут десять посидели на камнях у самой воды. Позади сушили сети, белье, ходили, оправляя его, крупные темноволосые ниццарки. На тротуары вынесены были крутобокие лодки. И. А. на минуту зашел в один из рыбных ресторанов на набережной, чтобы узнать цены, оказалось: буйабесс — 40 франков, соль (камбала) — 35 фр. и т.д. Завтракали мы у Бутто, в старом городе, на углу улицы с пышным названием « Колонна д'Истрия ». Дверь этого провансальского ресторанчика, — старинная, орехового дерева, затянутая изнутри красной материей, с фигурной ручкой, — открыта прямо на маленькую базарную площадь у старой церкви. Внутри — большой крытый очаг, на котором стоят всякие кувшины, подсвечники, висят старые ржавые фонари; потолок тоже деревянный, выкрашенный в черное, с балками, на которых рядами висят пучки чесноку, прекрасного крупного, в апельсинно-шелковой шелухе испанского лука, крупные грозди винограда и связки гранатов и еще каких-то мелких румяных плодов, похожих на райские яблочки. Под этой живописной декорацией очень приятно завтракать, тем более что там бывает интересный местный народ, а вино отличное и недорогое.

Я ела камбалу и мули, а И. А. — спрута в соусе, каких-то жареных мелких рыбок, жиго и телятину с

горошком. Все это подается на маленьких тарелочках и все вкусно. Заключилось все это грушами и виноградом и рыжим невкусным — это им не удается — кофе. Сам папа́ Бутто слегка постарел и будто погрустнел с тех пор, как перешел в новое помещение. Забот больше ! — решили мы.

После завтрака пошли каждый по своим делам. Я ходила в библиотеку. На вопрос мой, что теперь больше всего читают и спрашивают, библиотекарша ответила:

— Конечно, бульварное. А потом книги, где нет революции. Так и просят: « только, пожалуйста, без революции ! » Хотят отдохнуть на мирной жизни. Очень читают Корсака « Записки одного контролера ». Очень хорошо идет.

Я спросила о Сирине.

— Берут, но немного. Труден. И потом, правда, что вот хотя бы « Машенька ». Ехала, ехала и не доехала ! Читатель таких концов не любит !

На обратном пути — уже была ночь — автобус наш вдруг весь погас. Шофер застопорил. Оказалось, не посмотрел в гараже, сколько бензина, и его не хватило. Он поехал со встречным автомобилем назад в ближайший городок, до которого было километра два, а мы остались в темноте с нашим неосвещенным рыдваном — автобусом. Часть пассажиров вышла, их было немного, — и стояла, тихо переговариваясь. Мы с И. А. быстро ходили взад и вперед по дороге. Изредка налетали и освещали столбами желто-лилового света автомобили, замедляя ход и осторожно объезжали наш темный, уткнувшийся в дорогу автобус. Пахло сыростью, свежестью, вокруг были леса. Над темной вершиной сосны лежал звездный полукруг Медведицы. Через полчаса шофер вернулся с бензином и мы двинулись, причем весь обратный путь летели, как бешеные, только стволы мелькали в окнах, — шофер нагонял опоздание.

23 октября

День рожденья И. А. Шестьдесят лет. Совсем обык-

новенный день, ни поздравлений, ни писем, даже меню обыкновенное.

В. Н. говорит, что в прежние годы он « с ума сходил перед днями своего рожденья, часто уезжал куда нибудь накануне, то в Петербург, то в Ефремов ». На этот раз очень тих, очень сердечен был вчера вечером и сегодня все утро. Гуляли по саду. Очень теплый солнечный день. Он шутил с Р., гулял с нами всеми тремя перед завтраком, хотя даже и не переоделся, все в том же старом полосатом халате с растрепанными завязками.

Я все читаю Флобера. Как просто написана сцена первого паденья Эммы с Родольфом ! И какой погребальный голос над всем этим !

По вечерам уже очень холодно. Очень покраснело японское деревцо за оградой.

25 октября.

День Ангела И. А. В доме попытка праздника: все приоделись, к завтраку была любимая И. А. рыба. Однако он пишет весь день, чему я рада.

Вечером после обеда и выпитого вина, ходили вчетвером по площадке нижнего сада (Монфлери) и разговаривали. Было холодно, ветер размахивал черными перистыми ветками пальм, звезды горели голубоватыми огоньками. Мистраль.

Перед этим И. А. читал написанные за день кусочки в столовой, где на белой пустой скатерти венком лежали темные тени гвоздик, стоявших в зеленой кубышке посредине. Читал он, опершись локтем на камин, стоял к нам лицом, так что на плечо ему другие гвоздики, стоявшие на камине, клали свои красные головы. Как точны, великолепны, несомненны все слова в этих « маленьких рассказах » ! То́чны как самые совершенные стихи. Это особенно чувствуется когда он читает вслух.

26 октября

Шли в « Дубок » прямиком по дну долины. По до-

роге я остановилась, чтобы посмотреть на ряд высоких платанов у деревенской портомойни, одиноко стоявшей над оврагом. Дул сильный ветер. Густая, уже пестрая от множества желтых листьев масса зелени шумно сгибалась, волновалась, трепетала, а под ней, в сырой тени, лилась в каменные чашки светлая холодная вода. Эти деревья напомнили мне станционный сад в Радзивиллове, где внизу так же ничего не росло и была такая же пустая тень, а вверху неуютно гудела и гнулась масса крупных блестящих листьев.

По террасам, по которым мы затем взбирались, то там то здесь горели зеленым огнем крупные вырезные листья фиг, висящие как экраны против начинающего снижаться солнца. На открытой горе над дорогой пахло лавандой — ее сухие с торчащими стеблями кустики теребило ветром. А в « Дубке » было то, что всегда: чай в холодной столовой с конфетами в пестрых бумажках и домашним печеньем, потом долгое сиденье в полутемной, от единственной с низко опущенными воланами бледного абажура лампы гостиной, где Ася играла Шумана и Грига, и где как всегда пристально и как будто загадочно глядел сверху со стены над старинным бюро миловидный мальчик, задумчиво уронивший с ручки кресла свои белые руки, — ее брат, убитый на войне; и наконец обед за накрытым по праздничному клетчатой провансальской скатертью столом, с неизменной бутылкой разведенного спирта и блюдом цыплят, засыпанных зеленым горошком.

Когда собрались уходить князь, как всегда учтиво проводил нас до поворота дороги, и мы, поговорили о хозяйстве и здоровьи Аси. Потом, простившись с ним, пошли в ожидании автобуса, по пустому темному шоссе, освещенному сверху только мучнисто-бледным светом звезд, причем ветер был так силен, что мы то и дело должны были останавливаться и, сгибая голову, поворачиваться к нему спиной.

Дома сразу охватила такая сонливость и лень, что я с истинным мученьем стояла, сложив руки и прислонившись к чуть теплой стене в своей комнате, следя

за тем как И. А. прибивает коврик над моей кроватью, а потом стучит молотком, прилаживая замок к двери и для этого то и дело открывая и закрывая ее, причем из коридора уже несло настоящим холодом. Сразу вспомнились все холодные зимы, проведенные здесь, разница температуры в комнатах, постоянно заставлявшая простуживаться, боязливая дрожь при одном воспоминании о ледяной воде в умывальнике, и длинные-длинные вечера, начинающиеся тотчас после захода солнца...

27 октября

Всю ночь мистраль и всю ночь у меня беспокойство и сны.

Какие-то сказочные картины портового города, бледные как первые опыты раскрашенных кинематографических фильм, со старыми каналами, торговыми рядами, выходящими прямо на воду, и с огромным остовом корабля, поднятым на какой-то сказочной верфи над домами и убранном по всем линиям нежных цветов розами. И сюда примешивался Киев и Днепр, и все вместе имело какое-то отношение к Петру Великому, о котором мы накануне спорили за ужином...

День опять холодный. Опять колышатся, блестят, ходят за окном веточки бамбука, оливок, острые шипообразные перья пальм, между которыми в синеватой, точно от костра дымке розовеют уступы городских крыш и горит белым нестерпимым пламенем — настолько резким, что небо над ним кажется серым, — море на горизонте.

29 октября.

Вчера вечером ходили гулять вчетвером, чего уже давно не делали. Ходили на дальний бульвар, в противоположном конце города. Разговаривали о литературе. Дошли до маленького пустыря за бульваром. Над смутно белевшим треугольником какого-то одинокого дома, казавшегося хатой, низко висел желтый ломоть месяца, похожий на ломоть переспелой дыни. Горы

сливаясь во что-то черное, казались издали степью, и И. А. сказал:

— Прищурьтесь немножко и вы легко можете себе представить, что вы где нибудь в екатеринославских степях, под Никополем. Дом этот отлично мог бы быть хатой, а тот черный туман позади — степью . . .

2 ноября

Записываю на другой день после завтрака в Ницце у Лоло.[1]

Поехали мы все в разное время: В. Н. с Л. рано утром, чтоб сходить на могилу Герцена и вообще посмотреть Ниццу, капитан за ними на велосипеде, а мы с И. А. позже всех через Канны.

Был день всех святых и автобус осаждали люди с цветами в руках. Солнца не было, но было очень тепло, тихо, мягко. Море все отливало серебристо серым глянцем, было какое то выпуклое спокойное и по этому глянцу кое-где шли какие-то росчерки, затушевки, а у самого горизонта более темным, серым было проведено две разной длины черты, точно кто-то захотел подчеркнуть более бледное небо. По серебристому глянцу моря было разбросано множество рыбачьих лодок.

Мы всю дорогу говорили о Сирине, о том роде искуства, с которым он первый осмелился выступить в русской литературе, и И. А. говорил, что он открыл целый мир, за который надо быть благодарным ему.

В Ницце все было не особенно интересно. Супруги Лоло, как и ждали мы, весь завтрак проговорили о подлости какого-то Кольшко-Израильсона, травившего его все последнее время в своей газетке, и старались найти поддержку и успокоение в И. А., который благодушно ел и успокаивал несчастного Лоло, которому состояние сердца не позволяло ни есть ни пить.

Вечером, дома, мы уже не могли обедать (завтрак был очень плотный) долго лежали в темноте, потом

---

[1] Лоло-Мундштейн.

ходили по саду — была невероятно теплая, какая-то ватная ночь, с затерянной в темных бороздах облаков маленькой бледной луной, и говорили о том какова была 100 лет назад Ницца, о ее кладбище с его дыбом вставшим мрамором на темной жесткой зелени кипарисов, о том, где находится могила жены Герцена, — до сих пор никто, кажется, этого не знает.

Утром, когда я открыла окно — всю ночь я слышала какой страшный дождь на дворе — пейзаж представлял собой остатки бурной ночи: обрывки, белых облаков на фиолетовых горах, какие-то разметанные, разбросанные остатки, куски, длинные точно газовые полотнища, протянутые по всей долине, и весь сад в каплях, в дожде, так что струны проволоки, протянутые через него, казались мельчайшими брильянтовыми ожерельями.

Но уже к середине утра все это изменилось, так, что казалось будто это совсем другой день — великолепный, солнечный, летне-теплый. Розы, гелиотроп, хризантемы дополняли это ощущение. Но я весь день была разбита, спала после завтрака и вообще была печаль, как всегда после большого количества вина и пустых разговоров.

10 ноября

Все последние дни писала по утрам куски о детстве и печатала днем. Между делом читала Гёксли. Вчера кончила. Очень интересная книга, будящая много довольно горьких мыслей. (« Земля — прибежище извращенных ».)

Давала читать кое-какие места И. А. Он говорит: « Ловкач большой, но все же эта его крайняя ловкость в конечном счете внушает какое-то... неуважение... Я его конечно не сравниваю с каким-нибудь Льюисом, он, конечно, больше его достоин Нобелевской премии, но как-то он не тот благородный художник, которого мы привыкли искать в писателе... »

Сам он кончает цикл отрывков о теперешней России (« Из тайной книги ».)

14 ноября

Были у Мережковских. Вышел Дм. Серг. в каком-то белом, в черную полоску фланелевом пиджачке, как всегда слегка согнувшись и что-то придерживая на груди рукой.

Беседа началась с того, что он рассказал что-то неприязненное о Шестове, которого он упорно называет Шéстовым, с ударением на первом слоге. Потом сообщил о полученном от Илюши письме. « Современные записки » не взяли статью К. Лопатиной о ее брате, потому что она им « не подходит ». (Илюша сам привез Кат. Мих. к себе, посадил и заставил написать эту статью, а когда она была написана, восхищался. Теперь оказывается — « не подходит »). Он предлагает Гиппиус переслать ее в « Числа ». « Это ей подходит, как фокстрот монахине ! » — сказал Мережковский. Долго об этом говорили и возмущались. В. Н., конечно, вся залилась краской за Кат. Мих. и готова была кинуться в бой. Об Илюше поговорили вообще, и оба — и Дм. Серг. и Ив. Ал. — высказывали опасения насчет его здоровья. « Что-то уж очень он всем доволен. Откуда такому избытку благополучия ? А у самого голова всегда кружится », — сказал Мережковский.

Вошла Зин. Ник. в коричневом, пятнами накрашенная. Как всегда, что-то тянула, жевала вместе со словами конец мундштука, и все поправляла волосы, подпирая голову хрупкой, бледной рукой. Гостиная в первый раз была неубрана, пыль на столе, вода в кувшине с хризантемами не переменена, стулья сдвинуты. Горничная больна.

Вышли вместе. По дороге я почти все время шла с Мережковским, кое-о-чем спрашивала, и разговор перебегал то на то, то на другое.

— Неблагополучно у нас, — говорил он, — и все хуже и хуже. Людей нет. Талантливых много, да это что ! Надо принести в мир что-то новое, хотя бы крупицу нового в какой бы то ни было области: в поэзии, в критике, журналистике, в воспоминаниях, в прозе . . . но

непременно новое. Иначе получаются только имитаторы, повторители, подлинно никому не нужные. Вот Флобер, как ни писал ни оттачивал фразу — что мне в его великолепной фразе ! В конце концов даже раздражает ! — а нового не дал ничего. Другое дело Стендаль. Сколько с ним пришло нового !... Алданов, если бы занялся только журналистикой, мог бы занимать место в первом ряду журналистов. Где-нибудь в Англии он был бы первым журналистом. У него лучше всего политические портреты, записные книжки. А романы — эрзатцы... Сирин... знаете, есть такая мимикрия таланта. Как будто одно с сучком, сам сучок, а на самом деле нет ! Может быть очень тонкая мимикрия ! И это уже талант... Георгий Иванов настоящий поэт. Из двух — Ходасевича и Иванова, он подлинней... Я теперь все скучное читаю. И хорошо, что скучно. Вот теперь Жуандо. Так временами скучно, что брошу и за авантюрный роман ! А потом опять принимаюсь. Что легкое читать ! Вот « Капитанская дочка » ! Она, как конфетка. Ее проглотишь и не почувствуешь. А мне гвоздь нужен...

Еще говорили, что не всякий может быть писателем, поэтом в наш век, но всякий при желании может быть пророком. А лицо эмиграции — среднее лицо, это Миронов — из « Иллюстрированной России »...

Гуляли по набережной. Он обращал мое внимание то на « райскую зелень газона », на которую сквозь пальмы падали закатные тончайшие лучи, то на прямой высокий парус лодки, подходившей к молу. « Совсем как бабочкино крыло ! »

На прощанье пригласил нас завтракать.

И. А. на час куда-то уходил, пока мы заходили в меховой магазин и затем пили кофе в кондитерской. Он все-таки чувствует себя с Мережковскими не в своей тарелке, уж очень они ему во всем противоположны. Потом он говорил, что хотя Мережковский со мной был шармером, но многое из того, что он говорил — парадоксы.

16 ноября

Ездили в Монако и в Монте Карло. Опоздали на поезд и пришлось ехать на автокаре по корнишу, что вышло очень удачно. День был очень хорош, тепел, с немного бледным солнцем, от которого море было в бледно голубом серебре и тумане. Все были в хорошем настроении, что довольно необычно.

Меня в Монако больше всего поразил музей, остальное я видала несколько раз — и аквариум. Глядя на всех этих рыб и морских животных, я невольно вспомнила Гёксли, проводящем параллели между животными и людьми. Действительно, многие очень схожи с людьми родом, видом, выраженьями. Некоторые стояли неподвижно с тем выражением тупого сна, который И. А. часто указывает мне в людях, называя его утробным, зоологическим. Особенно замечательно была одна рыба, большая, скульптурная, точно сделанная из желтого сала с четко обведенными складчатыми губами — ни дать ни взять — представитель какого нибудь высшего общества с лысым черепом, желтым длинным лицом и брезгливо-недовольными желтыми губами. Глаз у нее двинулся раза два за все время. Замечательны были мурены — некоторые точно в длинном траурном платье, вышитом серебряными нитками, лентообразно извивавшиеся, с страшными старушечьизлыми мордами. Хороша была одна рыба с золотым ободком вокруг черного глаза, горевшим фосфорически. Но особенно поразил меня осьминог, который всегда представлялся мне грязным черным чудовищем, а оказалось, что мешок у него темно-абрикосового цвета и из чего-то нежнейшего, шелково-бархатистого и благородно чистого, какого я никогда не видела. А когда он вдруг вытянулся и одним движением мышц перенесся вперед, вытягивая все свои нежные с ландышеобразными присосками щупальцы — он вдруг стал похож на какой-то мощный редкостный тюльпан. В автобусе я все восхищалась этим и говорила И. А., что меня поражает больше всего великолепная чистота всех этих животных. Он напомнил мне рыб, которые понравились

ему, каких-то хвостатых летучих мышей или монахинь с черной спинкой и крыльями с белым исподом. « И ведь это недра земли ! Бездна земли ! — говорил он. — А какая в самом деле тонкость и чистота ! Нет, в замысле Творца, в замысле природы очищение вида, путем подавления, уничтожения одних, выработка самых совершенных видов. В сущности самое грязное — человек. Великолепных экземпляров мало. Вот уж подлинно « Дух Божий носится над хаосом ».

22 ноября

Гуляли с И. А. перед обедом. Был какой-то зловещий закат, множество разнообразных и ярких красок. Должно быть за горами шла непогода. Недаром два дня был горячий тяжелый ветер. На закате всё было освещено сиренево-фиолетовым, лица, стены, деревья. По зелено-меловым листам огромной агавы текло лиловое.

Долго ходили по городу за покупками. Встретили дочь фотографа, на венчании которой недавно были в соборе. Она маленькая, серенькая, как-то согнувшись, шмыгнула мимо нас, таинственно и робко улыбнувшись мне. Она была опять такой скромной серенькой букашкой, что странно было вспомнить ее в белых облаках вуали, разрумяненную, глядящую с порога церкви на взлетевших голубей... Она только что вернулась из свадебного путешествия... Вот еще немного поблещет она молодой женственностью, а там уже наступит « скучная неподвижность », о которой Пруст писал: « Как быстро приходит момент, когда уже больше нечего ждать, когда тело погружено в неподвижность, не обещающую никаких неожиданностей, когда теряется всякая надежда при виде выпадающих или седеющих волос вокруг еще молодого лица, подобно мертвым листьям на дереве в середине лета... »

23 ноября

Редкий по чистоте воздуха и великолепию красок

день. Тепло настолько, что все окна открыты. Утром писала. За завтраком письмо от Алданова, очень сердечное. Посылает между прочим мне книгу Стречи во французском переводе.

И. А. все мучается с заглавием книжки. То « Новые страницы », то « Краткие рассказы », то что-то неопределенное, подходящее под понятие « Альбом писателя », но без невозможного слова « Альбом ».

В. Н. вчера ездила к Мережковским. В среду мы приглашены к ним завтракать. Мережковский сказал о Фондаминском: « Он как дом с нарисованной дверью. Думаешь, что вот она тебе сейчас откроется, а она — нарисована ».

Катерина Михайловна, с кот. В. Н. виделась, больше всего огорчена тем, что Илюша ей не написал сам о том, что ее рукопись не принята. Но согласна даже и на « Числа ». Плачущим голосом: « Конечно они (« Числа ») ужасные, но мне даже нравятся. Там такие хорошенькие картинки ! »

27 ноября

Вчера были на прощальном (они уезжают в Париж) завтраке у Мережковских. День был серый тяжелый. Настроение у всех сумрачное, сам Мережковский был очень молчалив, мрачен, цвет лица у него пепельно серый. Зинаида Николаевна в ярко фиолетовом бархатном платье, дурно сшитом, но идущем к золотистому каштану ее волос, была в благосклонном расположении духа. Она старательно угощала крохотными нежными пирожками, говоря, что они так легки, что исчезают « à vol d'oiseau » и немилосердно теребила Володю, который у них и кушанье раскладывает, и убирает, и телеграммы отсылает.

После завтрака Дмитрий Серг. по обыкновению ушел отдыхать, Володя отправился заказывать билеты, а мы втроем остались с З. Н. Я рассматривала ее, лишний раз дивясь ее вычурным позам, — рука за голову, нога за ногу, голова далеко закинута и сама она полулежит в кресле, с которого свисают фиолетовые

углы платья, а ручки маленькие, хрупкие, и все она щурится или таращит глаза. На этот раз она была мила и старалась говорить откровеннее и понять нас. Говорила, что теперь нет ничего интересного для нее в молодых писателях, что все « Фельзены и Поплавские ее разочаровали ». А « как расталкивают всех локтями ! Вам, Галина Николаевна, за ними не угнаться . . . »

Потом говорила о Сирине. Он ей тоже не нравится. « В конце концов так путает, что не знаешь, правда или не правда, и сам он — он или не он . . . И так хочется чего-нибудь простого . . . »

Много было толков и об Илюше, речь которого напечатана в « Днях ». Смысл ее таков, что Сов. Россия сейчас вовсе не слаба, не накануне краха, как думают многие, а напротив очень сильна, и в ней, и только в ней одной страшная угроза войны с Западом, причем плацдармом должна служить Германия. Но бороться с ней он предлагает тем-же отвлеченным литературным « разложением и уводом душ » . . . А как это сделать опять не говорит. Об этом было много толков у нас вечером, когда мы все после обеда пошли в кабинет И. А., где он читал эту речь вслух.

28 ноября

Вчера опять говорили с Л. о вреде знакомства с жизнью по книгам для писателя, т.е. говорил он, а я слушала.

Год прошел как он здесь, и вот он говорит, что все мы живем по книгам, что такая жизнь худосочна, вредна, ведет к литературщине или замолканью. Во многом он преувеличивает, но во многом и прав.

Илюша прислал мне Чикагский журнал «Москва » с двумя рецензиями на мою книгу. Обе хвалебные, но в таком наивно-плоском тоне и в таких выражениях, что мы за завтраком хохотали, когда И. А. читал их вслух.

Никак не думала, что простые полки для книг могут доставить такое удовольствие ! У нас жизнь так гола, так лишена всякого уюта, что я перестала чувст-

вовать многие вещи. А полки эти я собиралась заказать чуть не год. Наконец их сделали, принесли, поставили в том именно месте, на котором я настояла... Смотреть и помогать сбежался весь дом. « Мало же у нас развлечения ! » сказала В. Н. После завтрака я отбирала по всем комнатам свои книги и ставила их на место. И вот, когда все было готово, книги рядами стали в темно шоколадные гнезда, вся комната изменила вид. Все приходили смотреть и хвалили. Я нарезала в саду роз, поставила на столе, покрытом недавно подаренной В. Н. провансальской, желтой в мелких полевых букетиках скатертью, и Л. войдя, воскликнул:

— Как комната изменилась !

2 декабря

Отослали с И. А. рукопись его книги « Божье древо ». Зашли в церковь. В ней, пустой, гремел какими-то железными трубами орган.

Сидела у моря одна, пока И. А. ездил к Мережковским. Оно было желтовато голубое, не очень красивое, но все-таки было хорошо дышать морским воздухом, смотреть на чаек, которых было особенно много в этот раз. Они белой толпой стояли на песке, быстро семенили по нем коралловыми ножками, временами их как бы сдувало ветром и они белыми облаками отлетали.

Солнце зашло в мутный дымный газ неба, на котором стройно рисовались снасти стоявшей у мола одинокой яхты. Поверхность моря была серая, бугристая с прерывистым неприютным блеском по ней. И. А. шел и говорил, что у него бывает иногда страстная потребность увидеть северное море, что должно быть это во всех нас, русских, заложено.

— Да ведь, бывало, выйдешь из Босфора в Черное море — так сейчас и пошел ветер и пошло валять, и труба начинает сипеть как-то по особенному...

На обратном пути все говорил, что пора приниматься за « Арсеньева ». Он сейчас после отправки книжки очень устал, как то весь обмяк, но маленький отдых — и он опять может писать. Говорили и обо мне.

Я сейчас с величайшим страхом, правда, чтобы это не прекратилось, пишу. Выплыла на какую-то вольную воду. Кажется, это длится несколько дней, но написаны две главы дальше. Последняя переработана трижды.

6 декабря

Умерла Маня, кузина В. Н. Узнали об этом из вчерашних газет, где сказано только, что М. С. Брюан, урожд. Муромцева, скончалась, и что отпевание и похороны сегодня в половине второго.

Мы все были поражены этим известием. И. А. не знал как сообщить об этом В. Н. и сначала сказал подвернувшемуся Л. потом мне. У него было при этом такое расстроенное лицо, что я не знала что подумать. Он сказал: « Маня отравилась ! » — хотя ничего об этом неизвестно, предположив это, очевидно, в связи с ее семейной драмой. Целый день мы точно пришибленные. Смерти идут как-то гроздьями, сразу смерть нескольких знакомых. Кроме того я никак не могу освоиться и связать с Маней, жившей здесь в прошлом году в Гранд-Отеле, с Маней, великолепно певшей нам еще этой зимой « Ich grolle nicht », эту смерть и похороны. Ничего не могу записать толком. Все путается и трудно складывать фразы. Это так нелепо и никак не связывается с Маней — гроб, панихиды, свечи. А теперь она уже в могиле.

Мы живем в страшной, хотя может быть и спасительной тупости. А потом вот так бьет по голове и вспоминаешь, что это за страшная штука — наша жизнь . . .

7 декабря

Маня умерла от зараженья крови, после операции — удаления фибромы. Она уже две недели находилась в клинике. Написал об этом В. Н. хозяин дома, в котором жила мать Мани т. к. сама она не может писать.

14 декабря

После завтрака ходили с И. А. ненадолго гулять наверх. Говорили о Муратове [1], которым И. А. после каждой новой статьи очень восхищается, об Ольге Жеребцовой у Алданова и Герцена. По моему у Герцена она хороша, но у Алданова видна совсем по иному и вместе с эпохой попутно. Потом спросила, как И. А. писал « Деревню », с чего началось.

— Да так ... захотелось написать одного лавочника, был такой, жил у большой дороги. Но по лени хотел написать сначала ряд портретов: его, разных мужиков, баб. А потом как-то так само собой вышло, что сел и написал первую часть в 4 дня. И на год бросил.

— А вторая часть ?

— А это было уже через год. Простились мы с матерью — она была очень плоха, я был убит, и поехали мы в Москву почему-то в июне. Получались известия от брата, все более тяжелые. Я сел писать. И тут и получил известие о ее смерти. Ну, писал две недели и дописал ...

Гуляли очень приятно. Солнце, зелень как-то особенно светится над водой. И. А. стал отдирать один серый лист агавы от другого, еще плотно вложенный один в другой, как в футляр.

— Точно крокодилья пасть ! — говорил он. — И какая сила ! И все, чтобы не съел кто-нибудь.

Домой шли мимо любимой площади принцессы Полины над нашей виллой. Увидели, что прелестную старую грядку из серых камней, отделявшую обрыв, сломали и строят безобразную бетонную с рыже-красными прутьями изгородь. Огорчились ужасно. Какое ослиное понятие о красоте надо иметь, чтобы делать такую замену !

— Да что ! Все здесь скоро испакостят ! — с огорчением сказал уходя, И. А.

Дома грустно. В. Н. бледна и нервна, смерть Мани повергла ее в немое гипнотическое состояние, из ко-

---

[1] П. Муратов.

торого она не может выйти. Ежедневно приходящие из Парижа письма на эту тему все время питают ее. Она целые дни говорит одно и то же, каждая фраза наша рождает в ней эхо: Да, это как у Мани ... Да, точно так же Маня ... А у Мани ...

Она не плачет, в первый день была даже как будто веселее нас всех. Зато потом леса пошла разматываться ...

18 декабря

На днях вечером сидели в кабинете И. А. и разговор зашел о Достоевском. И. А., который взялся перечитывать « Бесов », сказал:

— Ну, вот и опять в который раз решился перечитать, подошел с полной готовностью в душе: ну, как же мол это, весь свет восхищается, а я чего-то очевидно не доглядел ... Ну, вот дошел до половины и опять тоже самое ! Чувствую, что меня дурачат, считают дураком ... И нисколько не трогают ! Бесконечные разговоры и каждую минуту « все в ожидании » и все между собой знакомы и вечно все собираются в одном месте и вечно одна и та же героиня ... И это уже двести страниц, а никаких « бесов » нет ... Нет, плохо ! Раздражает !

— Что же ты хочешь сказать ? — спросила В. Н.

— Хочу сказать, что, очевидно, ошибаюсь не я, а « мир », что мы имеем дело со случаем всеобщего массового гипноза. Но не только не смеют сказать, что король голый, но даже и себе не смеют сознаться в этом.

— Что же вы хотите сказать, что Достоевский плохой писатель ? — закричал З.

— Да, я хочу сказать, что Достоевский плохой писатель. И вы лучше послушайте меня. Я в этом деле кое-что понимаю ...

— Да как же это так ? Что он не любит описаний природы — так ему вовсе не до того, а что он так спешит, так это потому что ему некогда было отделывать, вы же знаете как он писал ...

— А я утверждаю, что он иначе и не мог писать, и в свою меру отделывал так, что дальше уже нельзя... Вслушайтесь в то, что я говорю: все у него так закончено и отделано, что из этого кружева ни одного завитка не расплетешь... Иначе он и не мог писать.

З. вскакивает и начинает возмущенно опровергать. В. Н. говорит, что Достоевский объяснил ей многое и в самом И. А. и в жизни всего нашего дома. И. А. с необычайной силой стоит на своем и в доказательство приводит то, что сколько не читал Достоевского, через год ничего не помнит.

Поднимается ужасный шум. Один Рощин не принимает в нем никакого участия и, опершись локтями на стол, рассматривает виньетку над каким то романом в газете.

Спор, конечно, кончается ничем. Потом В. Н. и З. уходят наверх, а мы остаемся втроем.

— Ну, а вы какого мнения, капитан, о Достоевском? — спрашивает И. А. тем дурашливым тоном, который неизменно ведется между ним и Р.

— А мне это без надобности... Пущай пишет... — в том же тоне басит капитан. — Мне что ? Пущай...

Мы смеемся.

20 декабря

Демидов прислал И. А. по поручению Милюкова статью журналиста Троцкого из Стокгольма о Нобелевских лауреатах. В конце этой статьи Троцкий пишет, что у лауреата этого года было два серьезных соперника: Мережковский и Бунин. Что « Жизнь Арсеньева » искали и не могли найти в переводе — она есть пока только на итальянском — и что самый вероятный кандидат на будущий год — Бунин, если только его выставят кандидатом до января 31-го года.

И. А. читал это за завтраком вслух. Никто из нас этого не ждал, и поэтому все были как-то оглушены. Потом начались советы и совещания что делать. Конечно, явилась мысль о необходимости нажать некоторые кнопки — письмо для этого, видимо, было пе-

реслано — написать кое-каким знакомым, а главное позаботиться о переводе. После завтрака И. А. сел писать письма. Теперь ему предстоят волнения, заботы и может быть напрасные т. к. вряд ли дадут премию русскому. И в результате будет большое разочарование, большая горечь.

Утро провела за детальной обработкой главы. Трудилась, как муравей и в результате три страницы самого простого рассказа о том, как девочки-гимназистки катаются с гор после уроков. И все-таки чувство удовлетворения. Теперь я знаю чего стоят такие вот « пустяки ». Зато это, наконец, серьезная, будничная, кропотливая работа.

В. Н. уже несколько дней чувствует на себе последствия всех бывших тяжелых переживаний. Она бледна, нервна, легко раздражается. О Мане ей пишут до сих пор. Маня умерла, сделав распоряжения по отношению к матери. О В. Н. ничего. Муж ее, якобы, уже год совершенно разорен и она, зная это, скрывала от всех. Мать, эта коренастая старуха « могуче, по цыгански, переносит горе ».

22 декабря

Отправили на 45 фр. писем. Заботы по поводу премии. И. А. эти письма сразу изнурили. « Нет, я на это не гожусь ! » — говорил он. Присланной из Новостей тысячи едва хватило на текущие расходы, а если не пришлют еще — мы останемся к Рождеству на бобах. Нас пятеро и никто почти ничего не зарабатывает.

25 декабря

Вчера ездили в Горж дю Лу. Холодный морозный туман стоял над долиной. Горы появились, огромные, телесно-желтые с розовыми и коричневыми подпалинами, точно на них была наброшена огромная леопардовая шкура.

Конечно сначала спорили — без этого совместные

прогулки не обходятся. Но в общем осталось впечатление большой свежести, холода и пустынности. У дороги подле одного дома мужчина срывал с низкого деревца апельсины и подавал их женщине, стоявшей в одном пестром бумазейном платье — должно быть к рождественскому ужину. Когда возвращались, горы потемнели, стали понемногу совсем плоскими, упростились и потом уже только одна темная гигантская декорация стояла за другой на еще светлеющем небе с одинокой звездой. Только один крупный огонь горел в Гурдоне, маленьком городке на вершине. Казалось почему-то, что это рождественский огонь.

Дома Камий ждала, была возбуждена, спешила скорей уйти к сыну, к мужу. Пекла нам оладьи из трески, блюдо, которое, по ее словам, ест в этот день весь город. Была какая-то необычная, не такая машинальная как все последнее время, рассказывала какой у них будет на первый день Рождества обед. Проводили ее все, дав ей каждый что-нибудь для мальчика.

Сегодня у нас особенно серо, сиротливо и грустно. Камий нет, мы сами собрали завтрак, состоявший из остатков вчерашнего обеда.

С почтой пришло еще одно довольно убедительное подтверждение самого Троцкого о возможной кандидатуре И. А. на Нобелевскую премию и с ним письмо Полякова-Литовцева, в котором тот указывает кое-какие пути и предлагает свои услуги. Говорили об этом, гуляя с И. А. после завтрака по саду Монфлери. Он как-то печален, хотя и делает то, что надо: пишет письма, посылает книги.

30 декабря

Томас Манн прислал И. А. в ответ на « Жизнь Арсеньева » свою « Смерть в Венеции » по итальянски с очень любезной надписью. Получено также письмо от Алданова, сплошь деловое, спрашивающее чего хочет И. А., на кого надо влиять, к кому обращаться. И знаменательная фраза о том, что единственная его серьезная просьба при всем этом — чтобы вся вилла Бельведер

дала слово сохранить в тайне его участие в этом деле, ибо и так, мол, вражды не оберешься...

4 января 1931

Фондаминские приехали вчера и вчера же вечером Илья Исидорович поднялся к нам.

Подали чай и необычно уселись в девять часов в столовой за чайным столом. И. И. пополнел, все так же весел, даже больше чем обычно, что объясняется, я думаю, его успехами в Париже и тем, что он « освежился », сделав большое путешествие в Болгарию и Германию. Весь вечер рассказывал, а мы все жадно задавали ему вопросы. Прежде всего сказал, что шансы Бунина в Швеции очень велики и что в Париже к нему взрыв симпатии по этому поводу.

Потом говорил, что в Европе назревает война, что Германия и вообще все побежденные страны кипят как котел, что они полны злобой и жаждой воевать во что бы то ни стало, что Германия производит « очумелое, истерическое впечатление », что она делает все, чтобы убедить большевиков напасть на Польшу, обещая потом с своей стороны сделать то же самое; что Франция безумно боится войны — он был на каком-то важном заседании в Париже, где вход был строго по приглашениям и где выступал цвет Франции — что генералы дрожат и все границы укрепляются, хотя казалось-бы воевать не с кем. В Берлине он провел вечер (свой самый приятный вечер там) у Сирина-Набокова. Он живет в двух комнатах с женой « очень хорошей, тонкой » и по некоторым мелочам живут они трогательно.

— А какой он в обращении ? Любезно-нервен ? Или нервно-любезен ? — спросил И. А.

— Да... как вам сказать... Он благожелательный человек... Так приятен, хотя и производит такое впечатление, что в нем то же, что в его романах — он в них раскрывается до конца, дает всего себя, а что дальше ? Вот за это, признаться, стало, глядя на него страшно.

— Ну а внешность ? Худ, как черт ?

— Худ, как черт !

Всей гурьбой пошли его провожать. По дороге он рассказывал редакционные новости: редакция « завалена » романами молодых. Пескова написала небольшую, « великолепную » повесть, которая принята. Евангулов предложил роман, в котором однако запутался во второй половине. То же самое с Городецкой ... « Мне ее было жаль. Девочка работает, читает доклады у Бердяева, а пришлось отказать. Принесла роман. Руднев говорит первая часть хороша, а дальше запуталась ».

Познакомился с Газдановым. Сказал о нем, что он произвел на него самое острое и шустрое, самоуверенное и дерзкое впечатление. Дал в « Современные записки » рассказ, который написан « совсем просто ». Открыл в этом году истину, догадался, что надо писать « совсем просто ».

6 января

Грустный рождественский вечер с остатками красного заката в небе. В столовой стоит сделанная Л. связанная из разных хвойных веток елочка, тоже какая-то грустная в своих двух нитках серебра и маленьких цветных свечках. И. А. войдя вчера со двора и увидав ее, неприятно поразился: « Что-то церковное ! Налой какой-то ! »

9 января

Вчера печатала главу Л. Очень хороша. Он очень вырос, как писатель, не узнать. Дала потом потихоньку прочесть И. А. и он тоже сказал, что очень хорошо.

И. И. в этом году опять не такой как в прошлом. Уклончив.

Чехи лишили в этом году пособия, что большая для нас утечка. Почти 400 фр. в месяц выпало из скудного бюджета.

14 января

Новогодний обед у Амалии, на который мы были

торжественно заранее приглашены, готовили три кухарки, считая и нашу Камий. Был какой-то замечательный салат, пирог, индейка и печеные яблоки с кремом, а на дессерт, среди прочих фруктов грепп-фрюи.

Амалия была в каком-то старинном тафтовом платье с крохотными оборочками и в музейных чулках из алансонских кружев. Рассказывала нам, что во времена довоенные добаловала себя до того, что не могла ездить в купе спальных вагонов даже с матерью и заставляла горничную предварительно покрывать все купе замшевой кожей, потому что « Бог знает кто там до меня ехал ».

За столом все время играла добрую фею, с томной грацией клонила голову к плечу, что ей идет и удается. В большой комнате была зажжена легкая сосенка и под ней разложены подарки. И. А. — серебряный подстаканник со стаканом, В. Н. — шарф, мне — кусок зеленого шелка на блузу, мужчинам по галстуку. Кроме того каждый мог снять с елки то, что ему хотелось. Я взяла черного изгибистого кота со свечечкой на хвосте. Кончили всё принесенным нами шампанским.

Сегодня встала первая т. е. вторая т. к. И. А. встал до меня, но напившись кофе опять лег.

Удерживаться он не умеет и вчера опять, конечно, переел. Собирались с ним сегодня в Ниццу и вот вместо этого он спит, а день чудесный. Вышла на секунду, вынести на свалку корзину с бумагами, посмотрела на влажный сад, на небо, на громаду кипариса, уходящую в синеву, и стало как-то смутно: вместо всего этого, пока еще есть молодость надо было бы совсем другое ! То, что говорит Илюша, а он говорит: « Какие бы ни были неприятности — сел в вагон и обращаешся в мальчишку. И все мы, взрослые люди, когда ездили в Болгарию, обратились в ребят. Ели сосиски, пили пиво, каждый город казался таинственным, новым . . . И все это с самыми скромными средствами ! »

И. А. сейчас осуждает все это т. е. для меня

осуждает. А сам, как вчера вспомнил о том, как вышел где-то в Кёльне на улицу под вечер в 28-29 лет !

« В неволе душа может закалиться, куда-то даже пойти, но мне кажется все-таки будет искривленной, не расцветет свободно, не даст таких плодов как при свободе ».

Тоже слова Илюши.

15 января

Радостные известия из Швеции. Будто бы проф. Агрель твердо сказал, что все сделает, чтобы премию дали Бунину.

И. А. сказал мне это в большом волнении, после того как прочел в кабинете свое письмо Полякову-Литовцеву, приславшему ему письмо из Швеции. « Уж не знаю . . . боюсь сказать . . . ну, да не могу скрыть . . .»

Он поглощен этим, лицо у него взволнованное, он сидит без пиджака в одной белой с помочами фуфайке и, не глядя, стряхивая пепел с папиросы, пишет одно письмо за другим. Я ушла от него, попросив помнить только одно: что надо все-таки до времени сдерживать себя и не давать до конца увериться в успехе — все может еще перемениться. Потом пошла в сад, ушла наверх, долго ходила и сидела в каменной нише на верхней террасе, смотрела на гору, на долину, на оливки, казавшиеся от освещения железными.

Вот жизнь на пороге поворота. Все может вывернуть и понести куда то. И как ни странно и не тяжко иногда бывает — будет ли лучше ? И как И. А. не тяжела нужда, лишения — будет ли лучше тогда ? Ведь сумма эта вовсе не сказочная, а на нее станет рассчитывать чуть ли не половина эмиграции. А дома ? А В. Н. ? А все мы, неуравновешенные, нервные ? Он сейчас так рассеян, так отвлечен. А что будет с его здоровьем при неизбежных излишествах ?

17 января

Написала, наконец, главу об опере. Она была у

меня с прошлого года, но теперь оказалось, что интересует меня другое и сама я другая. И. А. прочтя, сказал, что эта глава у меня лучшая из всего, что я писала в романе. Л. говорит, что очень хорошо о музыке. Сама я чувствую, что это все-таки « пока » и что можно бы лучше.

Вчера И. А. ездил один в Канны, а мы вместо чая ходили втроем в город, выпили по стаканчику кианти в баре на рыбном рынке. Весь обратный путь Л. спорил с В. Н. доказывая, что ей нечего повторять написанное И. А. (Она захотела писать путешествие в Индийском океане), а я слушала и смотрела на кипарисы, на блестящий Юпитер над ними . . .

Сегодня вечером такой мистраль, что кажется вот-вот сорвет крышу. Печка не горит, пламя выдувает, кабинет И. А. полон дымом.

24 января

Третьего дня были на чае у Фондаминских и видели В. Ильина, философа, композитора, профессора, автора « Серафима Саровского ». Амалия все говорила, что он « вполне гениален », что она обожает проводить с ним время, читать Данте и говорить о музыке. Я давно хотела увидеть его, тем более, что Л. и Р. о нем говорили по разному. Они его знали раньше.

Ильин — необыкновенно подвижной, толстоплечий молодой человек лет 35-37, чем-то похожий на арлекина, говорящий необыкновенно часто, много и быстро. Обращаясь к И. А., к Л., к И. Ис., ко мне — все равно к кому, он перескакивал с предмета на предмет с легкостью фокусника, извинялся, придвигая к себе тарелки, передавая чашки и все говорил . . . о Канте, о Плотине, о Платоне, о Чайковском, о Серафиме Саровском, о Стравинском, о Поле Валери, о Гоголе, о современных философах, о Флобере, о Балиеве . . .

— Украшенный рогами . . . Это как бы « акме » острие . . . Философы тогда обладали большой физической силой, — то и дело слышала я. Амалия имела неудачную мысль переводить в это время за столом

предисловие к итальянскому переводу « Арсеньева » и в конце-концов слушать ее пришлось только мне, близь-сидящей. Прочим все время хотелось говорить. Мне это очень мешало слушать о чем говорят.

Ильин и И. А. заспорили о французах, о « провалах » у них в литературе. Ильин находил их легкими и сравнительно поверхностными и уж никак не жестокими.

— Позвольте, а Бодлер, а Верлен ? — говорил И. А.

— А Поль Валери . . . врывался Ильин.

— Да нет, возьмите хотя бы Флобера, по моему недооцененного, — говорил И. А.

— Положим, вполне оцененного, — вставлял Ильин.

— Нет, недостаточно с той именно точки, о которой я говорю. Я вот перечел недавно Бовари. Какая там звучит над всем и надо всеми нота глубокой меланхолии, безнадежности ! (Такая нота у французов его времени ! Это впервые !)

— Ну, да-да . . . соглашался Ильин. И, повернувшись в другую сторону к И. Ис., стремительно переходил на музыку: — Ах, я вот все о Чайковском . . . Знаете, он недостаточно оценен ! Какие у него есть симфонии ! И знаете, он всегда работал ! Есть у него одна « Фантазия », просто изумительная, а вот недавно я читал его дневники и там стоит: « иду работать над осточертевшей « Фантазией » . . . Он не ждал вдохновения.

— А Толстой ? . . . — вопросом ответил И. А.

Я сказала, что Балиев поставил « Пиковую даму ».

— С музыкой Анненского ? Невозможно представить « Пиковую даму » без Чайковского ! — снова воскликнул Ильин и тотчас заговорил о Стравинском: — Вот он теперь очень возвеличивает Чайковского. Хотя я и не очень уважаю его за это — он делает это из дурных чувств: понимаете, Чайковский весь противоположен ему . . . А вот Римского-Корсакова он ругает . . . и как это дурно.

— Мы были перед отъездом на « Царской невесте »

и потом был « Петрушка ». И « Невеста » погибла перед ним, — сказал Илюша.

— Да ! Но ведь это самая слабая вещь . . . И нельзя так рядом . . . А « Петрушка » это изумительно ! Помните, как это начинается: та-та, та-та-та-та !

И он весь задергался в такт.

Потом перелетел на Гоголя:

— « Страшная месть » . . . Это изумительно ! Помните, у него там место, где колдун вызывает душу Катерины ? Описание этой горницы, где « в углу вместо образов выглядывают страшные лица » . . . Это ведь чистейшее чернокнижие ! Он знал эти вещи !

Потом он рассказал, как в 18-ом году, в Киеве, от зажигательного снаряда у него погибли все рукописи и готовая партитура симфонии, которая уже должна была исполняться в киевской консерватории. Ему было тогда 28 лет. « И все все погибло ! »

— Каждый человек эгоист, — сказал с улыбкой И. А. — И поэтому, я о себе скажу, что я бы дорого дал, чтобы какой-нибудь снаряд сжег все мои юношеские произведения ! Нет ничего ужаснее этого незрелого груза за плечами ! И вы, наверное, теперь написали бы вашу симфонию заново и много лучше . . .

— Да, представьте, я теперь вот, бродя по полям Манделье, часто присаживаюсь на камни и разыгриваю мысленно свою симфонию — и она выходит куда лучше !

— Ну, вот видите !

— Прощаясь в дверях, он говорил мне, что по его мнению, музыка « первое искусство », первоисточник всего ! Я сказала, что не только согласна с ним, но даже несколько дней назад, по странному совпадению, писала об этом в романе. Он обрадовался, закивал, закраснелся и сообщил, что у него выходит по немецки книга о музыке, которая « в таком случае, как только выйдет — полетит к вам ».

Были мы на чае только втроем с И. А. и Л. остальные почему-то остались дома. Стол был украшен свежей пушистой мимозой и кроме того были меренги с

кремом из каких-то особенных сливок, за которыми Амалия ездила в Канны.

25 января

Была очень нервна весь вечер. Чтобы отвлечься заходила даже поговорить к капитану, который клеит свой роман. И вышел какой-то безнадежный странный разговор.

— Все все равно ! — говорил Р. — Все ерунда. Часы живут по сто лет, некоторые дома по 300, а от человека через сто лет ничего не остается. Все равно. И гордости нет. Какая там гордость! И никому я не верю. Вон Герцен в четвертом томе чему-то удивляется, обману. А я никогда не удивляюсь. Все тлен, чепуха. Вы говорите Анна Павлова ? А вот ее уже и нет. А Маня ? Вот она только что тут ходила, трясла браслетами, улыбалась, а где это все теперь ? И браслетка уже у кого-то на руке, и об этой Мане и не знает . . . где эта Маня. А наши И. А. и В. Н. — простодушны . . . Анахронизм какой-то. Люкс.

27 января

Прочла « Ариэля » Моруа. Много интересного. Итог все тот-же. Все несчастны.

28 января

Все еще мистраль. Просыпаюсь и засыпаю под звяканье дверцы печки в коридоре и возмущенные возгласы И. А. (« Опять навалили ! От дыма вздохнуть нельзя ! ») Л. как хранитель огня, тоже возмущается. В общем же дымно как в вигваме и отвратительно пахнет каменным углем.

Читаю « Елизавету и Эссекса » Стрэчи. Пишу плохо, вяло с усилием, которое дает малые результаты.

29 января

Камий не пришла, что-то у нее видно случилось,

не то мальчик заболел, не то с домом что-нибудь, у них стена разрушилась. Поэтому, сойдя вниз в десять часов я застала беспомощно стоящую посреди кабинета В. Н. и И. А., которые советовались, что делать к завтраку. Взяла корзинку и пошла вниз в лавки. По дороге думала, что плохо будет если опять мы останемся хоть на время без прислуги. Болезненно и ненормально протекает это у нас в доме.

31 января

У Камий грипп. Началось домашнее хозяйничанье. Начались неприятности. На закате я оделась и пошла в первый раз за долгое время гулять одна. Как это успокаивает ! Я совсем забыла это чувство — гулять по своей прихоти, идти куда хочешь то быстро, то тихо, то останавливаясь у забора и глядя сквозь него, как медленно садится и, расплющиваясь, уходит вниз красное солнце. У запертой церкви на верхней дороге уже цветет белым дерево. Я зашла очень далеко, за скалы плато Наполеона, туда где прокладывают новый бульвар, и пока очень дико, голый лес, камни, торчащие на покрасневшем небе, голые искривленные вершины акаций. Неполная луна все время следила за мной, стоя в оливках на востоке.

Вернулась я уже совсем вечером. В. Н. жарила мясо на круглой печке в коридоре. Эта печка теперь у нас вроде советской « буржуйки ». Когда Камий нет мы всегда на ней разогреваем и готовим.

Вечером еще раз гуляли и далеко. Была прекрасная лунная ночь. В. Н. и Л. ушли далеко вперед, а мы с И. А. и капитаном, не торопясь, тянулись сзади. И. А. говоря о Чехове, между прочим рассказал, что он из скромности когда-то написал в воспоминаниях о нем: « Чехов сказал: написать бы такой рассказ, как Тамань, да еще там что-то и умереть ». А на самом деле было иначе. И. А. указал ему на Тамань, как на один из самых прекрасных перлов нашей литературы и он, подумав, согласился с ним и тогда уже сказал записан-

ную фразу. « А теперь все подхватили, и вот опять читал недавно у Муратова о Тамани . . . А до меня никто о ней и не думал ».

Очень хорошие вести из Стокгольма. Выставлена кандидатура И. А. Кроме того переслано письмо Эм. Нобеля, где он пишет, что он за Бунина: прочел пять-шесть его книг и в восторге от них.

Ходили с И. А. в город. Говорили о том, как было-бы хорошо ехать через год в Швецию. Но он и говорить об этом из суеверия боится.

2 февраля

Пришло собрание сочинений Толстого, выписанное для меня Илюшей из Парижа. Стала разрезать ту-же хорошо знакомую мне « Анну Каренину » и опять потонула в первых же главах. Обратила также внимание на то, какие у него коротенькие главы: две-три страницы.

После чая печатала Л. Камий все еще больна и работаем без нее. Завтра ждем Адамовича к завтраку.

И. А. все режет рецензии, посылает книги, письма...

3 февраля

Все разошлись усталые после визита Адамовича, а я одна осталась дома с принесенной новой книгой « Современных записок ». Прочла залпом « Воспоминания » Ал. Толстой. Ужасно стало тяжело ! Жизнь так трудна. И вот и в этих записках, замечательно просто и смело написанных, видна эта мука и тяжесть целой семьи, такой неладной и несходной между собой.

С Адамовичем же было как всегда. Он как будто постарел за те 6 месяцев, что мы не видели его. « Чувствую, что старею, приходят последние деньки романтизма и молодости и хочется поскорей захватить что можно, а тут вот надо сидеть в Ницце. Жаль Парижа ! А надо бывать и здесь ! »

За завтраком говорили о Толстом, Достоевском, К.

Леонтьеве и Ходасевиче, о прозе Пушкина. И. А. с распущенными после вчерашней мойки волосами, в новом костюме « дубового » цвета, был очень оживлен и любезен. Адамович говорил, что будто-то бы у Ходасевича в уме есть что-то общее с К. Леонтьевым, который ему в общем не очень нравится. И. А. все обрубал своим решительным: « замечательный человек » !

Заговорили о прозе Толстого и Пушкина.

« Проза Пушкина, — сказал И. А., — суховата, аристократична рядом с прозой Толстого, как может быть аристократична проза Петрония, который все знал, все видел и, если и решил написать о пире, где подавались соловьиные язычки, то не унизится — вы понимаете в каком смысле я говорю это — до изображения и описания этих соловьиных язычков, а просто скажет, что их подавали. А Толстой был слишком чувственен для этого ».

За завтраком Адамович пил только пиво и то немного. Говорит, что пьянеет от первой же рюмки водки. Разговаривая, задумываясь, глядя перед собой остановившимся глазами, оттягивал рукой кожу от щеки.

О Ладинском говорил, что несмотря на все хвалебные рецензии о нем, он все недоволен. Сидит под телефоном в « Последних Новостях » вот так (он, показывая, плачевно подпирает голову рукой) и говорит: « Все равно Блоком не быть ! »

9 февраля

Капитан уехал. Ходили его провожать до автобуса. Были в городе в непривычное время — в половине первого, лавки заперты, все пусто. Очень яркое солнце. И грустно, грустно ужасно . . .

И. А. дома стал тотчас переносить вещи В. Н. в бывшую капитанскую комнату. Он ходит и говорит:

— Вот плох, плох был капитан, а где он теперь ?

А через секунду:

— А капитана мы выдумали. Никакого капитана в сущности нет . . .

Вот еще весна начинается. Пыльный солнечный свет в окнах. Я прожила здесь четыре года. Четыре года !

15 февраля

Все утро, не вставая, писала немного лихорадочно, а тотчас после завтрака пошли с И. А. гулять: день был великолепный, голубой, теплый.

Сделали прекрасную прогулку по каналу. Голый еще ярко освещенный серый сухой лес по горе, фиалки, прелесть травы, земли, грубых домов с живописными большими деревьями над ними.

Выйдя на отлогий сухой скат сели и загляделись. Перед нами была вся гора, составляющая правую часть Горж дю Лу, мягко освещенная, с какими-то теплыми розовато-персиковыми тонами, в темных кустиках, посаженных часто, как украшения на женской юбке, и вся гора походила на часть огромного отлогого, далеко простертого кринолина, сходящего в лощину. Позади были серо-сиреневые, за голубым, тончайшим воздухом горы Ниццы, белая свечечка маяка на мысе Ферра. И была такая тишина, что мы оба точно застыли, вслушиваясь в нее. Слабыми, страшно далекими казались дальние редкие гудки автомобиля.

— Тут понимаешь высоту духовных радостей, — сказала я. — Собственно, чего тут можно желать ? Только смотреть. И приходят мысли об отшельниках.

— Да, связка соломы, кувшин с водой... — задумчиво издалека сказал И. А. Он лежал на земле и смотрел. — И немного грустно и безнадежно.

— Нет, какая безнадежность ! В этом и безнадежности нет. Просто, нет нужды в ней... Отсутствие... всего. Просто видеть. Чего тут можно желать ? Все эти горы пережили и переживут.

19 февраля

Во вчерашнем номере газеты напечатан мой « Поручик Левченко ». Приверстан к другому и набран пе-

титом отчего я теряю франков 50, если не больше. Жаль, но хорошо, что сейчас напечатан. Это меня подбодряет. Перечла и увидела, что это уже почти правильно, почти так как надо. Ничего, надо работать и молчать.

Вчера были Илюша с Федотовым[1]. Он болезнен, худ, редеют прежде должно быть густые волосы, редкая бородка, небольшая бледная рука, глубоко сидящие темные запавшие глазки. Молчалив, нервен, как будто невнимателен, а вскинет глаза и удивишся как они зорко смотрят. Не думаю, что бы ему понравился тон нашего дома и разговоры как И. А. так и Л., который все говорил ему о церквах и старых иконах в Псковской губернии, не замечая, что он как то мало и редко отвечает.

21 февраля

Были на блинах в Клозоне. Фондаминские уступили нам автомобиль, а сами пошли пешком.

В Клозон приехали в половине второго, до прихода Фондаминских, и пошли встречать их по длинной прекрасной дороге среди эвкалиптов. Недалеко от дома встретили их и Федотова. Илюша и Федотов тотчас стали хвалить меня за рассказ, но сказали, что жаль, что написано от первого лица. « Хочется невольно все это отнести к вам и спросить, а что-же сталось с этим Левченко ? » — сказал Федотов.

За столом сидели долго. Кат. Мих. сидела, а Ольга Львовна все подавала и не присела ни на минуту. Они — Марфа и Мария, невозможные друг без друга. Их связывает чуть ли не тридцатилетняя дружба, несмотря на страшную разность во всем. Амалия за столом была заслонена от меня букетом мимозы, чему я втайне радовалась — неприятно думать, что за столом есть человек, которому вид едящих доставляет неприятность, а с ней ведь именно так и есть.

Блины подавались с большими паузами. Ольга

---

[1] Г. П. Федотов.

Львовна бегала вокруг стола, прислуживала, обносила. она уже очень стара, со сморщенным лицом и завернутыми на голове волосами, в черном платье.

— У Великого князя всегда сначала подавали закуски, а потом блины ! — ответила она И. А. на вопрос почему сначала так много закусок. Все засмеялись. Ольга Львовна всегда найдется. Когда она хозяйничала у Мережковских и Буниных на вилле Альба, и кому-нибудь не нравилось поданное блюдо, она тотчас выдумывала:

— Это гуляш по венгерски. Вам не нравится ? В следующий раз приготовим иначе.

Из разговора с Федотовым, сидевшим рядом, вывела следующие заключения. Он декадент, только религиозно-философствующий. Стихи он читает совершенно тем-же декаденским распевом, как и Адамович и Георгий Иванов, которого он, кстати, сравнил с « Петронием в ванне », к моему нескрываемому удивленью.

— Я стараюсь заставить себя смотреть на вещи трезво, — сказал он, в результате нашего разговора о работе над собой. Это для человека его возраста показалось мне недостаточным.

После блинов вышли на минуту погулять. За домом — собачатник. Три отличных породистых щенка, желтых, белогрудых и белолапых. Они стали на задние лапы, опираясь передними о сетку, и так радостно приветствовали меня (я их гладила, трепала щекотала им носы, насколько позволяла сетка) что уходить было жаль. Этакие желтые кувшинчики (когда стоят) !

Обратно ехали с Фондаминскими и Федотовым, без В. Н. и Л., поехавшими в Ниццу. Был редкой красоты сиреневый закат, снежные горы в темно-розовой пыли. Амалия рассказывала, как летала первый раз на аэроплане в 1912 году в Ментоне.

Дома в первый раз вздохнула с облегчением: все чисто, тепло, стол накрыт — Камий вернулась . . .

Вечером И. А. читал мне вслух « Косцов » и « Аглаю ». Последнюю читал особенно хорошо и когда кончил, у меня лицо было мокро от слез. Как пре-

красно написана эта вещь ! И как он замечательно читал ее !

На мой вопрос, он сказал, что много прочел, прежде чем писать ее.

— Вот, видят во мне только того кто написал « Деревню » ! — говорил, жалуясь, он: — А ведь и это я ! И это во мне есть ! Ведь я сам русский и во мне есть и то и это ! А как это написано ! Сколько тут разнообразных, редко употребляемых слов, и как соблюден пейзаж хотя-бы северной (и иконописной) Руси: эти сосны, песок, ее желтый платок, длинность — я несколько раз упоминаю ее — сложения Аглаи, эта длиннорукость... Ее сестра — обычная, а сама она уже вот какая, синеглазая, белоликая, тихая, длиннорукая, — это уже вырождение. А перечисление русских святых ! А этот, что бабам повстречался, как выдуман ! В котелке и с завязанными глазами ! Ведь бес ! Слишком много видел ! « Утешил, что истлеют у нее только уста ! » — ведь какое жестоке утешение, страшное ! И вот никто этого не понял ! Оттого, что « Деревня » — роман, все завопили ! А в « Аглае » прелести и не заметили ! Как обидно умирать, когда всё, что душа несла, выполняла — никем не понято, не оценено по настоящему ! И ведь сколько тут разнообразия, сколько разных ритмов, складов разных ! Я ведь чуть где побывал, нюхнул — сейчас дух страны, народа — почуял. Вот я взглянул на Бессарабию — вот и « Песня о Гоце ». Вот и там все правильно, и слова, и тон, и лад.

И он прочел, опять изумительно, и « Песню о Гоце ».

23 февраля

Птицы стали слышны уже больше недели, а вчера и сегодня проснулась под их нежный свист и переливы. Утро чудесное, весеннее, с теплотой воздуха, которую ощущаешь на лице.

От Алданова очень милое письмо, в котором он извещает, что пособие мне, Л. и капитану все-таки выхлопотано. Вообще-же, пишет он, литература его так тяго-

тит, что « будь место с пятью тысячами в месяц — непременно взял-бы его и бросил литературу ». Жалуется на « зверье, которое пришло и которому принадлежит будущее, да и настоящее ».

28 февраля

Письмо от некоего Олейникова, женатого на сестре Нобеля, с знаменательной фразой о том, что он надеется на « русский обед » в будущем декабре, на котором сможет увидеть Ив. Бунина — нобелевского лауреата.

И. А. несколько взволновался. Он, как и мы все, не позволяет себе зарываться в мечты, которые могут не оправдаться. Но все-же . . .

Заходили прощаться И. И. с Федотовым — последний сегодня уезжает.

Утром читала « Братьев Карамазовых ». Только теперь по настоящему понимаю Достоевского. Несет как Ниагара, утомляешься даже. Странно одно: как-то вдруг чересчур он мне стал ясен, понятна психология каждого героя, почти наверное знаю, что будет дальше, и это без враждебности говорю, а просто — знаю.

С И. А. о нем говорю сравнительно мало. Он начинает волноваться, как-то сказал:

— Я и имя это Алеша из-за него возненавидел ! Никакого Алеши нет, как и Дмитрия, и Ивана, и Федора Карамазовых нет, а есть АВС . . .

Но в то-же время это у него сложно. Достоевский ему неприятен, душе его чужд, но он признает его силу, сам часто говорит: конечно, замечательный русский писатель — сила !

О нем уж больше разгласили, что он не любит Достоевского, чем это есть на самом деле. Все это из-за страстной его натуры и увлечения выражением.

7 марта

Второй день дождь, деревья стоят черные в сыром пару, точно в глубокой воде, и все время вопросительно звенит какая-то птица в саду . . . совсем так, как зве-

нела в первый год мой здесь, в первые смятенные дни, и всякую весну, когда мы приезжали из Парижа и заставали все зеленым, но погруженным еще в какую-то сырую майскую дрему и во всем была такая непривычная и поражающая после города тишина, и какие-то сладкие неопределенные надежды на что-то, что должно было прийти, создаться, написаться в течение этой новой весны и лета...

С утра, вместо того чтобы писать, читаю письма Достоевского. Хочу посмотреть, как он работал. И первые же годы его на литературном поприще показывают, что он был не чета нам. Сколько знал, читал! Пусть все это очень восторженно, тон писем романтизированный, но на то и век был!

11 марта

К Фондаминским приехали гостить Степуны[1], и вчера он был у нас вечером с Илюшей. Два часа они разговаривали с И. А., сидя друг против друга, и сегодня у меня такое впечатление, точно вчера у нас на вилле Бельведер в кабинете И. А. был некий словесный балет. Степун насыпал столько блестящих портретов, характеристик, парадоксов, что мы все сидели, ошалело улыбаясь. И. А. ему достойный собеседник, но в нем нет этого брызжущего смакования жизни, которое есть в Степуне. Он, говоря, даже не может сидеть на месте. Скоро встает и начинает ходить посреди слушателей, наступать, отступать, озирать собеседников, как бы желая прочесть что-то в их лицах. В их разговор вмешивался время от времени только Л., но куда там было! И чего только мы не услышали!

О Достоевском Степун сказал, что у его героев как будто экзема на языке.

— Я все искал в России таких людей — и нет! Двуногих таких нет! Вообще, я бы сказал, что Пушкин и Толстой писали о России, а Достоевский о Германии.

---

[1] Федор Степун с женой.

Германия, по его словам, сейчас вполне сошла с ума. Там героев Достоевского сейчас сколько угодно.

Мы пошли провожать их до виллы Фондаминских. Я шла с Илюшей и не слыхала дальнейшего, но потом мне говорили, что Степун в пух и прах раскритиковал Алданова за его скептицизм.

Между прочим по поводу Степуна у нас вышел большой спор с Л.

Он стал читать перед приездом Степунов « Письма прапорщика артиллериста » и « Николая Переслегина », восхитился и стал говорить, что после Толстого, никто так не писал войну, что С. вообще изумительно талантлив и т.д. Мы с ним соглашались, хвалили С. и все рассказывали о нем и его « Наташе » кто как умел. Я тоже описала ее так, какой она явилась мне в их короткий приезд в Париж, при первом знакомстве: молчаливой, внимательно слушающей, повидимому привлекательной, но очень не по здешнему одетой и выделяющейся этим.

Сегодня Л. вдруг напал на меня за мой « эстетизм » и стал утверждать, что в Степуне эстетизма совсем нет. Я возражала. Мы поссорились.

12 марта

Пили чай у Фондаминских и видели обоих Степунов. Я, описывая Наташу, была права. Одета она была так, как здесь никто не одевается. Но за столом спокойствие ее лица, неторопливость речи и что-то изысканно-ботичеллиевское в движениях рук и в игре пальцев, когда она говорит, опять незаметно погладили меня по сердцу. И все-же нужен большой труд, чтобы связать ее с Натальей Константиновной из « Переслегина ». Все это вероятно невозвратное прошлое, и та Наташа успела не раз умереть в этой.

За столом я сидела подле Степуна, который был так же наблюдающе-весел. Л. сидел напротив с Натальей Николаевной, и я видела, что он чем-то смущен. К Степуну он прислушивался все время почти восторженно, но из разговора, который велся в тот вечер, дол-

жен был выступить для него именно тот образ, который нарисовала ему я и который он отрицал: человек интересный, блестящий, талантливый, но и эстет и в некотором смысле и « кокет », против чего именно главным образом спорил Л. Степун сам на мой вопрос ответил: « Эстетизм — да, это я люблю ».

В нем есть и провалы, « угольные ямы », как он сам выразился о себе, и этакая « порочная барочность » по степуновскому определению Рильке. Вообще он человек « с кудрей » (его же выражение). Сказал, что Белый, особенно в « Серебряном голубе » где-то в последних главах, почти гениален.

И. А., сидевший подле хозяйки, все время спорил с ним то об одном то о другом. Степун рассказывал о встрече с Рильке, — видел его на вечере у Цетлиной, года за два до его смерти. Он произвел на него подлинно-скромное впечатление, но и очень сложное. Они около часа говорили о религиозной философии Рильке.

Кинематографа Степун не любит, зато очень восхищался Художественным театром и Леонидовым.

Вернулись за полночь и сегодня весь дом встал очень поздно. Я проснулась в 8 и видя, что все спят, стала читать в постели « Письма прапорщика артиллериста ». Думала, что хорошего и интересного во всех смыслах много, но и эстетизм, конечно, есть.

16 марта

Вчера Степун опять весь вечер блистал. Они с И. А. точно фехтовали. Почти во всем они несогласны. Записать этот разговор к сожалению невозможно. Слишком это перебеганье, порханье, сложное переплетение. Это были как-бы широкие арпеджии по всей литературно-философской клавиатуре.

Степун рассказывал, как в первые годы большевизма Луначарский сделал его режиссером Показательного театра в Москве. Он ставил Эдипа, Шекспира, за что его потом, через год, и убрали, находя, что его театр « недостаточно демократичен ».

— Эдипа я постарался поставить без декламации.

Я считаю, что в древней Греции декламации не было, и поставил все в тонах литургии.

На это И. А. сказал целую речь, доказывая, что в Греции театр был построен на декламации. Литургия-же могла быть только в катакомбах.

17 марта

Вчера прервали. И вчера же известие от Олейникова. У Эм. Нобеля кровоизлияние в мозг, упал в ванной. Пока жив, но « в течение 10-14 дней должно выясниться, сколько ему осталось доживать ».

И. А. читал письмо за завтраком. С первых-же строк весь покраснел и ударил кулаком по столу:

— Нет ! Вот моя жизнь ! Всегда так !

И, действительно, он не раз говорил, что за этот год что-нибудь непременно должно случиться, что помешает получению премии — или война или еще какое-нибудь событие. Возможная смерть Нобеля, конечно, большой удар. Олейников очень утешает, пишет, что шансы на успех те-же, но все-таки, конечно, это уже не то. Между прочим пишет, что Шмелева тоже выставили. И. А. это почти оскорбило. « Кем ? Да ведь это смехотворно ! »

В общем он так взволновался, что мы предложили ему идти тотчас после обеда к Фондаминским и с ними вместе идти гулять. Пошли. Мы с ним шли впереди. Он был очень взволнован, я тоже, но как-то нашла слова, которые его тронули. Он с жаром воскликнул:

— Да, да правда ! Надо как-то сказать себе: Да будет воля Твоя ! Иначе ничего не сделаешь.

Фондаминских застали за завтраком. Кроме Степунов сидела какая-то сравнительно молодая женщина с круглым румяным лицом, в пенсне, одетая, как курсистка-народница. Оказалась — Скобцова [1]. Мы сказали, что хотим гулять. Все пошли с нами. Дома осталась одна Наталья Николаевна.

---

[1] Поэтесса Кузьмина-Караваева (в будущем Мать Мария).

Доехали до Мужена и оттуда пошли по каналу к Каннам. День был чудесный, теплый, с легким ветром. Светлый чистый канал незаметно уводил за собой, плыл — несся рядом в зеленых берегах, часто перекрытый горбатым мостиком. Воспаленный шар солнца проплывал в сумрачно-голубой воде водоемов. Дальние горы тонули в теплом тумане, стекла оранжерей блестели нестерпимым блеском.

— Тут, какая-то даже чрезмерность предметов красоты, — сказал И. А. в ответ на вопрос Степуна о том, как он чувствует этот пейзаж.

— Для меня это все-же как-то по ту сторону! — говорил С. — Знаете, я написал небольшую вещь, пять страничек только. Флорентинский пейзаж — это Кант. Пейзаж Шварцвальда соответствует романтизму, а русский — символизму.

Л. который, по его собственному выражению, « освободился » от Степуна, говорил потом, что он с каждым постарался пройти известное время, каждого очаровать. Шел он и со мной, спрашивая, что я сейчас пишу, « в сколько листов » и что читаю. О книге моей отозвался, как я и ожидала; « Я в ней темы вашей как-то пока не ухватил. Стихотворения в прозе ? » В Л. он находит сходство с Андреем Белым. « До жути похож глазами ».

В Каннах мы отправили И. А., Амалию и Степуна в английскую кофейную, а сами пошли в бистро перед вокзалом. Там И. И. со Скобцовой, как честные интеллигенты, уткнулись друг в друга над своими чашками кофе и стали усиленно говорить о каких-то партийных делах. Мы, пившие рядом красное вино с сыром, казались отдельно сидящими.

19 марта

Позавчера вечером пришли Брежневы с незнакомым господином и дамой « ясноликой и хорошо одетой », как рассказывал о ней И. А., и попросили свести их к Фондаминским. И. А., который как раз собирался туда, поехал с ними на автомобиле. Вернулся часу в одиннадцатом, несколько взволнованный. Оказалось,

что эти господин и дама прямо из Ленинграда. Он голландец, концессионер, она, его жена — сестра Германовой. Рассказывали о России в таком духе:

Он: (с акцентом) О, у нас все кипит ! Все строится. В сорок дней мы строим город на месте болота. Россия залита электрическим светом, в портах грузятся корабли, вывоз огромный и как все приготовлено ! Как доски распилены ! (и т.д. и т.д.).

Говорили и о писателях. И. А. расспрашивал. О Ал. Толстом они рассказали, что он отлично живет, у него своя дача, прекрасная обстановка, что он жалеет здешних.

— А мы их жалеем, — сказал И. А.

Вообще разговор был грустный. И. А. пришел какой-то потрясенный. Мы все разволновались. « У нас в Ленинграде » — в первый раз за много лет мы это услышали.

20 марта

Дождь. Чувствую себя безнадежно. Не могу работать уже несколько дней. Бросила роман.

Вчера наши ездили с Амалией в Ниццу, а мы с Л. ходили на плато Наполеона и оттуда через лес к мельнице. Набрели на террасы, где под оливками целые гнезда фиалок самых нежных цветов. Собрали изысканнейший букет.

Наши приехали из Ниццы с полными руками покупок, главным образом съестных на понедельничный обед (приглашены Степуны, Фондаминские и Кугушевы). И. А. был очень мирен, нежен. Рассказал очень трогательно о Неклюдове, о том, как он мужественно перенес смерть дочери, даже говорил: « Что-же делать ? Надо жить. Я вот стараюсь развлекать себя, читаю Тютчева . . . и даже испытываю удовольствие . . . »

Сегодня утром вдруг вышел очень серьезный и грустный разговор с Л. о будущем. Уже давно приходится задумываться над своим положением. Нельзя же, правда, жить так без самостоятельности, как бы в « полудетях ». Он говорил, что мы плохо работаем, неровно

пишем, что сейчас все на карте. Я знаю больше чем когда-нибудь, что он прав.

23 марта

День моего Ангела. Вечером будут гости, среди них Степуны. Солнечный облачный день. Проснулась в ровном, смиренном настроении. Думала о маме, о бабушке. Вспоминала Киев, мой счастливый Киев. Не может быть, чтобы сегодня там не думали обо мне. Жива ли бабушка ? Уже больше трех месяцев они не пишут...

29 марта

Вчера вечером ходили с Л. к Степунам разговаривать по поводу Белого. Застали их дома одних, они только что приехали из Марселя, где пробыли сутки. Сели, начали разговаривать о полученном И. А. из Стокгольма обнадеживающем письме Олейникова и только потом Л. перешел к « Серебряному голубю ».

Дома мы с В. Н. всячески убеждали его « не выговаривать » себя, а дать говорить Степуну, и он как будто соглашался. Но на месте нервность взяла свое и он понесся. Степун пытался вставлять фразы, но вначале не мог, преодолел его уже только потом.

Л. говорил все то, о чем мы говорили дома. Что Россия у Белого сусальная, лубочная, что в одной первой главе, в описании села Целебеева, перепутаны все признаки, что много безвкусия и т.д. В конце концов Степун, преодолевая Л., сказал:

— Видите-ли, ведь прежде всего надо поставить вопрос: в каком плане мы будем рассматривать это произведение ? Я, например, читал этого « Голубя » девятнадцать лет назад, но вот до сих пор сохранилось сильное ощущение. На некоторых местах я бледнел и чувствовал, как подступают слезы. А если через 19 лет так помнишь — это уже много !

— Да, а вот перечтите теперь ! — то-то и есть, что бывают такие вещи, что прочтешь один раз и вол-

нуешся, а прочтешь позднее и удивляешся, чему я волновался !

— А почему не повернуть вопрос в другую сторону ? Почему не предположить, что тогда восприятие было правильное, а теперь приемник испортился ? Радио-станция виновата !

Л. показал ему первую главу и стал говорить о спутанных признаках, о лжи в описаниях. Степун стал читать, согласился с одним, с другим, а затем сказал, перебивая сам себя:

— Да ведь это совсем не важно. Поймите, тут не натуралистическое искусство, а как-бы некая инсценировка, условность, иллюзия. Тут Россия несколько принаряженная, сусальная. Вы скажете, что изба там не так или еще что нибудь ? Да это все не важно. Главное — что хотел сказать художник. А это как бы постановка тех предгрозовых лет, когда за картонной стеной, позади, зажжена уже свеча революции...

Потом он говорил, что Белый большая личность, что он отразил воздух своей эпохи — что должно быть непременно со всяким большим художником, что горсть людей, в которой жил Белый жила интенсивней других.

— Что отразил Куприн ? Горький ?... Ничего ! А в Белом весь надлом тех дней.

Я сказала, что не читавши книги, не могу судить о ней, но что фамилии кажутся мне претенциозными, безвкусными: Дарьяльский, Кудеяров. Что-то ложное, ходульное. Тут вдруг вмешалась Наташа, поджав руки и скрестив вытянутые ноги сидевшая рядом, чуть склонив голову прислушивавшаяся к спору:

— А почему-же ? Почему это хуже Печорина, Онегина ? Там реки и тут реки, — сказала она.

— Нет, это совсем другое. Тут есть что-то ложнорусское, оперно ходульное, случайное... да и звук совсем не тот, — пыталась объяснить я.

Но видно было, что мы не убедим друг друга.

— Я люблю в искусстве только надлом, — сказал в конце концов Степун. — Я не люблю классицизма,

Возрождения, Греции. Я не пойду брать с полки Гёте, если мне будет трудно в данный час. Я возьму когонибудь надломленого, пронзительного. Другое искусство мне не интересно. В Белом же, в его припудренном трагизме, я чую его боль, его надлом.

В это время вошел И. Ис. Вид у него был очень усталый — он был в Ницце у больного брата Амалии. Присел ко мне, и я ему вполголоса рассказала домашние новости. В это время Степун и Л. все спорили. До меня долетали уже повторения:

— Да я же говорю, что тут не подлинная Русь, а инсценировка. Так рассуждать, как вы, с точки зрения ученой археологии в искусстве нельзя. Мало ли что в Олонецкой или Псковской губернии... Да о чем собственно предмет разговора? — долетало до меня от Степуна, — Потом надо установить мерки...

— А я все-таки считаю, что все это уже устарело, — уже упрямо говорил Л. — И что мы, пережив войну, увидев смерть близко поняли что-то, чего тогда не понимали. Жизнь уйдет от этого, и я уверен, что выкристаллизуется опять в какие-то ясные формы, в классицизм.

— А я этого не думаю. Жизнь, прежде всего, сама никуда не уходит. Ее делают. А теперь положение таково, что все идет к страшному усложнению. Ну, что-ж. Не в первый раз. Миры уже гибли, дойдя до какой-то точки в своем развитии, — спокойно сказал Степун.

Потом заговорили о вкусе.

— Да ведь вкус меняется, — опять вмешалась в спор Наташа, — в ранней молодости кажется, что красивей какого-нибудь бантика-стрекачем ничего нет...

Я об этом не говорю! — возражал Л. — Но ведь важен не бантик, а то, что за бантиком. И потом вспоминаешь не бантик, а то, что было связано с этим бантиком...

Вышли мы взволнованные. Шли по шоссе, горячо говоря. Ясно было, что тут мы ни до чего не договоримся. Дома стали рассказывать. Все сидели в спальне И. А. так как он провел день в постели. У него грипп.

Л., рассказывая, говорил очень уверенно и горячо. И. А. хвалил его. А я вспомнила, как Степун твердил одно и то же, думая, что его не понимают, об инсценировке...

16 апреля

Вчера после обеда Ф. А. (Степун) и И. А. заспорили.

— Вы вот пишете всякие « Мысли о России », — говорил И. А., а между тем совсем не знаете настоящей России, а все только ее « инсценировки » всяких Белых, Блоков и т.д., а это не годится.

Ф. А. начал говорить о том, что он приемлет и И. А. с его диапазоном, но ему нужен и Белый, и Блок, и его Россия, и его « хлыстовство » (разумея под этим всякое опьянение) и « плат узорный до бровей ».

— Для меня, если я нахожу в Бунине нечто от А до Л, Блок дает мне от Л до Э. Для меня соединение этих двух разных ключей, как в музыке, есть обогащение. Если я приму одного Бунина — я обедню себя... Кроме того, Блок скажет мне что-то такое, чего не достает мне в вас. У вас, например, нет безумия, невнятицы. вы о безумии, о невнятице говорите внятно, разумно...

— Как ! Как ! А Иоанн Рыдалец, А Шаша, раздирающий собственную печенку, а Аверкий, умирающий в пустоте !...

— Вы об этих ваших персонажах говорите разумно. Для меня Вы и Блок как Моцарт и Бетховен. От каждого я получаю что-то иное... И то, что Вы не терпите рядом с собой другого, может быть есть именно только доказательство вашей творческой мощи. Мы нашу справедливость искупаем известным творческим бессилием. А Вы по звездам стреляете — так что же Вам быть справедливым !

Потом И. А. доказывал, что Россия Блока с ее « кобылицами, лебедями, платами узорными » есть, в конечном счете, литература и пошлость.

— Не надо забывать сколько тут идет от живописи, от всяких « Миров искусства », от того, что писали кар-

тины, где земли было вот столько (он показал на три четверти), а неба — одна щель и на нем какая-то лошадь и овин. А России настоящей они не знали, не видели, не чувствовали !

— А я думаю, что если вы — русский человек, то вы один из полюсов русской жизни, — стоял на своем Степун.

Это была кучка интеллигентов, — не слушая, говорил. И. А. — Россия жила помимо нее.

Потом Ф. А. читал — очень выразительно — Блока.

— Теперь я понимаю тайну их успеха, — сказал И. А. — Это эстрадные стихи. Я говорю не в бранном смысле, понимаете. Он достиг в этом большого искусства... — И вообще, если я чувствую в произведении ауру художника это меня уже болезненно ранит. Для того чтобы произведение было вполне хорошим произведением, я должен чувствовать в нем только его ауру — ауру произведения.

22 апреля

Степуны уехали вчера вечером в Париж, Днем Ф. А. заходил прощаться и читал нам свою статью об И. А., критику на « Божье древо ». Сначала сказал, что не разбирает собственного почерка, что, пока не перепечатано на машинке, вообще не может себя разобрать, но видно было, что ему самому хотелось знать наше мнение, а потому, поговорив, он все-таки сел читать. Статья интересная, хотя маленькие измышления есть. И. А. остался доволен.

Вечером И. А. читал нам вслух « Юлиана Милостивого » Флобера, и сам так восхищался, что заражал других. После чтения пошли с И. А. пройтись перед сном. Вышли на Ниццкую дорогу, по которой уже давно не гуляли, прошли мимо виллы Фондаминских.

— Вот уже и уехали Степуны ! — сказал И. А. — Опять отвалился какой-то кусок жизни. Как это сильно в нас — ощущение этого ! И как искренне Степун наслаждается жизнью ! Вот завтра уже будет в Па-

риже, прямо на обеде у Цетлиных, а там и Керенский, и Ходасевич, и Алданов, и Зайцев !

5 июня

Вечером во время прогулки В. Н. сказала, что Катерина Михайловна (Лопатина) днем рассказывала ей о том, как И. А. когда-то был в нее влюблен и каким он был. И. А. рассказал:

— Мне тогда шел двадцать шестой год, но, конечно, в сущности мне было двадцать. Однако Катерина Михайловна вовсе не была « взрослей » меня, хотя ей было 32-33 года и выросла она в городе. Она была худая, болезненная, истерическая девушка, некрасивая, с типическими для истерички звуком проглатыванья — м-гу ! — звуком, которого я не мог слышать. Правда в ней было что-то чрезвычайно милое, кроме того она занималась литературой и любила ее страстно. Чрезвычайно глупо думать, что она могла быть развитей меня оттого, что у них в доме бывал Вл. Соловьев. В сущности знала она очень мало, « умные » разговоры еле долетали до ее ушей, а занята она была исключительно собой. Следовало бы как-нибудь серьезно на досуге подумать о том, как это могло случиться, что я мог влюбиться в нее. Обычно при влюбленности, даже при маленькой, что нибудь нравится: приятен бывает локоть, нога. У меня же не было ни малейшего чувства к ней, как к женщине. Мне нравился переулок, дом, где они жили, приятно было бывать в доме. Но это было не то, что влюбляются в дом оттого, что в нем живет любимая девушка, как это часто бывает, а наоборот. Она мне нравилась потому, что нравился дом... Кто я был тогда ? У меня ничего не было кроме нескольких рассказов и стихов. Конечно, я должен был казаться ей мальчиком, но на самом деле вовсе им не был, хотя в некоторых отношениях был легкомысленен до того и были во мне черты такие, что не будь я именно тем, что есть, то эти черты могли бы считаться идиотическими. С таким легкомыслием я и сказал ей однажды, когда она плакалась мне на свою любовь к X:

« Выходите за меня замуж . . . » Она расхохоталась: « Да как же это выходить замуж . . . Да ведь это можно только тогда если за человека голову на плаху можно положить . . . » Эту фразу очень отчетливо помню. А роман ее с X был очень странный и болезненный. Он был похож на Достоевского, только красивей.

В. Н. — Все-таки она думала, что И. А. больше в нее влюблен. Она была очень задета его женитьбой через два месяца после предложения ей. Ведь это было в июне, а в сентябре он женился.

И. А. — Да, и тоже был поступок идиотский. Поехал в Одессу и ни с того ни с сего женился. А о Катерине Михайловне думал потом с ужасом: что бы я с ней делал ? Куда бы я ее взял ?

Он еще рассказал между прочим, что когда Кат. Мих. смеялась над ним, он как-то сказал ей: Вот увидите — я буду известен не только на всю Россию, но и на всю Европу !

12 июня

Вот уже около недели Илюша ходит к нам обедать и всякий раз бывают значительные разговоры за обедом, а больше всего во время вечерней прогулки, которую он теперь делает с нами. Большей частью разговоры бывают исторически-политические. Вчера ходили на новый бульвар на другую сторону Грасса. Ночь была душная с низко спустившимися тучами, почти закрывшими голые верхушки скал плато Наполеона. Деревья и кусты дико рисовались в тумане, искры светляков вспыхивали ежесекундно то там, то здесь — их было так много, что их немой танец производил почти мистическое впечатление. Чем дальше мы шли — тем все казалось глуше и диче. Несмотря на то, что разговор, который вели Илюша и И. А. был мне очень интересен, я временами прерывала их, желая обратить их внимание на таинственные темные горы, кое где светящиеся расплывчатыми огоньками редких домов. Говорили о Витте и о Столыпине. Илюша рассказывал о возникшей у него с П. Б. Струве переписке по поводу

брошюры Струве « Витте и Столыпин ». По мнению Илюши, Столыпин, невзирая на все свои качества, был слабее Витте, который умел проводить в жизнь то, чего хотел, а это, говорил он, в политическом деятеле самое важное. « Политический деятель должен быть прежде всего практиком ! » говорил Илюша. « Какой бы замечательный план не сделал архитектор, он ничего не стоит, если дом, построенный им, рушится ».

2 августа

Виделась в Каннах с Сориным. Встреча была условлена в кафе под платанами. Я не узнала его, хотя он издали поднялся мне навстречу от столика, за которым сидел с двумя молодыми американками, портрет одной из которых пишет в данное время. Он сбрил усы, похудел и от этого помолодел и стал похож на актера. Стали видны его длинные желтые, чересчур правильные зубы, вряд-ли свои. От смущения он все время ульгбался.

Когда американки ушли мы пошли на мол, где немного посидели на скамейке. Он был как-то умилен, растроган, уверял, что не смел писать т.к. мои письма смущали его тем, что были так « великолепно написаны », что совершенно неправда. Портрет мой остался в Америке, он собирается в январе выставлять его. Говорил, что приделал какую-то не то повязку, не то шапочку на голову. Говорил о кризисе, о безденежье, о том, что теперь никто не покупает картин, и ему надо будет продавать бумаги. Интересовался нашей жизнью и обо всех расспрашивал. Взял мою руку, лежавшую на спинке скамейки, посмотрел и с кривой улыбкой сказал: « Вот рука, которая мне не удалась ! » « Почему не удалась ? » возразила я. « Она у вас хорошо написана ». « Нет, я не о том — не удалась ! » все с тойже усмешкой сказал он.

21 августа

Печатала под диктовку И. А. фельетон о принце

Ольденбургском. Еще раз подумала о том, как тщательно он работает, как правильно ставит всюду знаки препинания, как выработан у него каждый кусок, каждая фраза. На это-то у меня почти постоянно и не хватает терпения.

Главное, что часто изумляло меня в И. А. — что он бывает удивительно смиренен в своем ремесле. Возьмет маленький кусочек и выполняет его с почти педантической тщательностью. А потом оказывается, что собрание таких кусочков дает блестящий фельетон. Часто я сама дивлюсь скромности его требований, я в сравнении с ним нетерпелива, требовательна, хочу все чего-то огромного... а он напишет что-нибудь крохотное и радуется сам: как хорошо написал!

Это изумительная черта в таком гордом, нетерпимом часто человеке.

4 октября

Ночь прошла тревожно. У И. А. поднялись боли в боку, он перепугался и разбудил В. Н. и меня. Говорил, что ему очень плохо, читал лечебник, был уверен, что это апендицит. В. Н. совсем сбилась с ног. Она так малокровна, что, не поев утром, чувствует почти обморочную слабость. И чего только не было перерешено за ночь! И ехать в Ниццу в лечебницу, и звонить доктору-французу, и наконец ехать к знаменитому Эльсницу. Но утром он просто позвонил нашему доктору Мааку и вызвал его. Как тревожно, бестолково, суетливо он болеет! Смотреть и больно и смешно в то-же время. А вчера вечером еле отговорила его идти на ярмарку, которой, как потом оказалось, и не было — всего два-три балагана открыто.

6 октября

Встала раньше обычного и писала до завтрака. Не очень напряженно, не очень удовлетворительно, но все-таки кое-что обозначилось.

Читаю: « Живого Толстого », письма Мансфильд и « Байрона » Моруа, не считая всех газет, которые надо просматривать.

И. А. весь день лежит, читает: ему много лучше. Он добрый, милый.

После чая, дразня Л., писала свои и его недостатки на отдельные бумажки. Он взял обе и спрятал, сказав, что это пойдет в его архив.

8 октября

Встала в 7, писала до 10 с большим напряжением. Переписывала главу « Свадьба ». Как будто выходит живо. Во всяком случае в первый раз за долгое время некоторая свобода в том, что пишу. Устала рука, и время так блаженно-незаметно пролетело, а чего мне теперь еще желать ? Потом печатала старые 1901-го года рассказы И. А. с его вычеркиваниями для газеты: « Только раньше дай мне слово, что зачеркнутое читаться не будет. Я прошу, ради Бога. Честное слово ? »

Таким манером он вычеркнул почти все из его рассказов в 5, 6 страниц, делая 2, 2 ½. Печатая то, что я так хорошо когда-то знала, как, например, « Надежду », которую даже переписывала когда-то гимназисткой, я думала о том молодом, еще неопытном и умилительном, что есть в этих рассказах. Тогда ему было столько лет, сколько мне теперь.

У Катрин Мансфильд. Очевидно, у известного класса людей есть все-таки нечто общее во взгляде на мир. Я писала здесь недавно: « У одних маргариток веселое выражение, у других удивленное ». У нее вдруг: « marguerites étonnées ». Это так поразило меня, что я тут же написала на полях книги: « у меня », чего обычно не делаю.

9 октября

И. А. сам принес и прочел нам найденную им во французской газете заметку о том, что Нобелевская

премия в этом году назначается секретарю шведской Академии, поэту, умершему в апреле этого года. Расстройство его — для него это удар т.к. он больше всех надеялся на премию — выразилось только в том, что он пошел в город за газетами и немного возбужденнее обычного говорил: « Ведь тут дело даже не в деньгах, — говорил он, — а в том, что пропало дело всей моей жизни. Премия могла-бы заставить мир оборотиться ко мне лицом, читать, перевести на все языки. Если же в этом году, когда за меня было 7 профессоров с разных концов мира, и сам Массарик, глава одного правительства вмешался в это — не дали премии — дело кончено ! »

10 октября

Настроение грустное. И. А. расстроен. Премию шведу дали как-то чересчур поспешно, все газеты дивятся и неодобряют. Сегодня было письмо из Стокгольма от Олейникова, еще ничего не подозревающего. Видно это сделано под шумок от Нобеля. « Видно надо смириться, — говорит И. А., — остаться тут на всю зиму, работать, писать. Вот и денег совсем нет. Что-же делать ! »

13 октября

С утра разбудил дождь. Продолжаю писать, хотя временами как во сне.

И. А. со времени получения известия о премии обложился своими « молодыми » сочинениями и сел за работу. Вычеркивает, исправляет, надписывает. Неудачи заставляют его крепче собираться. Это замечательная в нем черта, молодая.

В. Н. плохо поправляется. Малокровие ее не излечивается, да, правду сказать, и время очень трудное.

15 октября

Вчера день рождения В. Н. Она его скрывает, но в прошлом году сказала мне. Я видела, что она грустна,

что нарочно одета как можно небрежнее, чтобы не догадались, и мне стало жаль ее.

Я уговорила И. А. поехать в Канны, проводила его и, кое-чего купив, устроила маленькое чаепитие с В. Н. и Л. Мы выпили полбутылки Медку. На середину стола я поставила разноцветно-яркие виноградные листья. Мы посидели, поговорили о моей предполагаемой поездке в Париж, которая, кстати сказать, кажется не состоится, сейчас по крайней мере.

Шассэн[1] прислал И. А. очень горячее и беспорядочное письмо. Оправданием тому, что дали премию Кальгрену, служит будто-бы только то, что положение его семьи очень тяжелое. Но почти все возмущены. Геберс давал читать « Жизнь Арсеньева » в корректуре « кое-кому » и все нашли, что это шедевр. « Если бы не К. все шансы были бы на вашей стороне ». Геберс думает, что премию дадут Бунину непременно на будущий год.

Письмо от Амалии очень нежное. Приглашает И. А. к себе в Париж. На потерю премии смотрит как на общее несчастье.

Байрон писал в 1821 г. когда ему исполнилось 33 года:

Par la route de la vie, sombre et sale,
Je me suis traîné trente-trois ans.
Et que m'ont laissé ces années ?
Rien — sinon trente-trois ans.

В это время им были уже написаны Чайльд Гарольд, Корсар, Лара, Манфред и несколько песен Дон-Жуана. Он был знаменит на весь мир, у него было трое детей — от разных женщин — он был богат. Неужели ничто не спасает от ощущенья напрасности своей жизни ?

---

[1] Серж де Шассэн — французский журналист в Стокгольме.

16 октября

За утренним кофе Л. вдруг объявил, что кончил роман, оборвав его на расстреле солдата. Надписал красными крупными буквами: « Умиление сердец ». Писал два года.

Я уезжаю в Париж, вероятно, на будущей неделе.

17 октября

Днем ходили с В. Н. и Л. гулять. Фиговые деревья светят желтыми листьями по террасам. Начинают кое-где зацветать розы.

Вечером рассказывала И. А. подробности о смерти Байрона. В 36 лет у него были седые локоны, а когда вскрыли череп — мозг оказался как у старого человека. Байроны умирали в 36 лет. Греческая его эпопея в сущности только большая инсценировка, желание какого нибудь действия.

19 октября

И. А. говорит, что у него бывает теперь временами огромное физическое и душевное отчаяние. Причины не совсем ясны, но повидимому — невозможность писать, нездоровье, боли в руке и в боку, горло. Ему надо было-бы поехать в Париж, переменить место, но он говорит, что не может себе представить ночи в отеле. Одному страшно.

23 октября

В саду шумит затяжной дождь. Вдруг стало темно и холодно. Сегодня день рождения И. А. он старается побороть грусть по этому поводу, занять себя работой, — что-то пытается писать у себя в кабинете. Л. читает, сидя у себя у окна и говорит, что ему скучно. Действительно в такие дни не знаешь чем занять себя после обязательного утреннего писания, когда хочется подвигаться, переменить место, а на дворе дождь и сидишь, как в крепости.

Мы последнее время увлеклись расчисткой верхнего сада. Чистили склоны, засаженные мясистой зеленью. Л. из камешков делал бордюры к клумбам, обрезал кусты, выкорчевывал ежевику. Мы выкатили из под фиги лежавшую там провансальскую жáру[1] и с трудом — она очень тяжелая — на боку докатили ее до спуска в нижний сад, где поставили на площадку. Теперь ее видно снизу. Сзади большой куст пампасской травы, сейчас украсившейся серыми точно из нечесанной пакли метелками. Последние дни мы работали часа по три, почти молча. Такая работа как-то очень примиряет с жизнью. Пока не начнешь, кажется, что делать нечего, а начнешь — всюду видишь работу.

Что-бы было уютнее занавесила моей красной, в зеленых листьях занавеской окно и в нем мрачный, погруженный в преждевременную сизую ночь, мокрый шумящий сад. Мы только что напились чаю, а перед тем ходили с И. А. в город, невзирая на погоду. На всех тротуарах стоят глубокие лужи. В саду Монфлери от влаги резче выделилась и стала красней рыжая нападавшая хвоя и зеленей трава и мох рядом. На каменном намокшем парапете большой трезубец — великолепный блестяще-желтый фиговый лист.

Купила бутылку Медку к обеду, чтобы выпить по стакану в честь И. А. Будет жаркое из кролика.

Вечером сидели у меня. Л. прочел вслух рассказ Чехова « Беглец ». Как полезно перечитывать Чехова, Толстого ! Мы все-таки забыли, что такое неприкрашенная Россия, а она вот какая ! Уверена, что Шмелев, который разводит о ней такую патоку, если бы хоть раз вздумал перечесть Чехова, постеснялся бы потом взяться за перо. Его, потонувшая в пирогах и блинах Россия — ужасна.

Не понравилось нам только то, что Пашка у Чехова упал в обморок на крыльце под окном доктора. Врядли это могло быть с крестьянским, в сущности здоровым

---

[1] Большой глиняный кувшин, в котором в Провансе хранят оливки.

мальчиком. А описание больницы и то, как он ел-лучше нельзя !

13 ноября

Ходили втроем гулять по каналу. И. А. рассказывал о своей первой книжке стихов, которая вышла как приложение к « Орловскому вестнику ». Ему было лет 19. Обложка книжки была из бумаги, на которой чередовались: китаец, домик, мостик. « Одним словом вроде той, которой оклеивают в некоторых местах уборные. Редактор « Вестника » был, конечно, человек сумасшедший. Представьте себе, кому нужна была эта книжка в Орле ! Но за нее дали мне 40 рублей, а мне хотелось шляться, вот я и взял ».

— В вас действовал верный инстинкт. Вам тогда нужно было шляться, — сказала я.

— Да, конечно И. А., — сказал Л. — Вот мне, например, как было бы полезно, если бы деньги, сесть в поезд и поехать куда-нибудь в Бургундию или даже по Провансу.

— И очень жаль, что я тогда шлялся, — сказал И. А. — если бы я тогда не терял времени и во время учился, работал — чего-бы мог наделать !

— Как ! — воскликнул Л. — Да ведь надо работать над чем то ! Ведь то, что вы тогда ездили дало вам потом материал для работы !

— В молодости, когда чувства и душа недостаточно развиты, видимое чаще всего подавляет. Для того чтобы почувствовать, надо тоже быть в известном возрасте.

Мы вышли на обрыв и сели на камни, глядя вниз, где в голубом тумане делала петлю дорога и широко, до моря, разлеглась долина, усеянная россыпью белых домиков. Позади были горы — оттуда стукнул выстрел.

— Вот разве я когда слышал, как отец стреляет — разве я мог почувствовать этот выстрел, то, что он сначала как бы ударился во что-то, а потом разорвался . . . и многое другое, что бы я добавил сейчас, и чего не мог бы разобрать тогда, — снова заговорил И. А. — Вооб-

ще, пока человек молод и неразвит, его или подавляет виденное или напротив так изумляет, что он ничего не может о нем сказать. Пока человек не вышел из чего-нибудь, не возвысился над ним — не он владеет им, а оно им. Все настоящее начинается собственно с 33-х лет.

— Поэтому И. А., я думаю, лучше всего писать не о себе. Молодому автору лучше быть подальше от себя, — сказал Л.

— Ну отчего-же ? Напротив, все делали как раз так. Сначала пишут о себе.

— Ну тогда надо как-то очень изменять.

— А Толстой ? Очень изменить — вместо Левочка назвать Николенька.

— Почему вы, И. А. так мало ездили по России ? Вот это ваша ошибка, вы должны были бы все объездить.

— Да ведь это вам, когда вы потеряли Россию, все представляется так. А мне что же ? Когда есть свой дом, в некоторые комнаты и не думаешь заглядывать. А когда потерял — кажется всюду бы пошел. В Париже вон все бегут осматривать Нотр-Дам, а в Москве разве кто-нибудь ходил в Кремль ?

— Я в Париже не видела могилы Наполеона, до сих пор не была в Инвалидах, — сказала я.

— И ничего не потеряла, — ответил И. А. — Более неудачно устроить могилу Наполеона нельзя было. Это производит не больше впечатления чем кафельный пол в уборной.

10 декабря

И. А. подписал контракт с англичанами на « Жизнь Арсеньева ».

После обеда, сидя с И. А. в его кабинете, разговаривали о Петрарке. Он перечитывает книгу о нем и попутно делится со мной своими мыслями. Читал мне его сонеты. Пробовал рисовать внешность Лауры. Говорит, что думает, что в большой степени все эти сонеты были литературой, жизни в них мало, и что Петрарка был средний поэт, и только торжественный и горестно-

величавый звук в его собственных словах о смерти Лауры убеждают его в ее подлинном существовании. Она умерла от чумы утром 6 апреля 1348 года и в тот-же день вечером была погребена.

14 декабря

Вечером у меня в комнате И. А. говорил:

— Ну как это перевести « скиглит чайка ? » А ведь как выражено !

— Да это просто звукоподражание, — с легким презрением сказал Л.

— Да, а вот как выражено ! Это именно эти звуки (он показал голосом, как кричит чайка). А вот например: — « За байраком, байраком, — в поли могила. — Из могилы встае — казак сивый, похилий. « Похилий » — как сказано ! А перевести нельзя. Я пробовал переводить Шевченко. Не то ! Так же и поляков. Самые близкие « смежные » языки труднее всего поддаются переводу. Происходит это оттого, что они еще слишком близки к природе, они еще в диком состоянии — откуда и их прелесть — и при переводе не входят в семью языков, культурно развившихся.

16 декабря

Холодно. Топят печку только на лестнице и от этого особенно холодно внизу. Столовая кажется еще холоднее от белой холодно-блестящей клеенки на столе. Цветы в саду стали бледными, слабыми. Ночью я не могу согреться, несмотря на три одеяла. Мне снятся какие-то холодные горькие сны. Мы слишком много бываем только друг с другом и совсем не видим людей. День серый, мутно-зимний. Утреннее солнце не удержалось. Вчерашние чайки в Каннах, выстроившиеся на деревянном помосте на берегу, предчувствовали непогоду правильно. Ночью было бурно. А часа в два стояли с И. А. на конце мола в Каннах и смотрели на порт, на выстроившиеся над нами дома, на ряды белых с толстыми глиняно-желтыми трубами яхт. День был

прекрасный, немного грустный от пестрых красок, от карусельной музыки, несшейся с берега — вдоль порта выстроилась ярмарка. Только чайки спокойно сидели и покачивались на волнах.

22 декабря

В воскресенье ездили в Канны в церковь. Я с давно неиспытанным наслаждением слушала службу, рассматривала теплый от красного ковра светлый храм, расписанные цветные стекла на белых стенах, запрестольную живопись. Когда кланялась — огоньки точно сходили со своих свечей; выпрямлялась — они опять вспархивали обратно. Когда дьякон читал Евангелие, мальчик, стоявший подле него со свечей, был похож на какого-то, виденного на картине, итальянского: пригнув голову, с толстой белой свечей в руках, он стоял в своем стареньком парчевом балахоне, смуглый черноглазый, очень красивый. Когда он подошел затем к свечному ящику, неподалеку от нас и, сдавая просфоры, стоял ко мне спиной, я увидела, что между лопатками его подрясника вышит в сложных крыльях маленький с сердитым лицом ангелочек. Когда он пошел обратно в алтарь, увидела на свету, что он весь золотой от смуглого пуха, покрывавшего его лицо, шею и детскую руку.

Дата неизвестна

После обеда И. А. читал нам в кабинете те небольшие кусочки, над которыми работал последние дни. Читал как всегда превосходно, оттеняя голосом всё главное. Особенно понравился отрывок про петербургского студента.

После обеда мы с И. А. ушли в конец сада и сели на скамью. Всходила луна. Ночь была облачная, прохладная. Начали говорить о писании.

— Ведь из чего иногда создается то блестящее, что так восхищает ? — говорил он. — Из какого жалкого, пустяшного оно большей частью выходит !

— А из чего создалась у вас « Чаша жизни » ? — спрашиваю я, вспоминая только что прочитанные вслед за « Студентом » отрывки из нее.

— То что у каждой девушки бывает счастливое лето — это между прочим вспомнилась сестра Машенька. Перед замужеством она все выходила в сад, повязывала ленточку, напевала лезгинку. А после замужества, когда на год оставила мужа, помощника машиниста, то тоже как-то повеселела, часто ездила на заводы в соседнее именье Колонтаевку, там была сосновая аллея, как-то особенно пахло жасмином в то лето . . . Эту аллею я взял потом в « Митину любовь », и так все это было жалко и горестно ! А мордовские костюмы носили барышни Таубе, и там же был аристон и опять эта лезгинка . . . Отец Кир ? Отец Кир . . . это от Леонида Андреева. Ведь он мог быть таким, синеволосый, темнозубый . . . А кое-что в Селехове — от брата Евгения. И он тоже купил себе граммофон и в гостиной у него стояла какая-то пальма. А главное, отчего написалось все это, было впечатление от улицы в Ефремове. Представь песчаную широкую улицу, на полугоре, мещанские дома, жара, томление и безнадежность . . . От одного этого ощущения мне кажется и вышла « Чаша жизни ». А юродивого я взял от Ивана Яковлевича Кирши.

— Кто это ?

— Его вся Россия знала. Был такой в Москве. Лежал в больнице и дробил кирпичем стекло. И день и ночь, так что сторожа с ума сходили. И когда он спал, неизвестно ! И вот валил туда валом народ, поклонницы заваливали его апельсинами, а он жевал их, выплевывал и прямо в поклонницу, — в какую попадет, та считает себя особенно отмеченной и счастливой. Когда он умер везли его через весь город, он долго стоял в кладбищенской церкви. Я себе очень хорошо представляю это: осень, листья в лужах, ледяная кладбищенская церковь, и он все стоит, и его не могут похоронить, потому что церковь осаждают пришедшие поклониться . . . И вот, так как жрал он много и был грузен и долго стоял, то быстро лопнул и текло из него так,

что под гроб пришлось поставить тазы, и вот представьте себе ! эти поклонницы, разные купчихи, кинулись, давя друг друга, с тем, чтобы обмакнуть вату в эту сукровицу и унести к себе домой.

— Что за гадость !

— Да, да и было это всего 70 лет назад. Да вообще у нас в России такие вещи бывали . . . И дурак я, что не написал жития этого « святого ». У меня и материалы все были.

— Да напишите, как рассказываете !

— Нет, это не то. Там стихи его были. Да и надоело мне это. Я в этом роде уже писал.

— А как разно сложилась жизнь ваша и Машина, — сказала я. — Вы объездили полмира, видели Египет, Италию, Палестину, Индию, стали знаменитым писателем, а она никогда никуда не выезжала из России, не была ни в одном большом городе, вышла замуж за помощника машиниста . . .

— Ужасно ! Ужасно ! И вот есть какое-то чувство виноватости перед ней. Жизнь страшна, непонятна. Вот я сажусь в кавказский экспресс, идущий на Баку, а он такой, каких, наверное, и у английского короля нет: стекла саженные, весь какой-то литой, блиндированный, в первом классе желтые кожаные сиденья . . . и вот станция Грязи. Я схожу, встречает меня муж сестры Маши, рвет из рук чемодан и почтительно и родственно вместе с тем, улыбается, целуется . . . И вот идем мы через буфетный чертог и все поглядывают . . . Все знают, что этот господин зять здешнему помощнику машиниста. И так идем через местечко и все тоже смотрят, все знают . . . И так приходим в домик . . . А там Маша, нервная, худая, часто курящая, и двое детей, жалких, большеухих, как котята какие-то. И мамочка живет с ними . . . Ах страшна жизнь !

А ночью, чуть горит прикрученная лампочка и из комнаты, где я сплю, слышно, как вдруг, сев со сна на постель, громко расплачется, зальется ребенок: Бабушка ! . . и сейчас же сонное шлепанье ее ног и шепот . . .

А потом она закуривает над лампой, и фитиль вспыхивает, вскинется наверх...

— Ах, знаю, знаю эту жизнь! Видела в Смеле, в Здолбуново.

— Здолбуново, Смела, все это юг, там тополя, белые дома, а тут грязное пыльное уныние... Но не надо, однако, представлять себе эту жизнь чрезмерно ужасной. Днем, Машенька, бывало, весела, напевает, а вечером я накуплю всякой всячины, вина, сыров, сардин великолепных, она выпьет, да возьмет гитару, да сядет в каком-нибудь мягком платке на плечах, да начнет что-нибудь по-отцовски... Она умница, талантливая... и вполне сумасшедшая, конечно. А то бывало пойду на вокзал, спрошу себе бутылку красного, сяду, лакей подает — и косится... Все знают, что этот отлично одетый господин приехал к помощнику машиниста. А иногда и Машенька придет со мной в бархатной шубке, такого какого-то рытого бархата... Ах, как все это страшно и жалко...

Говорил он все это изумительно, медленно, как будто видя перед собой, и так, что у меня сердце сжималось от жалости. И слушая его я все смотрела на туманное небо, туда, где рваные перламутровые облака медленно смыкались, как медуза, собираясь поглотить тусклую, смертельно грустную луну...

— Все это непременно надо написать, — сказала я.

— Как это написать? Страшна, сложна моя жизнь. Ее не расскажешь — грустно твердил он...

24 декабря

Были хорошие вести из Швеции. Геберс хочет издать еще две книги и если будет дальше « Арсеньев » — прямо с рукописи. Кроме того он устраивает американское издание. По случаю хорошего настроения пошли все вчетвером гулять.

Вечером говорила с И. А. об « Арсеньеве ». В сотый раз уговаривала писать дальше с того места, на котором он остановился. Глава о Вел. князе в гробу — только отступление. Все его мучения происходят отто-

го, что ему кажется будто надо снабжать следующую книгу каким-то объяснительным предисловием: вот, мол, в какие маленькие пустяковые вещи выливается жизнь человеческая. На это он тратит все попытки, а надо просто писать дальше. Его почему-то восхищает то, что я говорю ему: « пишите и не думайте о возвышенном. Когда будет надо, когда придет время — оно само явится ». Для меня это так ясно, что я даже не знаю, как объяснить это ему. Но мне почему-то показалось сегодня, что он, наконец, проникся этим. А как только он впишется — все само собой станет на места.

Жозефа сегодня вечером у нас не будет по случаю сочельника. Будем ужинать холодными кильками и рыбой. Думала было пойти на полуночную мессу, но не знаю пойдем-ли.

31 декабря

И. А. писал весь день. Решено никак не встречать Новый год. Мы втроем ходили гулять, проходили больше трех часов, прогулка вышла неудачная т. к. В. Н. повела нас в Сен-Жак, где места напоминают фабричные предместья, и потом мы должны были выбираться оттуда.

В сумерки лежала у себя и читала « Тяжелые времена » Диккенса.

Пришли вечером с И. А. с гулянья, кипятили воду в элект. машинке, собираясь пить ее с красным вином. И. А. как всегда ходил, убирал с окна блюда с рыбой, с котлетами, сердясь, говоря, что иначе все это до завтра « пропадет » в натопленной кухне. Выпили по рюмке вина в комнате Л., чокнулись. Это было все.

17 января 1932

Фондаминские приехали. С ними Федотов. Илья Исидорович пришел с ним вчера вечером. В первый раз увидела, что Илюша постарел и даже поседел. Его утомила парижская жизнь. Последнее время он уж очень шумно жил и уж очень его ругали в газетах и

на собраниях за « Новый Град ». По его словам Цетлины переехали в Лондон и главный литературный салон закрылся.

Федотов тихонько, не вмешиваясь в разговор, сидел в кресле.

И. А. вчера подписал контракт с Норвегией на две книги. Аванс будет — пять тысяч.

20 января

Ездили вчера в Ниццу хоронить старика Ладыженского [1]. Похороны были на кладбище Кокад, где мы еще ни разу не были, в 4 часа дня, серого, сырого, с перепадающим дождиком. В церкви было уже полутемно, в окна смотрел серый сумрак. Стоя у стены и глядя на закрытый желтым покровом и цветами гроб, в котором должен был лежать тот милый, добро улыбающийся старичек, которого все мы называли почему-то « Володей », хотя ему было 72 года, я думала о том, что неизбежно, непреложно настанет тот час, когда каждый из нас, а значит и я, будет лежать так под крышкой, закрытой парчей, и над ним будут читать страшные и горестные слова последних молитв. В первый раз я вслушалась в слова отпуста, — они показались мне страшными. (Вообще, кажется, впервые в этом году я начинаю с л ы ш а т ь в церкви).

Когда вынесли гроб и понесли его по узкой, поднимающейся вверх дорожке к последней террасе, где склеп Ладыженских, усилился мелкий грустный дождичек. Мраморные кресты и белые фигуры кладбища както сонно глядели на нас. Привратница, приветливая, миловидная женщина в черном, с повязанной белым платком головой, держала подносик с землей. Мы все, один за другим, проходя, бросали по щепотке ее в открытое отверстие склепа, где стоял гроб. В. Н. бросила туда и пучек васильков. Потом все стали быстро прощаться. Море за вершинами кипарисов стало совсем

---

[1] Писатель В. Ладыженский.

серым, дождь сеял, было сумрачно, грустно... Возвращаясь, мы говорили в автобусе о том, что Володя был очень добрый и что его очень жаль. Вернувшись все подробно рассказала И. А., который не ездил с нами.

Из службы очень поразили меня слова о « нестареющем блаженстве ». Стоя в церкви, я думала о том, что нам, нашему возрасту, пришлось как то круто. Ведь наши предшественники в 30 лет не думали о том, о чем теперь должны думать мы, жили себе свою жизнь, в то время как мы, насильственно принуждены жить все время в атмосфере беспрестанных смертей. Дожидаясь прибытия тела, мы с Л. обошли все кладбище. Нигде я не видела такого собрания самых лучших отборных фамилий России, и почти все это за последние два года ! Эмиграция вымирает. А мы ничего этого не видели, не знаем, и сама православная церковь, облачение, становится для нас какой-то редкой экзотикой.

На И. А. как всегда подействовали наши рассказы, но более смягченно, чем можно было думать. Вечером он ходил один гулять и говорил мне потом, что ему было очень грустно.

— Какая ночь мягкая, с мраморным небом ! — говорил он. — Я ходил, там подле английской церкви кто-то играет на фисгармонии. И как грустно !

— С сегодняшнего дня для Володи уже все вошло в обычное, — говорил он, ходя со мной сегодня по саду после завтрака. — Я себе представляю, что он вчера лежал, лежал, а под утро как-будто задремал и вот уже вошел в обыкновенное... в вечное.

28 января

Некогда было записывать. Все-таки с приездом Фондаминских жизнь изменилась: то они обедали у нас, то мы ходили с ними гулять. Позавчера сделали прежде казавшееся таким невозможным путешествие пешком в Клозон — туда и обратно выходит километров 18, а может быть и больше. Пошли с утра (конечно без И. А.), завтракали по дороге в каком-то кабачке, в плетеной беседке. Горы в снегу вдали, яркий сосновый лес,

голубое небо, солнце, тишина, влажные дуновения, — все было прелестно. Но особенно хорошо стало когда удалились от дороги и пошли прямо через пустынные лесистые холмы, в конце концов и выведшие нас к Клозону, где нас не ждали, и сестры были немного не в духе, т.к. у них был в этот день неприятный разговор с владельцем дома, желающим чтобы они уехали.

Всю дорогу туда и отчасти обратно Федотов рассказывал мне о монастырях, о разных французских городах, где он бывал. Он хорошо знает Францию, объездил часть ее с женой на велосипедах. Он читает в Сергиевском подворьи в Париже лекции по истории церкви, специальность же его Средние века, поэтому есть что рассказать о французской старине.

В Клозоне — щенки, с сердитыми морщинистыми, в висящих складках мордочками « старых сенаторов » (как сказала Кат. Мих), наброcанные, напластанные как попало подле недовольной таким сборищем чужих людей Занки. В доме холодно. Мы с Л. вышли и посидели под соснами на солнце в виду солнечных холмов, без конца чередующихся до горизонта. Вид изумительный, особенно же хорошо то, что на первом плане стволы отбегающих сосен, колючий кустарник, а за ними уже скат и холмы, холмы.

Перед чаем сидели на ступенях запертой часовни, где стоят гробы владельцев Клозона. Илюша, прикурнув черной с кое-где перевивающими эту черную глянцевитость серебряными нитями головой к Федотову, как будто дремал на солнце, и никак не был расположен отвечать на вопросы Л. (разговор шел о тех временах, когда Илья Ис. был комиссаром Черноморского флота.) Было так хорошо сидеть и смотреть на мирную картину предвечернего леса.

Потом пили чай в столовой. Разговора не выходило. Сестры были отсутствующие. Илюша, наспорившись перед чаем, молчал. Амалия одна старалась поддерживать тон. Когда мы уходили солнце начинало клониться. Когда подошли к Мужену выступили первые звезды. Венера стояла на горизонте, над темным силуэтом го-

родка на холме с светящими отверстиями церковной башни, и отовсюду шла такая сырость, что хотелось кашлять. Пришли мы домой, конечно, усталые, но все-же меньше, чем можно было ожидать. За время прогулки раза два шла с Илюшей. Он оживляется и голос у него начинает звучать только тогда, когда он попадает на свою любимую и уже привычную тему о необходимости во всем « Нового Града ». Во время других разговоров он увядает и вряд-ли слушает.

Вчера завтракал Адамович. Как-то постарел, делается незаметно « маститым ». Попрежнему приятна в нем благородная скромность, с которой он порой говорит о себе. Так, в разговоре, случайно узнали, что он перевел всего Чайльд-Гарольда и половину Дон-Жуана. А И. А. перед тем говорил, что это почти невозможно. « Я на это жил при большевиках » — сказал Адамович. Он выехал из России в 23-м году.

Говорил он, между прочим, что по его мнению писатель сейчас должен непременно отзываться на современность, не имея права говорить « моя хата с краю », если только душа у него не какая-нибудь совершенно необыкновенная или не слепая. « Нельзя жить в вате » — говорил он. « Мне кажется, человек вообще начинается с тех пор, когда он решил погибнуть. А до тех пор он еще ничего не стоит ».

31 января

Были вчера в Гурдоне. Великолепное чистое утро. Камень, серые ореховые деревья. Назад шли пешком 8 километров. Скалы напоминали своими формами головы людей, одна была совсем сидящий орел. Цветут сиреневые крокусы. Перед завтраком отошла, посидела на камне. Как свищут поют рабочие в городке ! Рулады счастливые, беспечно-томительные. Тень от большого одинокого дерева упала на бархатный склон. С плеча некоторых домов сползает плющевая занавеска.

На обратном пути видели казавшихся маленькими в голубом небе орлов.

Вечером пришел Илюша. Он очень удалился от

всего, что не « Новый Град ». Даже « Современные записки » интересуют его меньше, чем этот Град. Вспоминал уехавшего Федотова с нежностью, видимо, тоже потому что он самый ближайший новоградец.

Вечером, когда наши пошли его провожать, Л. читал мне стихи парижского Мандельштама, приславшего мне книжку, и мы говорили о нашем поколении. Я мысленно перебрала всех. Как все похожи чем-то основным друг на друга и как несчастны !

Л. еще, сам того не зная, счастливей всех, потому что у него еще есть его любовь к псковским озерам, мужикам, избам и церковкам, и он мечтает о них с каким-то даже остервенением. А мы все прочие ? Я ведь видела парижскую жизнь, знаю парижских поэтов. Кто это сказал, что наше раздавленное поколение присутствует при собственных предсмертных корчах ?

3 февраля

Отдала Илье Ис. рукопись романа. Он у нас завтракал. И. А. повел его к доктору, — у него что-то с глазом — а мы с Л. поехали к Асе.

Прогулка. Великолепный свежий лес. Слева можжевельник, седой, точно подернутый морозом, в красных ягодах, дикий мирт, сосны с крупными темными иглами — почти театральная декорация к какой-нибудь « Лесной сказке » или « Лесным тайнам ». Нежное, бледно-голубое фарфоровое небо между молодыми зелеными соснами. Л. в восторге. Рвет веточки, листья, прячет их в карман. Нашли какую-то странной формы корчагу, наполовину улитку, наполовину идолище древлянское.

Как много сделано за эти два года в Дубке ! Князь и Ася водили нас, показывали улучшения. Три новых инкубатора с лампами. Князь поднял боковую крышку и за стеклом, среди яиц, показалось несколько еще мокрых цыплят. Как болезненно-сонно они щурятся на свет ! Как им еще трудно дышать, как неловко должно быть первые часы жить ! То-же и с детьми. Может быть рождение горше смерти ?

Ася сажает фруктовые деревья, кусты, посадила ряд молоденьких кипарисов по въезду. Ребенок прелестный, особенно прелестны в нем эти неожиданные набегающие на влажные веселые губки улыбки. Князь сидел подле него на ковре, целовал ему ручку и приговаривал: « Полно Шишкин убиваться . . . »

За столом был разговор о Керенском и о причинах революции. Ася винит во всем Керенского. Князь же говорит, что « в сущности Николай II-й был более виноват, чем Керенский ». Я не люблю, когда они поднимают эти « политические » разговоры. Их достоинства совсем в другом: в этой их энергии в создании дома, нового быта, новой жизни, взамен разрушенной, в их деятельной любви к « Шишкину ».

8 февраля

Ходили вчера вечером втроем к Фондаминским. Илюша вышел один, сидели, разговаривали. Илюша стал говорить, что хотел бы завести новый литературно-критический журнал, рядом с « Записками », где можно было бы печатать ради чистого искусства, а не только для читателей. Надо бы только найти энтузиаста, молодого человека, который занимался-бы им и молодую женщину. « Читать беллетристику и стихи я дал бы Галине Николаевне. А вот надо мне молодого человека . . . »

Л. стал говорить, что без денег никто не станет работать, т. к. такому энтузиасту не на что будет жить. « Да ведь имеет-же он какой нибудь прожиточный минимум ? А это будет для души », — ответил Илюша. « А я вот за мою практику — я секретарствовал два раза — видел, что без оплаты это невозможно », — отвечал Л. Разговор продолжался, довольно неприязненный. Хуже всего было то, что я заподозрела с первого момента, что Илюша уже прочел рукопись моего романа и мысли о журнале « где можно было-бы печатать вещи без фабулы, для элиты », хоть и не новые, но пришли к нему опять по этому именно поводу . . . Действительно, когда мы собрались уходить, он сказал, что

пойдет с нами. Мы сделали довольно длинную прогулку, причем я старалась не оставаться с ним ни на минуту, чтобы дать ему свободу действий, но когда оставалось пройти до нашего подъема совсем немного, он вдруг решительно взял меня за руку и оттянул в сторону . . .

Начал он с похвал. Были тут, конечно, и знаменитые акварельные краски, тонкие и нежные . . . Затем он заговорил о том, что не знает, что придумать, что книжкой он этой вещи не видит и т. д. О « Сов. записках » мы не говорили, и я сделала все, что могла, чтобы облегчить ему задачу.

И. А. и Л. с нетерпением ждали результата нашего разговора. Когда я передала его им, оба возмутились. И. А. от огорчения не знал куда смотреть.

Я провела тяжелую ночь, усугубленную тем, что я очевидно начинала заболевать, простудившись накануне. Однако я употребила все силы, чтобы казаться и быть спокойной и сегодня утром как всегда переводила, печатала, разговаривала о посторонних предметах . . .

И. А. был так нежен, так предупредителен ко мне, как только это вообще возможно. В глазах у него я все время видела какую-то нежную жалостную влажность . . . Он уговаривал меня самым трогательным образом во время прогулки, хотя уговаривать, собственно, не было надобности.

Сегодня к чаю была Амалия. Я была спокойна, любезна, ни одним движением себя не выдала.

10 февраля

Третий день простужена и сижу дома. Л. принес мне великолепных зеленых веток. Ставить их в воду и то было наслаждение — такой у них здоровый сильный запах.

11 февраля

Вчера вечером по случаю болезни сидела дома.

Завтракал Илюша. В. Н. этот приход был истол-

кован, как дипломатический ход после разговора о моей рукописи. Во всяком случае, если даже это и так, он держал себя весьма умело. Говорили на отвлеченные темы. Илюша еще лишний раз дал всем почувствовать, какой в нем все-же шарм, как он умеет заражать и какая в нем благожелательная ко всему в жизни душа.

Говорил он о христианстве и о том, что в мире, в котором теперь всюду материалистическое учение, все-же подспудно есть большая жажда Христа, добра, словом всего, что под этим разумеется, хотя сейчас нет в мире настоящего водительства. Потом он рассказывал о том, как в 19 лет, когда он был еще атеистом, его посадили в тюрьму, и он был в таком энтузиазме, что трогал стены рукой и чувствовал: « их нет ! для духа их нет ! » « Потом, через два дня, это прошло, но тогда я впервые почувствовал, что дух вполне реален ». Потом он излагал свою теорию. Раз Спаситель пришел на землю в виде человека — значит в каждом человеке есть частица божественной правды. Как-же можно после этого обидеть, поразить, убить человека ! Ведь так же на земле распяли Спасителя !

Мы все поддались его заразительному голосу, блеску глаз, улыбке, всей его увлекающей за собой энергии. Недаром его в революционные времена называли « Непобедимым » . . .

Из разговора Илюши с И. А. выяснилось, что он собирается посылать мою рукопись Вишняку и Рудневу и часть ее напечатать. Я, по его словам, не поняла его. Он считает, что роман очень хорош, но немного мал для отдельной книги.

Я в скверном настроении от всего этого. Иметь дело с таинственным, чрезмерно осторожным Илюшей прежде всего очень трудно. Он до того осторожен, что его не понимаешь. Из нашего разговора с ним я вынесла только то, что он не знает, что делать с рукописью. Он и действительно не знал, вероятно. Он ведь на каждом шагу не доверяет своему вкусу в литературе и постоянно об этом говорит.

15 февраля

Поездка с Л. в Ниццу. Он объявил, что хочет все делать « не так, как И. А. » и оттого мы завтракали на берегу моря, купленной перед тем на базаре едой. Потом смотрели на чаек, одна выхватила хлеб из рук Л. День был серый, прохладный, но море было красивое. Встретили в кафе Скобцову с дочерью. Завязался разговор. В матери есть какая-то наивная доверчивость. Дочь, Гаяна, помешана на Кокто и Жиде, наружностью — свеженькая, с очень хорошей кожей и цветом лица. Скобцова свела нас в церковную библиотеку, где Л. взял какие-то давно желанные им акты. Перед отъездом были в музее, где сейчас выставка старинной церковной утвари Прованса. Некоторые вещи божественно хороши. Особенно хороши лица некоторых святых и Мадонн 14-го века — простые, милые, почти детские.

24 февраля

Ходили к большим камням в дубовой роще сниматься. Всю дорогу В. Н. не переставая проговорила о свадьбе Наташи Зайцевой [1] и будущей ее жизни с мужем.

27 февраля

Проснулась при снеге. Долго лежала, глядя на то, как снег летит мимо пальмовых веток. Потом открыла окно, слушала, как он падает на бамбуки с легким сухим шуршанием. Однако, Жозеф [2] говорит, что « это не настоящий снег », а только так. И. А. не совсем здоров, слегка простужен. Вчера был очень длинный вечер. Я пришла к нему в спальню, помешала ему читать, стали разговаривать. Стали вспоминать разные мелочи, потом он показывал как пляшут журавли,

[1] Дочь писателя Б.К. Зайцева.
[2] Повар Буниных.

очень хорошо и смешно двигая локтями и ногами. Пришел Зуров, которому тоже стало скучно у себя. И. А. после обеда читал нам « Три дамы из Казбы » Лоти.

Вчера у нас завтракал Илюша и долго говорил о том, как он теперь чувствует перемену форм жизни, как надо это признать и с этим примириться. « Я за то, что надо протереть глаза и раскрыть уши, — говорил он. — Теперь молодежь какая-то другая, более прямая, ну, может быть на наш взгляд, более грубоватая, спортсменская, но это не значит что она не способна на жертвенность, что для нее нет Бога, любви, смерти. Просто только все эти понятия приняли на земле другие формы, другие линии, и нам надо это раз навсегда признать и с этим примириться.

И. А. доказывал, что сейчас все стало грубее, что прежде достаточно было « кончика носка из-под женского платья для того, чтобы возбудить соответственные чувства, а теперь для того, чтобы меня возбудить, мне показывают все — стараются бить по голове ».

Когда Ил. Ис. уходил В. Н. пошла с ним и прогуляла часа два, разговаривая о нас. Илюша сказал ей о моем романе, что он ему и Амалии нравится, но что по его мнению это еще только « разбег », и что хочется знать что будет дальше. Он находит, что вещь бóльшую по размерам было бы даже легче напечатать в « Записках ».

28 февраля

Воскресенье. Утро перед завтраком. В. Н. и Л. уехали в церковь. У меня приятное чувство обладания всем верхним этажем. Открыта дверь. Встав я долго убирала свою комнату, стараясь по обыкновению избавиться от всех лишних вещей. У меня топится печь, что я очень люблю за тот веселый бодрый шум огня, который и меня подбадривает. На дворе со вчерашнего дня снег на ветках и от этого кажется еще светлее. Вчера читала вечером начало Истландских рыбаков, и даже удивилась тому, как все это просто и вместе с тем здорово, прелестно. Захотелось перечитать всего Лоти.

Это должно нравиться Л. Это по его натуре. Он продолжает восхищаться « Тремя дамами », которых И. А. очень хорошо переводит вслух по вечерам.

В. Н. последнее время чувствует себя что-то плохо. Вид у нее нездоровый. Она говорит, что уверена в смерти отца. Какой-то ей снился сон, и теперь долго нет от него писем. И. А. после припадка перед очередной кровью стал опять добрым и нежным. Я все браню себя за то, что во время таких его раздражений и мрачности забываю, что это следствие болезни и придаю этому жизненное значение.

Говорили с И. А. о « Кларе Милич ». Он говорит, что она была написана Тургеневым с певицы Кадминой, портрет которой он видел. « В кокошнике, в русском костюме, со сросшимися бровями, она напоминала лицом какую-то старую русскую царицу . . . »

Впрочем в « Кларе Милич » он ничего не нашел для себя, по его словам.

« Для И. А. сейчас нет собеседника в литературе » — сказал как-то Л.

Вечером И. А. читал мне стихи Пушкина. Читает он их так, как, пожалуй, сам Пушкин должен был читать: то важно, то совсем просто, то уныло . . . Но лучше всего у него вышло: « О, если правда что в ночи́... », которое он прочел глухим, таинственным, однообразным тоном, нигде не повышая его. Я напомнила, что Метнер в музыке кончает вскриком, как-бы уже зовом в присутствии призрака: « Сюда, сюда ! » Он покачал головой: « Неправда. Этот зов, в сущности, беспомощен . . .

В тот же вечер он говорил о Тургеневе, что у него во всех вещах литературные несчастные концы, которые, по его мнению, были ему не по натуре. « Разве можно себе представить Тургенева женатым, с детьми, занимающимся хозяйством ? Его, который был настоящим европейцем и среди Флоберов, Мопассанов и Гонкуров — мэтром ? »

5 марта

Встала рано, до 8-ми, напилась кофе и вышла в сад. Прекрасное солнечное утро. На верхней террасе зацветает маленькая красная слива. Пошла по соседним террасам, нарвала диких гиацинтов, маленьких бледных фиалок и еще каких-то, похожих на синие ягоды ежевики цветочков, которых много цветет в эту пору под деревьями. Посидела под оливками. Какой очищающий ветер, как пусто лежит утренний Грасс между елями внизу... Думала о том, на чем проснулась: завтра свадьба Наташи Зайцевой. Каким волненьем полны были все эти последние дни, а сегодняшний особенно! Завтра, говорит она себе, проснувшись. И мать наверное на нее без тайных слез смотреть не может. Через неделю будет уже все равно. А сейчас как-то грустно, и трогает, достигает сюда ее волнение, ее жизнь...

Вчера на ночь прочла « Поездку в Полесье ». Лес написан изумительно. А вот что еще лучше, для меня сейчас лучше: размышления о прожитом.

— « Вот мелькнуло передо мной детство... потом возникла молодость, смутная, странная, самолюбивая, со всеми ее ошибками и начинаниями, с беспорядочным трудом и взволнованным бездействием...

« Возможно-ли ? Эта малость, эта бедная горсть пыльного пепла — вот все, что осталось от тебя ? »

И потом вывод: все, что нарушает равновесие жизни, выбрасывается ею, как негодное. Но —

« Человек, которому, от своей-ли вины, от вины-ли других, пришлось худо на свете — должен, по крайней мере, уметь молчать ».

9 марта

В воскресенье, шестого, ездили с И. А. гулять. День был совсем весенний — вообще начиналась весна — и мы пошли какими-то деревенскими улицами от Фурашо к каналу и долго шли среди сосен и вереска, забрались в чащу мимоз, желтыми вымпелами стоявших в голубом небе. И. А. был точно погружен в сон, потом —

началось с Наташиной свадьбы; в этот день в 4 часа ее венчали в Париже, и мы невольно следовали за ней мысленно — я стала спрашивать его о его первой жене Анне Николаевне Цакни. Он сказал, что она была еще совсем девочка, весной кончившая гимназию, а осенью вышедшая за него замуж. Он говорил, что не знает, как это вышло, что он женился. Он был знаком несколько дней и неожиданно сделал предложение, которое и было принято. Ему было 27 лет.

« Когда я теперь вспоминаю это время — это было в сентябре в Одессе — мне оно представляется очень приятным. И вот нельзя собственно никому сказать этого — из чего состояло это приятное ? Прежде всего из того, что стояла прекрасная сухая погода, и мы с Аней и ее братом Бобой и с очень милым пёсиком, которого она нашла в тот день, когда я сделал ей предложение, ездили на Ланжерон. Надо сказать, что в Ане была в то время смесь девочки и девушки, и « дамское » выражалось в ней тем, что она носила дамскую шляпу с вуалью в мушках, как тогда было модно. И вот через эту вуаль ее глаза — а они у нее были великолепные, большие и черные — были особенно прелестны. Ну, как сказать из чего состояло мое приятное состояние в это время ? Особенной любви никакой у меня к ней не было, хотя она и была очень милая. Но вот эта приятность состояла из этого Ланжерона, больших волн на берегу и еще того, что каждый день к обеду была превосходная кефаль с белым вином, после чего мы часто ездили с ней в оперу. Большое очарование ко всему этому прибавлял мой роман с портом в это время — я был буквально влюблен в порт, в каждую округлую корму . . . »

Он рассказал, как начались вскоре у них недоразумения с женой. Ее очень настраивала против него мачеха — Элеонора Павловна, « которая сначала была просто до неприличия влюблена в меня, а потом так же неприлично возненавидела ». Привело все это к тому, что после двойного отъезда он совсем уехал от жены, которая в это время была беременна, месяце на пятом.

Ребенок, сын, прожил лет до пяти. Был он хорошенький мальчик. Виделся он с ним раз пять в году, причем « в это время весь дом затворялся у себя и дышал на меня злобой ». Мальчик выбегал, бросался к нему на шею и звонко кричал: « Папа, покатай меня на трамвае ! » Это казалось ему верхом счастья. Умер он от скарлатины. Есть карточка его на смертном одре. Он в бархатном костюмчике, в лакированных башмаках, лежит очень вытянувшись . . .

— Вы его любили ?

— Я мало в сущности его видел. К тому же я не очень сознавал в себе отца . . . А Анна Николаевна пролила много слез . . .

Я стала говорить ему о том, как все это хорошо должно у него выйти в « Жизни Арсеньева ». Он сказал сначала, что не думал об этом писать, но постепенно разогрелся и в конце концов сказал, что об этом « уже и правда можно было-бы написать ».

Во время следующей прогулки — вчера — он заговорил об этом сам, рассказал о том, что отец Анны Николаевны Цакни был революционер, эмигрант довольно видный, что в Париже ему приходилось так туго, что он мел улицы, а зато потом в Одессе они были богаты. Мачеха А. Н. была богатая женщина. У них были имения, виноградники. « Подумать только, что я мог бы поехать под Балаклаву в имение, жить на виноградниках, управлять всем этим, стать богатым человеком. Но мне это и в голову не приходило. Связывать себя ! Вот как я это понимал ».

Я спросила, как отдали за него, ничего в то время не имевшего, богатую наследницу.

— Да я и сам не знаю ! — сказал он. Отец ее был типичный интеллигент. Мы вместе ехали из Одессы к ним на дачу на паровичке. Стояли на площадке и курили. Я вдруг сказал: « Прошу у вас руки вашей дочери ». Он сдвинул пальцами шляпу на затылок, посмотрел на меня и сказал: « Да я то тут, дорогой, при чем ? Это, мне кажется, дело Анны Николаевны. А что касается меня — я ничего против не имею ».

Когда они затем встретились — она уже вероятно знала об этом предложении. Они возвращались откуда-то из города — она и мачеха. Она в темноте протянула руку, нащупала его руку и вложила в нее туберозу. Это было сделано очень мило и невинно.

Рассказывалось это во время прогулки по пути к Турету. Обратный путь решено было сделать пешком. В Турете мы купили ветчины, рокфору и бутылку Camp Romain, вышли затем за город и, сев на горке над дорогой, поели. Место выбрали такое, что перед нами во все стороны был изумительный вид. Вдали голубые горы, они были в голубоватом тумане, над Ниццей тиара горы над Вансом, оливковые рощи, спускающиеся в долину. Прямо перед нами Турет, освещенный сбоку уже клонящимся солнцем, тесно слепленный в одно каменное целое, со своими маленькими окнами, общим, несколько вдавленным очертанием похожий на гондолу. Особенность и красота его в этой стройной слепленности и еще в том, что стоит он на странном месте: почва вся в каменных разливах, гладких как отмели. Вокруг алоэ изящнейшими розетками украшают эту гондолу, наполненную домами. В то время, как мы сидели и смотрели на него, раздался редкий звон — незадолго пронесли перед тем « безобразно запачканный черной краской гроб » (выражение И. А.) — кого-то клали в него.

« Сколько во мне жизни, говорил И. А., глядя на Турет, на горы, на Ниццу. — Вот я смотрю на все это, и для меня эта Ницца — это целый оркестр ! И где-то там жил мой приятель Блох на своей вилле, где он изображал Петрония, где угощал меня великолепным вином, и это мировой курорт, и все это я чувствую, и все это хотелось бы написать, и так много я в этом чувствую, что и написать пытаться бесполезно ! »

Потом мы прошли восемь километров до Пон-Дю-Лу. Идти было изумительно приятно. Дорога великолепная, дикая, пустынная, сбоку огромный овраг, на дне которого роется маленькая реченка. « Подобие Терека », сказал насмешливо И. А. Каменные, дикого цвета

скалы над Горж-дю-Лу, как будто хранившие на себе последние отсветы солнца, были похожи на громадные фигуры, высеченные в скалах в Фивах.

В Турете женщины, сидя на площади, связывали букеты фиалок. Фиалки же продавали в табачно-бакалейной лавочке, их же упаковывали в лавке, вроде депо, в корзины для отправки. За городом оборванные девчонки протягивали их сидящим в автомобилях проезжим. Навстречу нам попалось несколько женщин с корзинками этих прелестных зелено-лиловых букетиков подмышками. Турет живет сейчас фиалками.

11 марта

Вчера вечером ходили по черному пустынному городу. Вдруг в одной из нижних улиц, сбоку, в темной булочной — ярко горящая множеством длинных золотых дров печь. Мы оба остановились, в один голос воскликнув: « Ах, как хорошо ! » и долго смотрели; было что-то живое, прелестное и таинственное в этом весело и деятельно горящем низком четырехугольнике в темной пустой булочной, в темном силуэте длинных хлебов на полках и в корзинах . . .

На обратном пути — мы только что входили в сад Монфлери, сырой, погруженный в темный туман — заговорили о объявившейся в этот день семье родственников И. А. (письмо из Харбина с просьбой о помощи). Я сказала, что в сущности у И. А. много родственников. И вдруг он внезапным быстрым голосом сказал:

— Если ты знаешь, что Евгений или Маша [1] умерли — не говори мне !

Я испытала такое чувство, как будто меня ударили в грудь — незадолго перед этим пришло известие о их смерти, которое скрыли от И. А.

Дальше, на подъеме, он говорил уже другим тоном о том, где они должны быть сейчас, рисовал улицу в

[1] Брат и сестра Бунина.

Ростове на Дону, домик, лампочку, под которой должна сидеть сейчас Маша . . .

Сад был погружен в серый туман, в дым, в котором как-то страшно стояли деревья . . .

12 марта

Письма от Зайцевых о Наташиной свадьбе. Я думаю, за всю свою жизнь Зайцев не написал ни одного такого прекрасного и горестно-чистого письма, как по поводу выхода замуж дочери. Особенно хорошо, как он говорил с молодыми по телефону в Фонтенбло, куда они уехали после свадьбы.

В. А. [1] по своему, путанно и превосходно, описала свадьбу: « Наташенька была похожа на облако. Букет у нее был из лилий и ландышей, ниспадающий до полу. В церкви было человек 400. Все женщины плакали. Квартира наша была похожа на сиреневый сад, столько было букетов ». В общем Наташу небогатые Зайцевы выдали замуж как богатую наследницу, и все оттого, что у них столько любящих друзей.

13 марта

Вечером были гости — Фондаминские с приехавшим из Парижа Лихошерстовым [2]. Последний рассказывал о Наташиной свадьбе. И. А. смеясь сказал, что это воистину была свадьба дочери эмиграции.

28 марта

Напечатан мой рассказ в « Посл. Новостях ». Получу франков 370. Со вчерашнего вечера чувствовала себя неважно. Туман наводнял сад. Казалось еще не было такого мрачного дня, такого давящего неба.

Вечер. Сижу, пишу, стараюсь быть спокойной. Уже кричат лягушки. Скоро я уеду, буду жить одна в отеле, ходить по Парижу.

---

[1] В. А. Зайцева.

[2] Один из сотрудников газеты « Последние новости ».

30 марта

Вчера за завтраком неожиданное решение. (Предложение и очень настойчивое исходило от И. А.) В. Н. поедет со мной в Париж, немного проветриться. Все стали ее уговаривать. Она была почти испугана от радости. Теперь она уже всё готовит к отъезду. Я очень за нее рада. Есть почти физическая потребность развлечь ее, перенести на время в другую обстановку, так она засиделась здесь.

1 апреля

В. Н. составила список. Ей надо побывать в 40 домах. От волнения она не спит, и планы ее все разрастаются.

3 апреля

Вчера ходили прощаться к Фондаминским. Илюша был очень нежен со мной, на прощанье отозвал в кабинет и стал настаивать, чтобы я взяла за его подписью 1.000 фр. в Земгоре или « Новостях » и чтобы побыла подольше в Париже.

Париж

15 апреля

Были вчера с визитом у Мережковских. Видела первый раз комнату Зинаиды Николаевны. Кровать за ширмами, что то вроде комода, на котором подобие католического киота. Говорили все время об ужасном положении писателей. Мережковский пришел, сел на кровать, заговорил о Нобелевской премии, о необходимости разделить ее. Вечерний серый свет резко падал от окна на его лицо и оно, срезанное, выставленное из-за ширм, казалось страшным от темных теней и впадин.

18 апреля

Встала поздно, ужасное настроение. Вчера был исключительно скучный для меня вечер у Х. Разливала

чай, играя роль jeune fille de la maison. Чувствовала себя одиноко. Аминадо сказал: « Если Берберова олицетворяет собой Петербург, то Кузнецова — Москву », хотя я родилась в Киеве и в Москве отроду не была. Тэффи смотрела, смотрела на меня издали и вдруг подошла, села рядом на диван и сказала, что ей иногда бывает так скверно, что она сидит одна и ревет. Недавно было так скверно, что она в конце концов, не зная что делать, кинулась к камину и погрозила кулаком стоявшему на нем будильнику. Что же это, дескать, такое! « Почему будильнику? » « Да, должно быть оттого, что ведь это он как-то там заведует временем . . . »

21 апреля

Прогулка с Федотовым по старому Парижу. Вечером телеграмма, что И. А. и Л. приезжают.

10 мая Грасс

Ну, вот и опять в Грассе, на старом месте. Но на этот раз, в первый раз, в доме тихо, свободно, комнаты рядом пусты и кажется, что и дом и сад отдохнули от людей и за их отсутствие принарядились. В саду много листьев, новой травы, свет полнее, щедрее. На кустах роз большие бутоны. Дует ветер, но от него еще ярче небо, прекрасней облака.

Путешествие наше не было удачным. Сначала ужасная погода, проливной дождь, а потом известие о покушении и смерти президента. Только за Марселем погода изменилась, свет сразу стал южным. И. А. оживился и стал беспрестанно смотреть в окно. Я же с некоторой грустью взглянула на перемену растительности. Из прелестно-зеленой мягколистной, высокой, она сделалась жесткой, сухой, низкой. Местами только маленькие зеленые листочки на обрубленных платанах да подрезанных виноградниках показывали, что это весна. Свет же и сухость гор и сосен могли быть такими и в августе и в октябре. И. А. конечно с этим не соглашался, ничто не может переубедить его, когда дело касается его любимого юга.

Впрочем на этот раз мне было приятно и на юге. Молодой месяц заблестел на небе, когда мы подъезжали к Грассу. Автомобиль провез нас по тихой темной верхней дороге к площадке принцессы Полины, откуда мы с шофером, несущим вещи, спустились в наш прохладный, просторный дом, где уже был накрыт стол и где нас ждал Жозеф.

С тех пор уже прошло четыре дня. Вчера были днем в городе. Мистраль сделал горы, небо и воздух лучезарными, все нарядно, глаз принимает все после длительного перерыва с удовольствием. На подъеме в соседнем саду есть целый куст белой сирени, качаемой, спутываемой ветром. В саду цветут простые бледные розы, которые я люблю за их какую-то провинциальную миловидность — бывают такие барышни в уездных городах — и одна маленькая яблонька вся покрыта цветами. Вечером были у Фондаминских. Как всегда нас встретили очень сердечно, на вопрос как жили здесь одни, не скучали ли, ответили как всегда: спасибо, отлично, — что может быть, впрочем только свойственная им дисциплина. Амалия все прикрывает горло серым меховым воротником, лицо у нее несколько утомленное, но как всегда она приветлива, любезна.

22 мая

Вчера обедал Илюша. Пришел перед обедом в то время, когда мы с Л. поливали вверху сад, стал рассматривать и хвалить переделки, предпринятые в этом году, потом сказал, что решил ходить к нам время от времени обедать т. к. мы слишком мало видимся.

После обеда он рассказывал историю семьи Высоцких, Цетлиных, Гоцов и Гавронских, связанных одним состоянием, в котором теперь происходят всякие события. Слушая я думала о Ругонах — Маккарах Золя. Называется общество Высоцких — Англо-Азиатик. Это чайная фирма. Потом мы ходили провожать Илюшу.

Погода приятная. Лягушки по вечерам орут прямо таки нагло. Пахнет от садов божественно. Венера в

этом году небывалой величины, кажется серебряной птицей.

Здесь опасно то, что очень скоро начинаешь чувствовать себя в одиночестве вдали от всех тех усилий, которые толкают других к созданию чего-бы то ни было. Что-то обволакивает, начинаешь слушать птиц, удары колокола, до тебя начинает доходить прохладное дуновение сада из раскрытого окна... и все дальше уходишь от усилия и начинаешь расплываться в чем-то ленивом, южном...

26 мая

И. А. привез мне из Канн Дневник Мансфильд. Я давно просила его об этом.

Обедал Илюша. Принес новую книжку « Нового Града ». После обеда спорили, говорили о том, что сейчас нужно миру. Илья Ис. говорит, что некие вселенские идеи, которые бы повлияли на весь мир разом и спасли бы его. Л. требовал реальности и плацдарма. И. А. говорил, что во всяком случае Илья Ис. прав — мир изменился, какой-нибудь резней в Боснии и Герцоговине его не проймешь — режьте, пожалуйста, сколько хотите ! и надо искать чего-то нового. В. Н. изо всех сил стремилась к одному: узнать чего хочет в конце концов Илья Исидорович.

27 мая

Вчера и сегодня читала дневник Кат. Мансфильд. Те-же симптомы общей писательской болезни. « Мне нужно одиночество » — и в то-же время тягость этого одиночества. Страх, что войдут, помешают. И — « Я до жалости несчастна в обществе других » — что так часто бывает. И — « Как трудно заставить себя писать письма ! »

Надо прежде всего очищать собственную душу. Не делать ничего, что может повредить, хотя бы невольно, косвенно другим. Удерживаться от малейшего осуждения. Удерживаться даже от замечаний, когда видишь

что другой делает не то. Заниматься прежде всего воспитанием себя, себя, себя !

День уже спасен, если сделаешь что-нибудь маленькое. Хотя бы это было письмо, написанное более или менее порядочно.

Учиться каждое состояние чувствовать полно. Не метаться. Не спешить. Не брать по несколько книг сразу.

28 мая

Плохая погода. Холодно, серо. Ничего не могу делать. Что-бы немного встряхнуться, ходила в сад, осматривала растения. Потом вернулась, читала газеты.

Л. раздражителен. В. Н. расстроена. Все это не должно производить на меня впечатления. Я должна быть спокойна, тверда, деятельна. Иначе мне самой будет хуже.

1 июня

Вчера были в Кабризе.

Гаяна в белом тканьевом платье, большая, тяжелая, румяная, голорукая. И. А. сказал: « Она родилась еще при Перуне ». Худенький чахоточный барон Штейгер. Поэт. Держится снобом.

В Кабризе пахло сеном. Луг, на котором рассыпались фигуры женщин и детей. Среди них одна, высокая, черная в шлыке: мать Мария (Скобцова).

Назад они пошли нас провожать. С нами шла маленькая пятилетняя девчурочка, черненькая, в белом платьице и чепчике на голове. Шла очень серьезно и прошла больше половины дороги. Гаяна рассказывала мне и Штейгеру о группе молодых французов, сюрреалистов, с которыми она ведет тесное знакомство. Среди них Кокто, Хербар и 65-летний Андрэ Жид.

2 июня

И. А. перечел Марка Аврелия. Вечером, лежа у себя в спальне, говорил:

— Как странно, повелитель мира — Цезарь был в то время властелином мира — сидя где-то в палатке на берегах Дуная, писал... и нам, читающим теперь, это кажется написанным в наши дни. Писал он, конечно для себя. У него было пониженное чувство жизни. Недаром все это так безнадежно. «Разложи танец, разложи совокупление...» но ведь как это разложить? Если разлагать — значит уже не хочется танцевать. А если разложить совокупление — оно уже не будет совокуплением, любовью, восхищеньем... а голым актом. Но иногда и у него проскальзывало чувство радости жизни — это там, где он говорит о трещинках на хлебе, о нахмуренном челе льва, о колосьях и пене на клыках кабана. Но век тогда был требовавший пониженности чувства жизни, и кроме того Цезарь был слишком высоко поставлен, а это заставляло смотреть на всё так... (лицо его выразило высокомерное утомление, брезгливость). Но какая простота, благородство и как это возвышает! И вот уже он разбит в одном: не всё исчезает. Слава не исчезает. Пример — он сам. И как его называли: «Бог благосклонный!..»

5 июня

Вчера обедал Илюша. Говорили о «Новом Граде». Между прочим он сказал:

«Я должен был бы быть врачем или священником (он всех мирит, утешает и уговаривает). Потом: «Теперь такое время, что оно требует от нас, чтобы мы были героичными. Почвы нет? Значит надо как-то так ухитриться, чтобы стать на голову и ногами упираться в воздух. Надо чтобы воздух отвердел под ногами. Надо быть героичным в общественности, в работе, в семье — всюду. А если не будешь героичным — будешь смешным. Вот и выбирайте».

Говорил, что для нас будет плохо, если Горгулова казнят. Так как он признан вменяемым и не большевиком, то преступление его — есть голый факт. Но если его казнят, значит не примут во внимание всего того, что объясняет его преступление: большевизма, эмигра-

ции, психики некультурного запутавшегося человека и т. д. Тогда значит наша трагедия не служит смягчающим обстоятельством в глазах Европы.

6 июня

После обеда с вином, водкой, пением под гитару вышла на террасу. Туманно светилось только несколько больших звезд над темными округлостям гор, темнота пахла цветами. Все было мирно, тихо. Я смотрела и думала, что меня впервые не давят никакие сожаления, желания, что я наконец почти свободна. С меня в такую минуту и этих спящих гор достаточно, умиление же над умершим прошлым меня хоть и трогает, но уже в сущности далеко. И. А. еще потом дома говорил:

— Я там сидел, смотрел, слушал и в то-же время смотрел на портрет государя на стене. И думал, что он был царем этих людей и сам был, конечно, их уровня, что глаза закрывать ! А за ними была целая рать этих диких мужиков, которые только ждали возможности. И ведь эти Х. простые люди. С ними легче жить чем с другими, он улан из лучших, это видно . . . А все-таки прав Илюша. Из всех сословий в России, какие оно не имеет недостатки, жить и общаться можно только с интеллигентным. Другие и не поймут ! Они совсем из другого мира ».

Пришло очень трогательное письмо от Ек. Мих. Лопатиной. Она больна, ослабела от поста, у нее было 6 докторов, но она все не может поправиться. Письмо ласковое, какое-то примиренное и грустное.

В. Н. хочет завтра ехать в Клозон. Мы все подумали, что Ек. Мих. может умереть. У нее очень плохо с сердцем и есть что-то в письме, что трудно передать.

8 июня

Всю ночь соловей и грусть сквозь сон.

Гроза. Молния ударила в кипарис подле дома

Жозефа над нами. Жозеф приходил к нам звонить по телефону т. к. у них сорвало мраморную доску с электро-установками.

Пока шла гроза с этими перекрещивающимися вспышками и ударами мы собрались в комнате В. Н. и сидели там вместе. Маргарита внизу гладила и тряслась.

И. А. читал вслух рассказ Сирина, непринятый « Посл. Нов » будто бы за неприличность. Ничего особенного там однако не было. Но жестокая вещь. Сирин делается действительно жестоким. Называется рассказ « Хват ».

9 июня

В. Н. поехала в Клозон. После грозы почти жарко. Парное солнце. Читаю, отбирала ягоды на варенье. Не могу заставить себя писать, вялость, жизнь представляется сквозь пелену какого то усталого отвращенья. Даже чтение соответственных книг не помогает. Дорога каждого святого вперед известна. Усмирение себя, отказ от мира, жертвы, умерщвление духа, плоти. Но все это слишком уж обязательно, слишком одно и то-же. В иные минуты это представляется утомительно формальным.

Порой я с какой-то грустью вспоминаю те времена, когда И. А. писал, все равно была-ли это « Жизнь Арсеньева » или « Краткие рассказы ». В доме было какое-то полное надежд настроение. Теперь он уже давно не пишет и все как то плоско, безнадежно.

У моего письменного стола тоже какой-то запущенный необитаемый вид.

15 июня

Начинают летать светляки. Скошенная трава под оливками пахнет цветами. Мутное небо. Начинает накрапывать дождь.

« Перечел Арсеньева. Простодушная книженка ! » — с каким-то неодобрительным смехом сказал вчера

И. А. Сегодня перечла и я первые его главы. Нет, не такая уж « простодушная » . . .

Ночью проснулась с мыслью о той ночи, которая несомненно скоро наступит для Горгулова . . . Было по ночному страшно думать об этом.

16 июня

— Безобразие мира велико, но и красота мира такова, что живую чувствительную душу может привести в отчаяние . . .

Я принесла И. А. показать только что распустившуюся, непостижимую в своем безмолвном великолепии ветвь белых лилий. Запах одной этой ветки так силен, что уже наполнил комнату. Сегодня в саду, стоя подле высоких в чешуйчатых листьях стеблей с уже побелевшими бутонами, И. А. говорил, что понятно откуда вышла готика и почему столько в средневековом искусстве лилий. « Лилия — готический цветок ».

Но что лилии ! На верхней террасе у нас выросла простая желтая сурепка. И как великолепно разрослась она в целое величественное дерево, какими вихрями тонких с желтыми кружевными цветочными наконечниками веток окружила себя, в то же время царственно простирая их над красными головками маков и темно зелеными, туго заплетенным косами цветущей, блестящей травы !

22 июня

« Когда я говорил о героизме, я думал о вас. У вас нет выхода. Значит остается одно — героизм », — слова Ильи Ис. в разговоре со мной на празднике Фрагонара.

Приехал Зензинов [1]. Он будет жить у Фондаминских.

---

[1] В. М. Зензинов.

23 июня

Вчера обедал Илья Ис. Ходили с ним в сад, он смотрел мой огород. « Ищите помощи только в самой себе. Учитесь этому » — говорил он. И собственно к этому сводятся все его речи.

Ничего не могу делать. За что ни примусь все из рук валится. Солнечный томный день. Из-за гор идут тучи.

Пришла книга Гёксли. Как всегда с чувством грусти отложила ее, просмотрев. Чувствую себя одиноко как в пустыне. Ни в какой литературный кружок я не попала, нигде обо мне не упоминают никогда при « дружеском перечислении имен ».

Фондаминские вероятно очень скоро уедут. Умирает в Ницце брат Амалии. Он может умереть каждый день и тогда они поедут с телом в Париж.

Мы опять останемся одни. Я чувствую как опять настанет для меня пустыня грасского лета. Хорошо Илье Ис. говорить: « Ищите поддержки внутри себя ». Но ведь изнутри часто рождается слабость, гораздо чаще чем сила.

24 июня

Прочла жизнь препод. матери Шюпин. Яснее становится в чем заключается работа католиков над душами.

Главная забота при столкновении с падшими душами — реабилитировать их в собственных глазах. Хуже всего, когда человек начинает сам считать себя плохим. От этого опускаются руки. Если человека, как говориться « травить », он делается озлобленным и становится действительно плохим — азбучная истина.

26 июня

Едем на похороны брата Амалии в Ниццу.

Вчера долго ходила и разговаривала с Рукье[1] о

[1] Владелец виллы « Бельведер ».

саде. Он видит, что я им по настоящему интересуюсь и обещал прислать разных растений, и удобрения.

И. А. опять пытается писать « Арсеньева » и опять жжет написанное и отчаивается. Кроме того у него опять припадки его болезни, и он время от времени раздражается. Но вчера вечером, хотя он и был раздражен, мне было его жаль: он похудел, лицо стало какое-то маленькое, и в глазах тоска.

Пришла газета. Слава Богу, напечатан мой репортаж о празднествах Фрагонара.

27 июня

Давно заметила в И. А. такую черту: он просит дать что-нибудь почитать. Я выбираю ему какую-нибудь талантливую книгу и советую прочесть. Он берет ее и кладет к себе на стол у постели. Постепенно там нарастает горка таких книг. Он их не читает, а покупает себе где-нибудь на лотке какие-нибудь марсельские анекдоты, религиозные анекдоты 19 века, какое-нибудь плохо написанное путешествие. Вчера застав его за перечитыванием купленного так «Дневника горничной» Мирбо, спросила почему он предпочитает такое чтение. Он сначала шутил, потом ответил:

— Видишь-ли, мне не нужны мудрые или талантливые книги. Когда я беру что-то, что попало и начинаю читать, я роюсь себе впотьмах, и что-то смутно нужное мне ищу, пытаюсь вообразить какую-то французскую жизнь по какой-то одной черте . . . а когда мне дается уже готовая талантливая книга, где автор сует мне свою манеру видеть — это мне мешает . . .

Другими словами одна индивидуальность не хочет другой индивидуальности . . .

28 июня

Фондаминские наконец уехали. Мы их провожали. Было грустно потом идти по нестерпимому солнцу в два с половиной часа дня домой. На дороге лежала переехавшая змея.

2 июля

Одобрительный и благожелательный отзыв Степуна о моей рукописи. Самое приятное то, что он услышал и запомнил мой собственный голос, который он называет « низким, печальным и задумчивым ».

Собственно Степун в более благожелательной и благосклонной форме сказал то, что жестче и безжалостней сказал по поводу первой книги Кирил Зайцев. Разница только та, что тот отказал мне в своем голосе, этот — признал его. Это уже шаг вперед. Теперь предстоит большая работа: все начинать сначала, чтобы « музыка в глазах » (выражение Степуна) перелилась в слова.

18 июля

Прочла « Пана » и « Викторию » и удивлена тем, что никто не замечает, что это совершенно одно и то-же. Изменения самые ничтожные. Глан и сын мельника — почти одно лицо. Виктория и Эдварда поступают во всем совершенно одинаковым образом. И даже положенья в романе почти те-же и даже какие-то брильянтовые запонки появляются равно в обоих романах. За эти две довольно расплывчатые вещи собственно и был знаменит Гамсун. Нечего и говорить, что все отступления, включая знаменитое: «Что такое любовь ?» — самое слабое из всего, « литература » как говорит И. А., а главное в этих двух романах совсем не в том: оно в подлинном чувстве того, « как бывает », в правильном художественном инстинкте. И конечно в чувстве природы.

Читая, я попутно предавалась воспоминаниям ранней молодости. Первым я прочла « Пана ». Это была книга с оторванным концом. Мне запомнилась из нее встреча Глана с тремя людьми в сарае, одним из которых была Эдварда, представлявшаяся мне тогда взрослой женщиной (а ей всего 16 лет). Я помню нашу длинную гостиную в доме отчима, где я читала. Я читала, кажется, сидя на ковре. С этим была

связана репродукция пейзажа Коро на стене над диваном. Переставая читать, я поднимала глаза и смотрела на нее. Женщина у дерева и озеро как-то связывалось для меня с несовсем понятной жизнью Глана. Викторию я прочла много позже, у меня была собственная книга, в которой я что-то подчеркивала. Дорого-бы я дала посмотреть теперь что ? Вообще мне ужасно жаль моих оставленных там первых тетрадей. Что я могла записывать с 12 лет ?

28 июля

Горгулов осужден. Уже в камере смертников. Все этого ждали, все были уверены в этом, а все же сегодняшний день имеет какую то другую окраску, чем прочие.

Как он глупо вел себя во время процесса эти три последние дня ! Собственно от всего процесса впечатление спешное, подневольное. Да, это конечно, и естественно. Убил президента ! То, что его осудят было предрешено. Во всех французских газетах, и в нашем « Возрождении » требовали смертной казни.

Один из докторов-экспертов сказал на суде: « Впечатление сумасшедшего от подсудимого объясняется его национальностью ».

25 августа

Вчера был « вечер профессора Лапинского ». Он монументально возвышался посреди стола, против И. А. и все время рассказывал раличные случаи или говорил по поводу того или другого казуса в медицине. Многое было интересно. Например, он сказал, что у Вел. князя Николая Николаевича был пульс временами 12 ударов в минуту, но что у него была страшная внутренняя сила, заставлявшая его следить за собой даже во время сердечных припадков. Очень медленный пульс был также у Наполеона и Магомета. О Ленине он сказал, что у него не было прогрессивного паралича, как все пишут и говорят. У него был только артерио-склероз. О Горгулове он говорит, что считает его симулянтом.

Зайцевы[1], приглашенные также к обеду, помогали нам — молчали, когда надо, говорили, когда надо, и оба рассказали несколько анекдотов Зощенки. Ася в длинном белом платье с материнской аметистовой брошью на груди была мила, как портрет какого-то художника прошлого века.

И. А. слегка « уродничал », что с ним бывает при некоторых « именитых » гостях. Сидел, поджав ноги по турецки, в безобразной белой шляпе, нарочно подчеркивал свою небрежность. Грыз с упоением, как всегда, кости.

Приглашен Лапинский был собственно главным образом для осмотра Л. Кажется нашел у него что-то в легких.

8 сентября

Вчера ездили с И. А. на острова. По дороге в автобусе говорили о страдании, о разных его родах у людей на разных ступенях сознания. Я вспомнила пушкинское:

Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать !

И. А. сказал, что только Пушкин мог взять такое удивительное сочетание — мыслить и страдать — и потом напомнил другое у Фета:

Страдать ! Страдают все ! Страдает темный зверь,
Без упованья, без сознанья, —
Но перед ним туда навек закрыта дверь,
Где радость теплится страданья.

На пароходике я стояла на носу и смотрела, как впереди бежали по темно-голубой, чуть волнующейся воде белые ослепительные молнии от солнца, на которые вскоре больно становилось смотреть. Потом, когда отошли подальше, и вода стала менее спокойна, эти огненные иероглифы превратились в белые танцующие огоньки, вырывающиеся повсюду из-под темно-голу-

[1] К. Зайцев с женой.

бой поверхности моря. День был простой, мирный с чуть прохладным осенним уже ветром. Ближе к берегу вода под нами начинала светлеть, зеленеть малахитом — это значило, что близко дно, поросшее пестрыми зелено-белыми травами. Местами были как бы озера прозрачно-зеленого, голубовато-зеленого — песчаные впадины.

В ресторанчике на острове завтракали под навесом из сухих пальмовых веток, на непокрытых деревянных столах. Вокруг были сосны — некоторые, разлегшиеся на земле пестрыми толстыми трубами своих стволов, точно уползали от нас. В некоторых было что-то не то улиточное не то змеиное — точно огромные удавы.

После завтрака стали обходить остров. Говорили о тех, кто владел Россией. И. А. говорил:

« — В сущности ты еще ни разу не подумала о том, что Россией одно время правил Керенский, этот самый неврастенический Онегин с моноклем в глазу. Потом был Ленин. А перед ними нервный, бледный офицер, без конца гладивший себе усы (он показал жестом ка́к, чуть вдавливая кожу над губой внутрь). « Малообразованный офицер », — сказал о нем Толстой. Но он не подумал, что было в этом офицере. Ведь он не русский. В нем века разных наследственностей, в нем кровь английская, немецкая — он совсем особое существо. Цари особая порода на земле. Ими нельзя сделать себя. Сколько Наполеон не воздевай на себя императорскую корону — он не царь. А царицы ! Это совсем особая порода. Никто никогда не думал об этом ! »

На обратном пути пароходик наш сильно качало. Была боковая волна. Несколько раз даже плеснуло на корму, от чего женщины тотчас стали визжать.

29 сентября

И. А. читал мне переводы обращенья Будды к монахам, восхищаясь высокой прелестью и общим строем этой речи. Потом попросил меня прочесть ему вслух его « Ночь отреченья ». Рассказал, как был в Кеннэди и видел в священной библиотеке пальмовые дощечки с

начертанными на них круглыми знаками — буддийские книги. Показывал их ему верховный жрец, человек « с сумасшедшими, сплошь черными глазами, в желтой одежде, оставлявшей правое плечо открытым ». Библиотека помещалась в подземелье, решетчатые окна которого приходились почти вровень с водой рва, и так как вокруг было много зелени, в комнате был зеленоватый отблеск. Стены были очень толстые с нарисованными на них драконами. Жрец подарил ему одну пальмовую дощечку, на которой стилетом написал тушью с золотом свое имя.

2 октября

После обеда разговаривали в кабинете о Будде, ученье которого И. А. читал мне перед тем. От Будды перешли к жизни вообще и к тому, нужно ли вообще жить и из каких существ состоит человек. И. А. говорил, что дивное уже в том, что человек знает, что он не знает... и что мысли эти в нем давно и что жаль ему, что он не положил всю свою жизнь « на костер труда », а отдал ее дьяволу жизненного соблазна. « Если бы я сделал так — я был бы одним из тех, имя которых помнят ». Но... Ананде было сказано Буддой: « Истинно, истинно говорю тебе, ты еще много раз отречешься от меня в эту ночь земных рождений... »

3 ноября

Вечер в Каннах. Справа на небе стоит огромная плоская декорация города и гор, вырезанная из темной, синевато-серой бумаги. В декорации этой кое-где светятся отверстия — в церковной башне, например. Над всем этим золотистое небо. Солнце уже зашло. Вода тиха, гладка, от нее веет свежестью. Слева зажглись огни вокруг залива и вода, голубовато-стальная, подходит к светлым дворцам больших отелей. Говорим о Нобелевской премии.

И. А.: — Нет, именно оттого, что мы так бедны и что эти деньги нас спасли бы, этого не может быть. Так

не бывает. Валери[1] будет совершенно естественно получить ее. Это ничего особенно не изменит в его жизни. У него и сейчас есть отличная дешевая, довоенная квартира, шкапы из золотистого полированного дерева, в которых множество превосходного белья... И вообще — с ним это сопрягается (писал какую-то рассудочную высокопарную ерунду), а с Мориаком, например, не сопрягается... Ну кому придет в голову дать премию Мориаку ?

Этот день был днем Всех Святых. В автобусе стояли в проходах — я сидела рядом с шофером. Передо мной убегала под автобус серая лента шоссе. Освещенная ярким солнцем дорога уходила под навес из платановых листьев, светящихся насквозь всеми оттенками желтого и коричневого. Очень часто останавливались. Перед каннским кладбищем на шоссе всюду продавали цветы, толпа в черном шла со снопами тубероз в руках.

И. А. был подавлен. Накануне он перечитывал написанные им первые главы продолжения Арсеньева. Сначала он был как будто доволен ими — особенно той, где говорилось о сближении с Ликой, а потом вдруг сразу все ему разонравилось.

Я всё думаю, глядя на него — как это таинственно! Почему он не мог писать этих глав, в которых ведь все заранее ему было известно, в прошлом году, например ? Почему надо было ему мучиться три года, прежде чем сесть писать то, что он уже вперед знал, потому что, по словам В. Н., все это так и было в его жизни ? Да, вот загадка. Не созрело ? Он сам не был готов, не смирился достаточно для того, чтобы решиться писать эту « ничтожную », как он говорит, т. е. обычную жизнь ? Я смотрю на него и все думаю об этом. Вот, преодолев тяжелую преграду вступления, он очень быстро пишет страницу за страницей, отделывая и прибавляя кое-что к ней после того как она уже перепечатана на машинке.

---

[1] Поль Валери.

6 ноября

Дело к назначению премии приближается. Газеты по утрам начинают становиться жуткими. Французской утренней газеты ждем теперь с трепетом. Развертывает ее первый И. А. Воображаю себе его волнение. Уж скорей бы упал этот удар! В прошлом году это было сделано раньше чем ожидали.

Днем неосторожная (и может быть неуместная) предпоздравительная телеграма из Берлина, взволновавшая весь дом. Вечером говорили о ней на прогулке. И. А. держится в этом положении, как он сам сказал, естественно. Излишней нервности нет — во время дела Горгулова он волновался также, а газет покупал больше. Но, конечно, все-таки беспокойно, особенно после внезапного упорного появления в печати имени Мережковского.

И все-таки он и сегодня весь день писал.

8 ноября

Ожидание известия о премии стало болезненным. Вырезка с портретом Мережковского, присланная Аргусом прессы, произвела тяжелое впечатление.

11 ноября

Премию получил англичанин — Голсуорси. Я испытала настоящее облегчение, узнав, что та тайная пытка ожиданием, которой был подвергнут в течение последней недели весь дом, кончилась. Теперь можно заняться обычными делами, перестать тревожиться, ждать чего-то, чего все равно не дождаться нам, русским. Да, все это вообще от лукавого, эта тревога с премией, длящаяся уже 2 года. Доказательство, что это так, то, что, буквально весь дом и И. А. кажется больше всех почувствовали облегчение при получении известия о назначении премии. И. А. с каким-то добрым облегченным лицом поругал шведов, мы поговорили пять минут в столовой, и затем он пошел в свой кабинет писать.

22 ноября

И. А. пишет по 3-4 печатных страницы в день. Пишет один раз рукой, перед обедом дает перепечатывать их В. Н., исправляет и дает переписывать уже на плотной бумаге с дырочками мне.

Вечером ходит со мной гулять и говорит о написанном. Пишет он буквально весь день, очень мало ест за завтраком, пьет чай и кофе весь день. Вот уже больше месяца, если не полтора, длится такой режим. Нечего говорить, что он поглощен своим писанием полностью. Все вокруг не существует. Но разговоры по вечерам бывают исключительно интересны. И никогда еще так ясна не становилась для меня вся его натура, как в этом его теперешнем писании и высказывании . . .

Сегодня во время обычного вечернего разговора я затронула тему меня уже давно интересующую: отчего он так поздно развился и отчего вообще русская литература так долго оставалась по преимуществу образной т. е. какой-то девственно-дикой, в то время как на Западе давно мыслили абстрактно. Я высказала мнение, что влияла, вероятно, природа и ее особенности. Он по обыкновению, как всегда, когда подвертывается, что-нибудь нетронутое, интересное, оживился и стал развивать мою мысль, говоря, что происходило это, вероятно, оттого, что русский человек был окружен зрелищем вещей огромных, широких и вечных: степей, неба. На Западе все тесно, заключено, из этого невольно рождалось стремление в себя, внутрь.

— Как странно, что путешествуя, вы выбирали все места дикие, окраины мира, — сказала я.

— Да, вот дикие ! Заметь, что меня влекли все Некрополи, кладбища мира ! Это надо заметить и распутать !

11 февраля 1933

Вчера после завтрака осталась у И. А. в кабинете, и он мне рассказал свой сон. Он видел во сне Лику, вы-

думанную им, оживленную и ставшую постепенно существовать.

— Вот доказательство того, как относительно то, что существует и не существует ! — говорил он. — Ведь я ее выдумал. Постепенно, постепенно она начинала все больше существовать и вот сегодня во сне я видел ее, уже старую женщину, но с остатками какой-то былой кокетливости в одежде и испытал к ней все те чувства, которые должны были бы быть у меня к женщине, с которой 40 лет назад, в юности у меня была связь. Мы были с ней в каком-то старинном кафе, может быть итальянском, сначала я обращался к ней на вы, а потом перешел на ты. Она сначала немного смущенно улыбалась... А в общем все это оставило у меня такое грустное и приятное впечатление, что я бы охотно увиделся с нею еще раз...

Слушая его и глядя на него я думала, что и правда относительно существование вещей, лиц и времени. Он так погружен сейчас в восстановление своей юности, что глаза его не видят нас и он часто отвечает на вопросы одним только механическим внешним существом. Он сидит по 12 часов в день за своим столом и если не все время пишет, то все время живет где-то там... Глядя на него я думаю об отшельниках, о мистиках, о йогах — не знаю как назвать еще — словом о всех тех, которые живут вызванным ими самими миром.

13 февраля

Дождь второй день. Вчера сад был в пару точно от мокрого белья.

И. А. так записался, что говорит « доктор идет » вместо « дождь идет », глядя в балконную дверь — видно думает о докторе, отце Лики.

17 февраля

Пришла книжка « Современых записок » и конец моей корректуры.

18 февраля

Сегодня утром в постели слушала пенье птиц в саду и думала: как передать это ? Вот точно где-то, в голубой пустыне, кто-то водит серебряной кистью, высекающей гроздья звуков. Сыплются серебряные виноградины, а иногда точно частые серебряные зернышки.

Не люблю, когда, проснувшись, зажигают в темной комнате электричество в то время как за окном яркое солнечное утро. День не должен начинаться с искусственности, со вчерашней ночи. Меня это всегда неприятно поражало в первое время здесь, когда по утрам я входила в спальню И. А. На дворе веселье, солнце, теплая голубизна, а у него темно, сыро, и вот он щелкает грушей над постелью и комната является как мрачная пещера. Я, протестуя, спешила к окнам, чтобы раскрыть их и впустить живой свет и утро. А теперь я сама зажигаю свет, просыпаясь. Тогда во мне было столько сил жизни ! Тогда я вскакивала с постели и в полутьме бежала к окну, чтобы распахнуть ставни. Теперь я зажигаю свет и встаю, накидываю халат, а потом уже иду открывать ставни.

27 февраля

Солнечное утро с крупными белыми облаками на прелестно голубом небе. Необыкновенно хороши красные палатки далеких ярмарочных балаганов внизу. После завтрака вскапывали клумбу и сажали цветы. Было потом очень приятно смотреть на кустики с красными головками из окна.

И. А. грустен и говорит, что все это скоро кончится, потому что мы совсем сядем на мель. « Все это последние месяцы ! » — говорил он. — Потом просто будет не на что жить. И Жозефа держать не на что и питаться придется еще меньше ».

7 марта

С утра перепечатывала Арсеньева для « Современных записок ». Очень хорошо все сделано ! Потом приш-

ла корректура моего романа. Ничего, даже стало казаться неплохо в чистом виде.

8 марта

Был Степун с первым визитом (они опять гостят у Фондаминских) и какое наслаждение было его слушать ! Он выспался, был весел и весь блистал, резвился, переливался, так что удовольствие было смотреть на него и слушать. При этом он столько людей перевидал, со стольким переговорил за эти последние месяцы, когда ездил с лекциями по разным городам и все это с самых неожиданных точек зрения оглядывает, с такими неожиданными жестами, дорисовывая, говорит !

12 марта

Разговор Степуна с И. А. об изобразительном творчестве и « стихии мысли ».

Степун: — Толстой... Толстой был изумителен, когда он писал образами, но едва он пытался мыслить — выходило наивно. Он мыслил « животом ». Но вот попытался он написать отвлеченную статью «О Жизни»- получилось наивно. Потому что нельзя писать так, точно в первый раз услышал об этом, о том, о чем уже писали 10 тысяч лет назад... Он не понимал напр. что может быть « пиршество мысли ». У Платона в диалогах бывает такой блеск, для которого у Толстого никогда не хватит крыльев. Он не имел этих крыльев.

И. А. утверждал, что образное мышление Толстого — это высшая мудрость. Но С. не соглашался и говорил, что Толстой не знал даже чего-то основного, что уже было например у Шекспира. Ему как-то внове или неведомо было, что « свобода есть зависимость » и что такое есть в философии свобода. И. А. говорил, что философия начинается с удивления, и что у Толстого это удивление изумительно передано. Приводил то место, где Оленин в лесу чувствует себя слившимся со всем миром, говорил о том, какие бездны тут заложены... Но С. не сдавался и утверждал, что в чем-то

Толстой был скован своей нутряной силой и прикован к земле.

Говорили также о типах святителей на Руси. И. А. сказал, что у Х. незначительность черт. Степун возразил, что для русских святителей незначительность черт вполне приемлема. Они не личность. Они освобождение от личности. « Если личность — всегда виноват ». « Ну, и святой тоже . . . всегда виноват ! » с усмешкой сказал И. А.

13 марта

Узнали о смерти отца В. Н. Она сама сказала нам об этом. Пока тиха, светла даже. Он умер 5-го. Распорядился чтоб его сожгли, что неприятно поразило В. Н.

У нас наступает бедность. Как-то само собой получилось так, что И. А. стал безработным. Сегодня говорили с ним об этом. Из « Новостей » ни слуха ни духа. Этот месяц уже очень труден, а дальше надо жить на 1700 франков четверым, отдавая на прислугу 700 фр. У И. А. такого положения, кажется, еще не было.

16 марта

Вчера был Олейников. Как всегда — смута в доме с его появлением. Он позавтракал и уехал в Ниццу, а дом еще жил отражениями его пребывания до вечера. И. А. тревожен и грустен. Говорил, что не может переносить денежной зависимости, что больше нельзя жить здесь. Положение денежное и моральное теперешнее его гнетет. В. Н. перемогается, но ходит раздавленная, больная. Л. усиленно работает на огороде.

18 марта

Степун: — « Трагедия есть уже удача в смерти. Между драмой и трагедией большая разница ».

День, проведенный со Степунами, Фондаминскими и Олейниковым. Дождь. Поездка в Ванс, завтрак, по-

том чай у Амалии и разговор за столом о необходимости « героического сознания » у современной эмиграции.

Болезненный вид И. А. Его подавленность. Наступающая бедность.

26 марта

Помимо ожиданий март вышел обильным впечатлениями: приезд Степунов, корректура моей книги, конфликт И. А. с « Посл. Новостями », смерть отца В. Н., приезд Олейникова, — все это для здешней монотонной жизни необычайно много.

Смерть отца В. Н. очень подействовала на нее. Она переносит эту смерть мужественнее чем даже смерть Мани, о которой одно время без конца говорила. В отношении отвлечения ее от погружения в мысли об этой смерти гости все-таки сыграли благотворную роль.

Степунов я продолжаю наблюдать и последнее время интерес к ней начинает перевешивать интерес к нему. Она, обычно молчащая в обществе и называющая себя « вторым сортом » вместе с Ильей Ис. (по отношению к Степуну и Амалии, которые называются ею I-ым сортом) постепенно начинает все больше высказываться при нас и тут выступает большая воля, твердость и своеобразный ум. Заметила себе ее слова о том, что подле каждого огорчения есть лесенка, по которой можно выбраться из него.

31 марта

Вчера засиделись Степун и Илюша, пришедшие без дам. Говорили о положении в Германии, сравнивали с Россией и сравнивали нации. Степун широко и интересно очертил духовный облик Германии 19 века. Потом искали в романтической германской литературе романтическую героиню и так и не нашли. Ни Лотта, ни Гретхен не годились. Степун сказал, что в Германии женщину любят, но не влюблены в нее, и там нет и не было того « любовного удушья », которым чуть не

всю жизнь платилась Россия. Разошлись поздно. Илья Ис. сказал, чтобы я пришла к нему в субботу для каких-то разговоров. В. Н. была очень бледна, лоб был натянут точно сухая папиросная бумага, неестественно сухой и белый, точно не живой. Тяжко она переживает смерть отца. И. А. устал и еле сидел к концу. Степуну же было как всегда трудно уйти: « перейти из одного состояния в другое », как он говорит.

1 апреля

Ходили с Ильей Ис. и разговаривали. Впечатление после разговора: ничего нового он уже сказать мне не может. Все советуемые им духовные пути мной пройдены. О нашем доме он между прочим сказал: « Сказать откровенно — я не люблю когда вы бываете у нас вчетвером. Так и чувствуется, что все вы связаны какой-то ниткой, что все у вас уже переговорено, что вы страшно устали друг от друга . . . »

Он говорил еще о духовной заградительной стене, которая должна быть создана, о времени, уединении, которое надо себе отвоевывать, о том как он сам, когда ему не было приюта дома, бегал работать в библиотеку. О духе мы оба согласились, что это чудо в человеке, он создает выход там, где прежде была гладкая стена и нельзя было, казалось, ничем помочь.

4 апреля

Дни все прекраснее, все голубей. Вчера так устала от работы над грядками и поливки, что лежала пластом и ноги « гудели », как говорят на Украйне. Вообще сад и работа в нем занимают почти все мое время и мысли. В город почти не хожу. Жарко и надоело.

Вчера приехал к Фондаминским Федотов. Л. был у них и видел его. Сидел у Илюши в комнате, в то время как Наташа Степун зашивала ему весьма растрепанный пиджак. Илья Ис. сказал, что они целую неделю будут « заседать » и совещаться днем и вечером о « Новом Граде ». Миф, которым живут трое взрослых,

почти пожилых людей. И. А. опять пробует писать дальше « Арсеньева ». Последние дни он ходит в черном костюме, похудел и помолодел от него.

5 апреля

Вчера опять говорили с И. А. о продолжении « Арсеньева ». Опять мучение. Опять поиски тона, с которого надо начинать следующую книгу. Говорит, что взял чересчур высокий тон во всем предыдущем и теперь это стесняет. Все-же что-то нашли в разговоре. Он рассказывал и видно уже выработалось это в уме, сцену в полицейском правлении.

Вчера, когда я пересаживала маки, в сад пришел Федотов. Провел у нас часа три, обедал. Помогал мне сажать фиалки, греб землю руками, очень старался. Потом сидели все под пальмой, за новым садовым столом, доставленным вчера Рукье. Федотов рассказывал об общих знакомых, о собрании, на которое пришли французские коммунисты, о Жиде. За столом они с И. А. спорили о Христе. И. А. утверждал, что пришествие Христа было подготовлено в мире, было неизбежно; Федотов говорил, что это было подобно впечатлению от неожиданно разорвавшейся бомбы. Тотчас после обеда он попрощался и ушел. У них теперь каждый день заседания по выработке идеологии « Нового Града ».

Федотов держится на людях очень неловко, мучительно, как-то корчится, отводит глаза, вообще производит связанное, затравленное, как бы боящееся оскорблений впечатление. Сказал мне между прочим, что после парижской обстановки чувствует себя здесь в раю. Приехал он всего на неделю.

6 апреля

Вчера было опять у нас « политическое » заседание и опять очень интересно говорил Степун о том, что несчастье мира в том, что люди разучились стареть, не умеют, не хотят, продолжают оставаться молодыми и даже хоронят теперь как-то тайком, бочком (в Герма-

нии, в Америке) в автомобиле. « Я бы уже предложил для полного порядка выкрасить этот автомобиль в синий цвет и написать на нем « Шоколад Менье » . . .

В разговорах заметно было, что Степун и Федотов чувствуют себя очень разными и далекими. Потом с Федотовым и Илюшей искали по французской литературе благоприятных для возрождения мира » признаков и ничего не нашли. У англичан полное безбожие, у французов или мрачность католиков или « ягодка над бездной », как выразился Федотов.

13 апреля

Исповедывалась и причащалась в Каннах. Стоя обедню думала все время о детстве, юности, о деде, о доме, также и о матери, связывая себя в своем теперешнем возрасте с нею такой, какой помнила ее, когда мне было лет шестнадцать. Здесь быта нет и все разваливается — это очень заметно даже на прихожанах, которых становится все меньше, а молодые, приходящие в церковь вероятно по настоянию родителей, совершенно не знают как держаться в ней и не чувствуется в них никакого даже уважения к месту.

Перед вечером читала « Суходол » и потом долго говорила о нем с И. А. Прочла его сознательно впервые. Несомненно вещь эта будет впоследствии одной из главноопределяющих и все творчество и духовную структуру И. А. Он сам не знает до какой степени раскрыл в Суходоле « Тайну Буниных » (по Мориаку).

Удивительно как это написано. Сначала не понимаешь даже о ком и о чем читаешь и почти это неинтересно, а потом оказываешся вовлеченным, зараженным, живущим в этом, вместе с действующими лицами и сострадающими с ними. В русской литературе нет ничего похожего. Тут взгляд и изнутри и вместе с тем как будто не по традиции, не по канону, точно пришедший смотрит и говорит. И никакого преувеличения, чувствуемого мною, например, в « Снах Чанга ».

15 апреля

Страстная суббота. Денег в доме почти нет, но яиц нам принесет Жозеф, краска уже куплена, также как и маленький кулич. Разговляться же мы будем у Фондаминских.

У Фондаминских впрочем дела тоже очень плохи. За этот месяц Илюше прислали половину причитающихся денег. Ему вероятно придется ехать в Париж. И на него у меня очень переменился взгляд. Я вижу в нем усталого, задерганного человека, так же как и мы, грешные, нуждающегося в атмосфере любви и благожелательности и теряющегося, когда этой атмосферы нет.

С И. А. хожу гулять и говорю об « Арсеньеве ». Вчера печатала вторую главу. Арсеньев и Лика едут в Полтаву, собираются жениться.

Вчера на минуту задремала перед обедом и представила себе « детский » Киев. Какой уют, безопасность, сказочность в детстве ! Каждое самое малое ощущение приобретает особый смысл, в каждое хочется войти в самую середину, поворочаться в нем, почувствовать все своим теперешним « знающим » существом. Да, гегелевская триада, вероятно, осуществляется и над жизнью человека: непосредственность, бессознательность, принуждение, и опять возвращение, но уже сознательное, к непосредственности. Вся моя теперешняя работа над собой в том, чтобы освободить в себе все хорошее, нужное, непосредственное, отбросив ненужное, сорное, портящее. Тогда — опять писать. Поэтому почему-то жду свою книгу, что-бы подвести какой-то итог начисто.

Еще важнее замеченное давно. Надо удерживать себя, когда работаешь, когда думаешь, пишешь, от спешки и от выбрасывания лишних слов, которые выбрасываются именно от лени, от нежелания сделать над собой усилие, подождать и найти верное слово. **Не довольствоваться приблизительными словами и мыслями !** Награда в самом сознании усилия, в чувстве, что поступаешь, как надо.

17 апреля

За эти два праздничных дня истинно хорошее — только промежутки между сборищами, питьем, едой и сором разговоров. Истинно же прелестное — ветки и запах белой сирени, положенной на приборы у Самойловых,[1] и свежесть, пустынный вечерний запах гор, просторов лесов, обвевавших до дороге к дому С-х, стоящем в уединении и просторе настоящей деревни, где кроме склонов, да оливок, да грубых и прекрасных деревенских домов ничего нет. Эта вечерняя свежесть, звезды над простыми линиями полей, гор, успокоительно и прекрасно напоминали о самом лучшем, что бывало в жизни: о первых ощущениях деревни, смешанных с юностью, с гордой уверенностью в своем особенном, скором счастьи...

Запах белой сирени, стоящей сейчас передо мной, уже чуть привядшей, чуть тронутой ржавчиной увяданья — какой он ? Чуть кисловатый, девственный, неразрывно связанный с юностью, с детством. Наш сад, первый мой сад в жизни, был полон сирени. Я не знала тогда, что буду любить ее потом. Теперь после долгого промежутка одна ее ветка побуждает меня вернуться во все то, посланницей чего она является. Все наши вкусы, любви, предпочтения, неприязни — есть в сущности приятные и неприятные воспоминания первого нашего знакомства с разными вещами на земле. Сирени было так много в Киеве, что ее не считали благородным цветком. Но вот теперь, в постоянной разлуке с предметами моей первой жизни, я испытываю к ней какое-то благодарное, нежное, сложное чувство. И в запахе ее есть что-то в о з в ы ш е н н о е...

21 апреля

Вчера последний вечер со Степунами. Ф. А. читал написанную здесь статью о современной Германии.

---

[1] Соседи, жившие в 7 клм. от Буниных.

Статья талантливая, но парадоксальная. Спорили и вообще говорили о статье мало. Все были утомлены после праздников и перед отъездом. Простились с виду как бы сердечно, в душе же кто кого знает ?

27 апреля

Моя книга. Тонкая, в зеленой обложке с серебряной наклейкой. Пробежала ее до завтрака всю, устала, как пьяная лежала потом после завтрака. Нет, ничего. Позора не будет, как казалось зимой в Париже. При чтении это все же что-то е с т е с т в е н н о е : и люди оживлены, и мир их вызван, хотя, конечно, можно было бы сделать все это и в более сильной степени.

19 мая

Вчера И. А. очень хорошо говорил у Фондаминских о необходимости напряжения.

« Можно прожить так свою жизнь. Но если ты хочешь чего нибудь повыше — напрягись, напрягайся ежедневно так, чтобы вены вздувались. Только страшным напряжением можно чего-нибудь достигнуть. Ты живешь в четверть данных тебе сил ».

20 мая

Вчера Илья Ис. так родственно интересовался отзывами о моей книге, так сердечно говорил и поздравлял ! Он находит, что « мы выиграли дело ». Рецензия Адамовича обсуждалась вчера всем домом.

Ну, что-же, пусть пишут, что хотят. Мне же надо продолжать писать свое.

Резюмируя все-таки должна сказать, что с книгой поступила правильно. Ее нужно было издать для собственного моего какого-то душевного завершения. Она как-бы развязала мне в чем-то руки.

23 мая

Вчера вечером обедал Илюша. Как всегда говорил

о том, что мир накануне великого переворота, великих событий. Илюша говорил очень увлекательно, объяснял в чем должно состоять разоружение, как будут все страны сжигать свои аэропланы и топить суда. И. А. утверждал напротив, что мир опять завершает круг, а не идет вверх спиралью, как думает Илюша. Были всякие исторические примеры. Мы рыскали по истории мира с легкостью ласточек. Глядя на Илюшу, я верила ему, он мне мил, приятен, я его очень люблю, и он всегда хорошо действует на меня, как доза возбудительного, но когда мы проводили его и пошли гулять одни, я почувствовала, что его пыл и вера ненадежны. Он живет этим и из всего берет себе питание для жизни. В минуты, когда дела идут уже исключительно скверно, он унывает и все-таки ищет изо всех сил, чтобы найти такое, на что можно опереться, сесть и поскакать... Но он лучше всех, кого я знаю, хотя и ограничен в своем — и я не представляю себе здешней жизни без него.

Стараюсь находить себе всюду работу и быть веселой. Сад цветет. Мы его каждый день чистим.

28 мая

Мой рассказ напечатан с выпуском довольно большого куска. Часть денег за него возьмут в кассу за долг, остальное надо послать в Киев бабушке, а я останусь опять надолго без ничего... Хуже всего долги. Их у меня на полторы тысячи. Думала о нашем положении писателей-эмигрантов. Вот еще один не выдержал — недавно покончил с собой Болдырев. С год назад умер от нужды Борис Буткевич. Все талантливые, упорные. Но обстоятельства оказались сильнее. Все одинокие, без быта, без семьи, издерганные событиями в критическое время молодости, все, лишенные самого необходимого и без надежды на будущее... Следующим будет уже легче, они корнями в здешнем, а мы — ни то ни сё — на рубеже.

3 июня

Мориак выбран в Академию. Искренно рада. Сегодня в газете его портрет с 4 детьми. Не знала, что у него такая большая семья.

И. А. вчера на прогулке говорил мне:

— Не знаю, сумею-ли тебе объяснить... поймешь ли ты меня. Дело в том, что с годами, а теперь особенно, я все больше начинаю чувствовать в себе какой-то... Петраркизм и Лаурность... т. е. какое-то воплощение всего прекрасного, женского, во что-то одно во мне... что и правда подобно тому, что я писал в прошлом году о Петрарке — « Прекраснейшая солнца »...

Мы стояли у решетки. Вдали был Грасс с цепями огней, похожий с этого удаленного бульвара на какой-то приморский город. Горы были по летнему плотны, мягко-фиолетовым телом своим закрывали полнеба. Акации над нашими головами были неподвижны. Великая прелесть была в этом теплом сухом летнем вечере...

8 июня

Нежданно-негаданно вдруг письмо от Олейникова с гонораром за мой роман — 200 франков и открытка от Бицилли из Болгарии, в которой он поздравляет меня « с блестящим разрешением задачи, которую вы себе поставили — обновление формы автобиографического романа », и пишет, что хотел-бы написать о нем в « Современных Записках ».

19 июня

Письма от С. Зайцевой [1] и Ходасевича. Странное дело ! Теперь чуть не каждый день какие нибудь письма о моей книге ! В тоне Ходасевича прорывается что-то даже как будто сердечное. Он пишет, что непремен-

[1] С. А. Зайцева, жена К. Зайцева.

но будет писать о книге, на что я, кстати, ни мало не рассчитывала.

22 июня

Образ Ильи Исид. на этот раз кажется по настоящему вырисовывается у меня. Надо сказать, что он конечно в первую очередь « друг человечества » — следовательно ничей. Он обращен весь к массам, но не к о отдельному существу. К нему он бесконечно требователен. У него попадаются чрезвычайно может быть и верные, но жестокие слова. « Ведь это только послушать И. А. когда он рассказывает о своей последней поездке в Париж ! » — говорил он: « Вот до чего можно себя довести ! Для И. А. съездить в Париж — путешествие через Ниагару. Так и можно довести себя до того, что не сможете доехать до Парижа. Надо преодолеть это . . ».

Он говорил, что не ждал такого успеха моей книги и что это для меня должно-быть самое главное. « Как ни как теперь уже сомнений нет. У вас есть талант. Большой или маленький, это не важно. Важно то, что значит есть брильянт, а не простой камень. Вы этой книгой получили признание, вставились в какую-то иерархию. Это должно быть для вас самое главное. А остальное надо преодолеть ».

25 сентября

Вчера были в первый раз Карташевы. Я слушала его в первый раз и оттого не могла оторваться. Он сын крестьянина, но лицом, выраженьями его похож на священника и так легко представить себе это лицо с закрытыми глазами, суровым, блаженно-молитвенным перед алтарем. Он и сам шутил: « Я бы надел рясу, да вот жена не пускает ! »

И. А. нарочно, чтобы показать его мне, задавал ему вопросы о том, о сем, о разных лицах эмиграции. Впрочем, началось с Толстого. Карташев сказал, что он его никогда не видел потому, что не стремился к

нему, его смолоду глубоко отталкивало все то, что окружало Толстого и его религиозно-философские убеждения. « Это так плоско, убого, безграмотно ! » ужасался он. — « И все это замалчивают ! Это стыд ! Вот взять хотя-бы его толкование Евангелия — он там учил греческий язык и переводил. Я на своем семинаре говорю слушательницам, показываю, они видят как это безграмотно, произвольно — совсем не то ! »

— А Владимира Соловьева вы видели ? — спросил И. А.

— Видел. Не то, что сам поехал — я не любопытный человек — а приехали, повезли показать и показали. Ну, что-же, известный шарм есть.

И. А. спросил о Федотове.

— Федотов, видите-ли, это один из тех интеллигентов, которые насквозь прогнили ненавистью к России, ко всему ее прошлому, ко всему ее укладу. Он, после Карсавина, был у Гревса самым талантливым учеником. Но он для России будущей потерян. Он умный — потому скрывается, но он ведь большевизм лучше примет, чем прежнее ! И вот этот «Новый Град» — эти прежние интеллигенты, которые вместо того, чтобы покаяться, принимаются за старое — это покойники ! Они бегут за молодежью — а молодежь теперь это хаос, хлябь, ничто ! Надо было бы отойти, сидеть и ждать пока молодые придут просить научить уму-разуму, а не кадить и не подделываться. В этом отношении опозорился Бердяев — напоследок вдруг забежал !

— А что такое, по Вашему, младороссы ?

— Дикарьки ! Это мускулы. Материал. Они могут хватиться и за какое нибудь хорошее дело — совсем не за то, которое они себе воображают. Казем-Бек — он не без таланта. Вообще же это все дрожжи будущего гитлеризма. Гитлеризм-же теперь мода. Это будет на всей земле. А для такого Казем-Бека бог — это мода.

Он хорошо сказал о священниках:

— Знаете, поколеньями стояние перед алтарем

даром не проходит. Для о. Булгакова стояние перед алтарем это же небесное пиршество !

О « Современных записках »: « Это омнибус ».

Я все смотрела на него, когда он говорил. Какая сила от него исходит ! Говорит он неудержимо, страстно, почти запальчиво, удерживая рукой речь собеседника. Жену Карташева я видела мало и совсем не слышала — В. Н. почти тотчас увела ее наверх к больному Л., и она просидела там почти по конца. Она большая, полная, видимо очень энергичная и умелая. Л. потом восхищался ею: настоящая русская женщина, настоящая жена, хозяйка ! Настоящая женщина с сердцем !

11 октября

И. А. вчера вечером рассказывал измену Арсеньева Лике в Кременчуге с некоей Марьей Васильевной, женой члена суда. За обедом — мы были одни т. к. В. Н. ездила в Канны — рассказал также вдруг свой роман в Люсдорфе с Климович, у которой был уже жених. Впрочем дальше поцелуев дело не пошло. Вчера немного диктовал мне.

13 октября

Пришла книжка « Соврем. записок ». В ней статья Адамовича об И. А. и рецензия Бицилли на мою книгу. Рецензия, спору нет, лестная, но беда в том, что о самой книге мало, а больше по поводу. Кроме того пришел запрос И. А. из Холливуда — хотят купить у него для фильма « Господина из Сан-Франциско ». Это может быть очень большое дело, но лучше не надеяться.

15 ноября

И. А. уехал и мы немного опомнились только проводив его. Я и сейчас еще не в вполне нормальном состоянии, но мне хочется записать все эти пять с половиной дней по горячим следам.

В четверг 9-го был тяжелый день: ожидание. Все были с утра подавлены, втайне нервны и тем более старались заняться каждый своим делом. Я с утра пошла в сад сажать луковицы нарциссов. И. А. сел за письменный стол, не выходил и как-будто даже пристально писал (накануне он говорил мне, что под влиянием происходящего с какой-то « дерзостью отчаяния » стал писать дальше). День был нежный, с солнцем сквозь белое, почти зимнее русское небо. Я смотрела в третьем часу на широко и кротко упавший с неба свет над Эстерелем и думала о том, что на другом конце света сейчас решается судьба Бунина и судьба всех нас. И у меня было уже не нормальное состояние, и это небо и этот день, и город внизу уже были не те, что обычно. Л. спросил, что делать в случае, если придет телеграмма из Стокгольма, (мы решили пойти днем в синема, чтобы скорее прошло время и настало какое-нибудь решение) и сам же ответил, что придет за нами.

В синема И. А. был нервен и сначала даже плохо смотрел. В зале было холодно, он мерз. Первое отделеные прошло, в антракте мы вышли на улицу, он ходил в бар напротив пить коньяк, чтобы согреться. Когда началось второе отделенье я несколько раз оглядывалась, но еще все-таки было рано тревожиться, т. к. было всего четыре часа. Тем более странно (странно тем, что уже мысленно вперед пережито и сбывалось), когда, оглянувшись на свет ручного фонарика, внезапно блеснувшего позади в темноте зала, я увидала у занавеса двери фигуру Л., указывавшего на нас билетерше. « Вот . . . пришел . . . » сказала я И. А., мгновенно забыв его имя. Все последующее происходило как-то тихо, но тем более ошеломительно. Л. подошел сзади в темноте, нагнулся и, целуя И. А., сказал: « Поздравляю Вас . . . звонок из Стокгольма . . . » И. А. некоторое время оставался сидеть неподвижно, потом стал расспрашивать. Мы тотчас вышли, пошли спешно домой. Л. рассказал, что в четыре часа был звонок по телефону, он подошел и разобрал: « Иван Бунин . . . Prix

Nobel . . . » В. Н. так дрожала, что ничего не могла понять. Узнав, что самого Бунина нет дома, обещали позвонить через пол часа, и тут Л. побежал за нами. Дома нас встретила красная и до крайности взволнованная В. Н., рассказала, что уже опять звонили, поздравляли из Стокгольмской газеты и пытались интервьюировать ее. И. А. все переспрашивал, как-бы боясь ошибиться. Потом начались почти непрестанные телефонные звонки из Стокгольма и разных газет. За огромностью расстояния никто ничего не понимал, и говорить и слушать и отвечать на интервью приходилось почти исключительно мне, так как я одна могла хоть что-нибудь улавливать из гудящей трубки. Около пяти часов принесли первую телеграмму от Шассэна. « Поздравляю с Нобелевской премией. Обезумел от радости. Шассэн ». Потом телеграмму от Шведской Академии. Тут уж мы все поверили. Но это было только начало . . . Весь вечер не умолкали звонки из Парижа, Стокгольма, Ниццы и т. д. Уже все газеты знали и спешили получить интервью. В столовой сидел представитель ниццской шведской колонии кап. Брандт, приехавший поздравлять из Ниццы. За обедом мы выпили шампанского (и Жозеф с нами) И. А. был чрезвычайно нервен, на всех все время сердился, и все вообще бегали и кричали.

В десятом часу мы с И. А. вышли в город. В парке Монфлери, в темноте кто-то неинтеллигентным голосом навстречу: « Не знаете ли где здесь вилла Бельведер ? » « Здесь ». « Я ищу Бунина, кот. сегодня получил премию Нобеля ». « Это я ». Волшебное превращенье. Изменение тона, поклоны, представленья. Корреспондент от Ниццской газеты. Но ничего не знает, говорит с грубым акцентом, спрашивает за что дали премию . . . не знает даже что Бунин писатель.

Интервью было дано тут же по дороге, он спустился с нами в Грасс. На бульваре нас поймали еще два журналиста, отыскивавшие Бельведер уже в течение двух часов и наконец обратившиеся к начальнику полиции, кот. был кстати тут же налицо (очень милый,

скромный, интеллигентного вида человек). Нас повели в помещенье « Пти нисуа », принесли из кафе напитки и тут же началось спешное интервью. Потом была сделана первая фотография, на следующее утро появившаяся в Эклерёре, вместе с интервью, которое пришлось давать мне, т. к. И. А. был так взволнован, что не на все сразу мог отвечать.

Следующее утро — прекрасное, солнечное — началось со звонков, телеграмм и новых интервью. В. Н. пошла в город к парикмахеру, мы принимали всех одни. Влетели князь и Ася [1] в белом, с огромным букетом белых хризантем. Их оставили завтракать. « Как весело, как интересно ! Это один из самых счастливых дней моей жизни ! » восклицала Ася. Князь тоже был необычайно возбужден, оба они наперерыв засыпали интервьюера-француза сведеньями о всех присутствующих. Потом нас всех вместе снимали за столом, заставленным бутылками. И. А. на этот раз был мил, растроган, очень ласков с журналистами и фотографами.

После завтрака зачем-то поехали на автомобиле в Ниццу и устали, конечно, страшно. В городе, куда я пошла на следующий день за покупками было очень забавно встречать разных людей и слушать то смущенные, то любопытные, то удивленные поздравления. Носильщик подошел ко мне и величественно протянув руку, сказал с достоинством: « Je suis satisfais ». Неприятные хозяева книжного магазина Ашетта встретили с чрезмерно любезными лицами и стали просматривать и отбирать газеты, где были портреты и статьи. На улице ко мне бросилась дама из другой книжной лавки, прежде не хотевшая кланяться И.А. т. к. он не покупал у нее книг, стала оживленно поздравлять и спрашивать какие книги переведены на французский т. к. все теперь спрашивают книги Бунина. « Это большая честь для него и для Грасса тоже... » Фотограф сказал мне, что швед, пришедший в первый день с ним

---

[1] Князь и княгиня Кугушевы.

на виллу Бельведер, дал ему адрес и он уже разослал все снимки, включая даже крохотный для паспорта.

Дома, когда я пришла, сидел какой-то важного вида пожилой корреспондент и мэр Грасса Рукье, накануне приславший сноп роскошных цветов, о которых И. А. с ужасом, поморщившись, сказал: « К чему эти цветы ! В этом есть что-то... » (он, конечно, хотел сказать « погребальное »). На следующий день мы с В. Н. ездили в Канны, купить себе кое-что из самого необходимого, одеты мы были последнее время более чем скромно. Все это время в доме не было денег. Только в понедельник пришли три тысячи из Парижа по телеграфу. И. А.решил ехать в Париж во вторник. Мы еще долго говорили накануне в его кабинете, он с карандашем считал. Выходило, что для поездки в Швецию надо 50 тысяч. Мы слушали, слушали и все хором сказали, что он должен ехать в Стокгольм один.

Во вторник мы его провожали. Весь день он собирался, как всегда сам укладывая вещи, никому не позволяя помочь себе, крича, разговаривая по телефону, просматривая приходящие телеграммы и письма. Обед был праздничный, и за столом говорили о том кому из писателей и сколько надо будет дать из премии и насчитали сто с лишним тысяч... [1] Вез нас на вокзал знакомый шофер. Приехали за 10 минут до отхода поезда. На этот раз И. А. ехал в первом классе, в спальном вагоне. Поезд ушел, мы оглянулись... и пришли в себя только через час.

16 ноября

Вчера день прошел относительно спокойно. В. Н. с утра уехала в Ниццу делать покупки. Погода была ясная, холодная. Почтальон принес опять гору писем, телеграмм и газет и второй том « Жизни Арсеньева », только что вышедший в Швеции. Мы долго разбирали все это в моей комнате. Среди писем было между

[1] Что и было впоследствии сделано.

прочим поздравление « императора » Кирилла, очень много просьб из разных стран и шведские газеты с портретами И. А. на первой странице.

В четыре часа первый раз звонил из Парижа И. А. Доехал благополучно, его встретили на вокзале, прямо повезли в ресторан Корнилова. Был завтрак, который стоил 1.000 фр., и Корнилов отказался взять деньги, сказав, что это для него честь. Остановился в отеле Мажестик. « У меня целые апартаменты в несколько комнат, очень спокойных, и плату, сказали, будут брать как за самый маленький номер, так как для отеля это реклама, что у них остановился нобелевский лауреат... Сейчас еду в « Новости », где ждут французские интервьюеры. Позвоню еще в шесть... » Но не позвонил до половины седьмого, а нам с Л. пора было уже ехать на обед к Кугушевым.

У Кугушевых (В. Н. приехала туда в новой шляпе, с коробками в руках, усталая и довольная) было просто и весело. Говорили, кричали, перебивали друг друга за столом. Ася рассказывала, что в первый же день после объявления премии к ним приехал поздравлять их с « Буниным » сосед с букетом, что другие соседи на них обиделись за то, что они не взяли их с собой в первый день, когда ехали к нам и т. д.

17 ноября

Страшный дождь с грозой и градом весь день вчера и сегодня. Мы все еще не очнулись до конца. Я вообще не могу освоиться с новым положением и буквально со страхом решаюсь покупать себе самое необходимое. (Вчера несмотря на дождь ездили с В. Н. в Канны и возвращение было фантастическое, с дальними огнями Грасса впереди, в темноте, за осыпанными крупными слезами окнами автобуса и чувством, что все это кончено и наша жизнь свернула куда то . . .).

Вчера до ночи рылись в бумагах И. А., в его письмах, портретах, папках, отыскивая, по его просьбе, старые условия с издателями, и было в этом что-то почти жуткое для меня — в том что теперь можно рыться

в этом, обычно так ревниво охраняемом и закрываемом на ключ от всех.

Сегодня опять был звонок от И. А. по телефону. Он сказал, что берет с собой в Швецию секретарем Я. Цвибака[1] и что предполагает пока жить в Мажестике. Его очень чествуют, газеты полны его портретами во всех возрастах, статьями о нем, описаниями его прибытия в Париж.

И. А. звонил опять. Говорил, что почести ему большие, но что он уже очень устал, по ночам не спит и что ему очень грустно одному. Он еще не одет для Стокгольма, но уже был портной, кот. будет шить ему фрак, пальто и т. д. Мы должны приехать в Париж приблизительно через неделю к большому банкету в его честь.

Его снимали уже для синема, он говорил перед микрофоном.

П а р и ж

28 ноября

Первый вечер более или менее спокойный. Я одна. Были с И. А. в « Москве », где нас угощали икрой, осетриной, шашлыками, старым арманьяком, ананасами. Денег не взяли, как водится теперь в русских ресторанах, когда там бывает Бунин. Он дал на чай гарсонам 150 франков.

Сейчас около 12-ти. В. Н. как обычно нет дома вернется она, вероятно, не раньше начала первого. Всё носится по знакомым.

Уже поздно. Сумрачные старые коридоры Мажестика освещены темным светом. Никогда не думала, что буду жить здесь. Но все, исполняясь, бывает не так, как воображаешь. Девятого ноября наша жизнь переломилась не « сказочно », как говорят теперь некоторые знакомые, но все же переломилась. Не знаю,

[1] Андрей Седых.

что будет дальше. И. А. настаивает, чтобы я ехала с ними в Стокгольм, но я колеблюсь. Я затормошена, затуркана, плохо сплю, все думаю, что хорошо бы мне настоять на отдыхе где нибудь вдали от всего и всех... Кроме того я мучаюсь тем, что вижу все промахи, сделанные вокруг и поставленные в счет Бунину, который повинен в них очень мало, и я не радуюсь до сих пор перемене в нашей жизни.

1 декабря

Езжу с Мелитой Левиной целые дни по магазинам, покупаю все необходимое В. Н. и себе. До сих пор не в силах написать ни одного письма, съездить в редакцию. Сумасшедшая езда по магазинам и примерки отнимают все время. Виза мне уже дана.

И.А. несмотря на усталось, все же чествованиями доволен и растроган. Старается не пить, бережет себя для Швеции. О моем паспорте хлопотал он сам, а устроил все Густав Нобель. Яша,[1] « le magnifique », как называет его Мелита, принимает все более командорский вид. Временами у него бывают жесты почти полководца. На И. А. он имеет большое влияние и не даром. Сегодня он ездил с Мелитой и за три часа купил, все, что нужно, включая чемоданы.

3 декабря

Проводы. Train bleu. Десять часов вечера. Толпа на вокзале.

Вечером после обеда в вагоне-ресторане стояла в коридоре и смотрела в окно. Ночь, незнакомая страна, уже Бельгия, лунная ночь, блеск реки под какими то остроконечными черными сопками. Вагон швыряло, я стояла, смотрела, все думала... Кажется впервые за этот месяц на несколько минут осталась одна. Все еще не понимала до конца, что заколдованный круг нашей

---

[1] Я. М. Цвибак (Андрей Седых).

жизни распался, что мы уехали из Грасса и едем в Швецию, в которой никогда не предполагали быть.

Ночь. Не сплю. Стояла в коридоре с И. А., смотрела в окно. Наш вагон теперь стал последним. Белизна снега, пути, высокие мрачные деревья, совсем иного вида чем на юге. Потом — огни, заводы, вышки и все это живет странной зловещей жизнью, что-то пылает, что-то как будто льют. Германия работает даже ночью. Около часу переехали германскую границу. Трое немцев осматривали, смотрели какие у нас газеты, но узнав что И. А. — Nobelpreisträger, поклонились и ушли. И. А. потребовал у проводника бутылку Рислинга, пили его у него в купе, он был весел, говорил, что так всегда путешествовал прежде.

4 декабря

Разбудило кофе. Напились с удовольствием, потом я оделась и вышла в коридор. Ганновер. Чистый огромный вокзал, на часах без двадцати восемь, в то время как на наших, французских, на час раньше. Окна в купе замерзли, на площадке лежат куски льда.

Новое чувство от снега в садах, от иной более напоминающей русскую архитектуру домов . . .

Солнце, плоские поля, далекие деревья на горизонте, лань в еловом лесу, оглянувшаяся на поезд.

Гамбург. Днем были с В. Н. и Яшей в Зоологическом саду. Далеко. Шофер вез нас по берегу Эльбы, я с наслаждением смотрела на ее ширину и на кое-где уже остановившийся лед. Вообще в атмосфере этого в общем мрачного, грязного и провинциального города есть что-то напоминающее молодость, Россию, скитания во время революции. Давно уже забытое ощущение холода в руках и ногах — всюду снег и температура, совсем иная чем в Провансе и даже Париже последних дней, доставляет какое то грустное удовольствие. Зверей видели мало, и все они довольно угрюмы, не исключая и обезьян, среди которых были впрочем и удивительные, особенно одна — настоящий балетмей-

стер. Хождение по огромному пространству парка нас так утомило, что, приехав домой я заснула как убитая на немецкой, с периной в ногах постели.

В течение дня два раза была тяжелая немецкая еда, к которой мы все не привыкли, а обедали почему-то под сенью маленького красного муарового флажка с черной свастикой. Этих флагов я уже много видела на улицах. Много здесь молодых, как-то особенно много, и все в сапогах и фуражках, напоминающих военные и вид у них тоже напоминающий наши революционные дни. На улицах неожиданно грязно.

И. А. никуда не ходил и не ездил, весь день пролежал в постели — нечеловечески устал за эти последние дни, — и только после обеда, вечером ходил с Яшей Ц. на вокзал, разговаривать о билетах. Плацкарты наши из-за опоздания пропали.

Гамбург мне в общем не понравился. Масса всего в магазинах и всё дешево, но всё грубоватое, посредственного качества. Люди очень вежливы. Вечером в ресторане играла музыка с каким-то залихватским весельем. И. А. не понимает по-немецки и сердится на то, что его не понимают и что все не идет так легко и молниеносно как в Париже.

Утром, в половине восьмого разбудил стук в дверь. Ночь проспала глубоким сном. Утро, на улице приятный холод, в серо-сиреневом угрюмом тумане шпили башен и круглый силуэт вокзала. И. А. исчез, пришел уже к поезду. Наш вагон идет до самого Стокгольма, его поставят на паром в Сасснице.

В девять без десяти тронулись. Приятное утро, красное круглое солнце в конце улиц за деревьями. Пошли поля, покрытые снегом. Большие прекрасные деревья. Мы с В. Н. и Яшей в одном купе, И. А. в отдельном 1-го класса. В десять часов была первая остановка в Любеке. Вышла на платформу. Мало народа. Холодно. Мальчики в каких-то формах продают шоколад, еду, газеты. Нам переменили паровоз, теперь мы едем в обратном направлении. Видела как немцы поднимают по-гитлеровски руку, здороваясь.

Проехали большое красивое озеро, носящее название Малого Озера. Мельница на пригорке, леса. Я вначале думала, что это уже морской залив. Я. М. читал нам лекцию по истории Швеции. И. А. спит. Я перешла в третий класс, где так же хорошо как и в первом — все в одном и том же вагоне. Лежу на бархатном коричневом диване. На стене графин с водой, стаканы в гнездах, очень чисто. В окнах все такой же плоско-белый, с черными тонкими деревьями пейзаж. Куда-то подъезжаем. Опять мельница, строенья, трубы, башни из красного кирпича.

Восточная Пруссия. Убитые олени в багажном вагоне в Ростоке.

Только что перевезли наш вагон на пароме по тихому серому заливу. Чайки, их крик, шпиль в сером воздухе, похожий на воображаемый и виденный только на картинках шпиль Адмиралтейства в Петербурге. Снимались на борту парома вчетвером. Долго стоим. Возят то взад, то вперед. Завтрак в вагон-ресторане был очень хороший и стоил 150 фр. в то время как во Франции — 200 и очень плохой с плохим вином.

Из окна, подле залива: срезанный высокий бурый берег, скудность, березы, маленький местный поезд третьего класса. Стоим бесконечно. Каким естественным кажется французский язык по сравнению с тем, которого не знаешь!

Чем ближе к морю, тем снега меньше. Озимые, стога сена. И. А. говорит что это как в России. Стало много теплее чем в Гамбурге.

Курган, обросший деревьями. Едем по острову Рюген, подъезжаем к морю. Только что миновали большое замерзшее озеро. На льду птицы. Снега уже никакого, лес низкий, серый, травянистые чахлые склоны. В. Н. говорит, что пейзаж как под Петербургом.

На пароме в Сасснице. Вагон приковывают цепями. Рядом другой поезд, из Берлина.

Вечером, 11-ый час.

Переезд был совершенно спокойный, качки ника-

кой, да и вообще это ничуть не походило на морское путешествие, хотя было очень своеобразно. Обедали уже в ресторане парома в обществе первого шведского журналиста, выехавшего нам навстречу и интервьюировавшего И. А. и В. Н. во время перехода. Обед был прекрасный, особенно закуски (копченые и заливные угри, заливная курица, салат из яблок и грецких орехов под майонезом и пуддинг с фруктами).

В Мальмё нас встретила депутация под предводительством русского, Хадомирова, и толпа журналистов. Снимали при выходе из вагонов. Шведская журналистка поднесла В. Н. цветы. Потом началась кутерьма с плацкартами, — нобелевский лауреат оказался изгнанным из своего купе, так же как и его « свита ». Оказалось кто-то в чем-то напутал. Теперь, слава Богу, ночь и можно отдохнуть. За окном идут тяжелые хвойные леса в снегу.

6 декабря

Стокгольм

Утро началось неприветливо, серо, с темноты и огней в еловых лесах. На последней станции перед Стокгольмом вскочил молоденький журналист, ехал с нами до Стокгольма, расспрашивал и записывал с чрезмерной молодой серьезностью, стараясь сохранить свое достоинство. На вокзале в Стокгольме встретила уже толпа, русская и шведская. Какой-то русский произнес речь, поднес « хлеб-соль » на серебряном блюде с вышитым полотенцем, которое кто-то тотчас же ловко подхватил. Несколько раз снимали, вспыхивал магний, а вокруг было еще как будто темно . . . Вышли из вокзала, у входа ждал аппарат синема, потом повезли по снежным улицам. Первое впечатление от Стокгольма очень приятное: набережная, вода, дворцы, чуть прибеленная снегом земля. Не холодно. Во всем есть полузабытое, русское, родное. Дом Нобеля глядит на канал и на тяжкую громаду дворца за ним. Квартира великолепная, картины, кресла, столы из красного де-

рева и всюду цветы. Нам отведен отдельный апартамент: три комнаты с ванной. Служит специально выписанная для этого из Финляндии русская горничная, молоденькая, смышленая, любопытная.

Перед закатом прошлись с хозяином дома, Олейниковым, по главной улице. Уже зажглись огни — здесь чуть не в три часа темнеет, — было холодней чем утром. После залитого светом Парижа Стокгольм кажется темным, несмотря на обилие фонарей. Зато канал в фонаре нашей комнаты, переливающийся огнями, все время напоминает Петербург. Завтра здесь предполагается первый большой обед на сорок человек, на котором будет присутствовать вся семья Нобелей. Днем опять была интервьюерша, молодая, серьезная, скромно, но хорошо одетая. Здесь вообще приятна молодежь, она серьезна на вид, но воистину молода. Во Франции в сущности молодежь не молода. Чересчур древняя раса для молодости.

В газетах уже появились сделанные утром на вокзале снимки. Бледные расплывшиеся лица и « хлеб-соль » с длинным белым полотенцем, о котором расспрашивают все интервьюеры и потом записывают: « древний русский обычай » . . . Пишу за столом самого Нобеля. Передо мной его портрет и его круглая хрустальная чернильница.

7 декабря

Вчера провели вечер в семье Нобелей-Олейниковых. За обедом нас учили шведскому этикету. Оказывается, он страшно строгий и обратен русскому и французскому. Из посторонних никого не было. На конце стола сидела какая-то молодая женщина в темно-красном, хорошо сшитом платье, с очень тонко и красиво подкрашенным лицом и прелестными красиво причесанными волосами. Вообще молодые шведки отлично одеты, незаметно подкрашены, у них прелестная свежесть лиц, глаз, зубов, они серьезны на вид, полны достоинства. Все интервьюерши, которые перебывали до сих пор, серьезны, милы, отлично себя держат, все

с высшим образованием. Многие интервью очень талантливы.

Стол, за которым я пишу, стоит в фонаре. Передо мной серые воды, дворец на той стороне, пароходы, чайки и сухие снежинки, кружащиеся в сером воздухе. Слева какая-то башня с тонким шпилем, похожая на башню Адмиралтейства в Петербурге.

За окном все время жмутся к стеклу, зябнут голуби.

10 декабря

День раздачи премий. Утром И. А. возили возлагать венок на могилу Нобеля. В газетах портреты нас всех на чае в русской колонии — было человек 150. Говорили речи, пели, снимали. Здешние русские говорят плохо по-русски, и вообще очень ошведились.

11 декабря

Самая важная церемония — раздачи премий, слава Богу, окончилась. В момент выхода на эстраду И. А. был страшно бледен, у него был какой-то трагически-торжественный вид, точно он шел на эшафот или к причастию. Его пепельно бледное лицо наряду с тремя молодыми (им по 30-35 лет) прочих лауреатов, обращало на себя внимание. Дойдя до кафедры, с которой члены Академии должны были читать свои доклады, он низко с подчеркнутым достоинством поклонился.

Церемония выхода короля с семьей (до выхода на подиум лауреатов) была очень торжественна, совершилась под какую-то легкую музыку, спрятанную где-то за потолком. Зал был убран только шведскими, желтыми с голубым, флагами, что было сделано из-за Бунина, у которого нет флага. Когда герольды с подиума возвестили трубными звуками о выходе лауреатов, весь зал и с ним король с семьей, встал. Это кажется единственный случай в мире, когда король перед кем-нибудь встает.

Первые, физик и химик, получали премию весело, просто. За третьего, отсутствующего, получил премию

посол. Когда настала очередь Бунина, он встал и пошел со своего места медленно, торжественно, как на сцене. Его сняли во время передачи ему медали и портфеля, и сегодня во всех газетах прекрасная большая фотография этого момента.

Вечером был банкет в большом зале Гранд-Отеля, где посредине бил фонтан. Зал в старо-шведском стиле, убранный теми же желто-голубыми флагами. Посреди главный стол, за которым, среди членов королевской семьи, сидели лауреаты. (Голова В. Н. между двух канделябров с тяжелым черно-блестящим ожерельем на шее в центре стола).

Сидеть за столом во время банкета было довольно мучительно. Я сидела за столом ближайшим к главному, по бокам были важные незнакомые лица, кроме того я волновалась за И. А. — ему предстояло в этом огромном чопорном зале, перед двором, говорить речь на чужом языке. Я несколько раз оглядывалась на него. Он сидел с принцессой Ингрид, большой, красивой, в голубом с собольей оторочкой платье.

Речи начались очень скоро. И. А. говорил однако очень поздно, после того как пронесли дессерт (очень красивая церемония: вереница лакеев шла, высоко неся серебряные блюда, на которых в глыбах льда лежало что-то нежное и тяжелое, окруженное розово-паутинным, блестящим, сквозившим в свете канделябров). Я волновалась за него, но когда он взошел на кафедру и начал говорить перед радиоприемником, сразу успокоилась. Он говорил отлично, твердо, с французскими ударениями, с большим сознаньем собственного достоинства и временами с какой-то упорной горечью. Говорили, что, благодаря плохой акустике, радиоприемнику и непривычке шведов к французскому языку, речь его была плохо слышна в зале, но внешнее впечатление было прекрасное. Слово « exilé » вызвало некоторый трепет, но все обошлось благополучно.

Сегодня с утра в приемной трещат пишущие машинки. И. А. ездил в банк, получать чек. Погода все время солнечная, сухая, в общем прекрасная. Около

полудня каждый день мимо дворца проходят солдаты с музыкой.

Поездка в Дюрсхольм, за город, на дачу к одной из Нобель. Прекрасная прогулка на автомобиле. Дома в шведском стиле в лесу, снег, замерзшие озера, на которых уже катаются на коньках молодежь и дети. Дом, стоящий на холме, весь состоящий из окон, за которыми сосны, бледное небо — почти ибсеновский пейзаж. Завтрак в нарядно-чистой столовой с раздвигающимися (как всюду здесь) дверями, потом чаепитие в уютном уголке гостиной под лампой с огромным раскрашенным акварелью абажуром. За окнами уже сумерки, новый, густо падающий снег, далекое озеро. Вышли, чтобы ехать на чай на какую-то другую дачу, автомобиль у ворот, шофер в большой косматой шапке, хозяйка осторожно переступает по снегу белыми с белой опушкой ботиками. Быстро стемнело, деревянные сквозные ворота перед незнакомым домом, а в доме — шведская корабельная чистота, огонь в камине, стол, уставленный бутербродами и сладостями, свеженькая белокурая дочь хозяйки в клетчатой блузе с большим бантом на груди, разливавшая нам чай...

На рынке утром: рыба, яблоки, цветы в стеклянных ящиках, похожих от этого на аквариумы, укутанные от холода в газеты и согреваемые керосиновыми лампами. Масса диких уток в незамерзших местах канала у мостов. Долго ходили по старому городу, похожему на гоголевский, как мне казалось, Петербург с желтыми зданиями и фонарями на стенах. Холод снега под ногами даже через ботики. Как мы от него отвыкли!

17 декабря

День отъезда из Стокгольма. Уезжаем в 10 вечера. Солнце, серебристо-голубой канал, с плывущим по нему льдом, похожим на воск, вылитый на воду во время гаданья, колокольный звон (воскресенье). В канале неподвижные пароходики, со стелющимися по

ветру флагами, напротив — мрачная кирпично-серая громада дворца. Проходит молодежь в костюмах для катанья на коньках или лыжах, дамы в русских ботиках, мужчины в меховых шапках. Голубые трамваи, дома с колоннами, с вышками ренессанса, высокая темнокрасная башня Статхюста с блестящими высоко в сером воздухе тремя золотыми коронами на шпиле.

18 декабря

В салоне парома, перевозящего нас на германский берег. Опять тихо, серо, подрагиванье машины под ногами и во всем теле. Ходила по спардэку. Свежесть воздуха, чайки. Ночь была довольно неприятна, как часто, впрочем, ночи в поезде, и сквозь сон долетали те странные, тройные стеклянные звуки, которые сквозь снежную ночь доносились до меня в последний переезд перед Стокгольмом. Мне тогда казалось, что это какие-то предупреждающие сигналы. Как меня волновала тогда новая страна, которую я должна увидеть. Увы ! Я видела ее из окна автомобиля и никак не успела насладиться ею, потому что насладиться — значит ходить, смотреть, слушать, чувствовать глубоко и полно, а когда же было делать все это ? Обеды, обеды, парадные чаи, завтраки, чопорность, напряжение целые дни . . .

Вчера Шассэн показывал нам город: в двух автомобилях мы объездили лучшие кварталы Стокгольма и местный Булонский лес. Там лежал настоящий снег. На фьордах катались на коньках, небо среди елей, дубов и берез было изумительной нежности, жидкой тонкой голубизны. Дома из чешуек местного стиля, темные, темнокрасные, некоторые с колоннами, похожие на русские. Как бы хотелось почувствовать все это полнее, пожить среди этого !

Завтракали в старом подземном кабачке в старом городе, в « Золотом мире ». Свечи на окнах, елка в конце длинной узкой залы, березовые стволы, стоймя горящие в камине. Служили женщины в сливочно-

розовых наколках на голове. В этом кабачке когда-то бывал шведский поэт, Бельман...

21 января 1934

П а р и ж

Странное чувство пустоты, конца. Шум двух последних месяцев совсем отшумел. И многое еще как будто неосознанное отшумело. Жизнь все-таки переломилась и надо опять начинать какое-то новое существование.

Утром долго лежала, пытаясь заснуть, но так и не смогла. Встала поздно, с трудом. Пошла в церковь, но и тут была какая-то боль и пустота, хотя церковь была полна и пухлый милый Евлогий [1] ласково благословлял толпу. Поставила свечу и вышла, пошла, по свежему похолодевшему Парижу в Мажестик.

Какое чувство жалобной грусти и пустоты! Вот все и кончилось! Надежды, ожиданья, жизнь этим.

Мысль о Грассе не пугает, но как-то холодит душу...

13 февраля

Г р а с с.

Днем был о. Иоанн (Шаховской). После него остался какой-то след доброты, проявившийся в том, что на время как будто было прободение какой-то уже безнадежно окрепшей в душе коры. Хотела бы я знать — правда ли, что исходит что-то такое от подобных о. Иоанну людей, или это нам только кажется? Но пусть даже самовнушение — люди все-таки стараются сдерживать дурное в себе, стыдятся его — значит уже что-то достигнуто...

Днем (тотчас после завтрака) ходила одна наверх, сидела на корнях старой оливки и слушала радио на

---

[1] Митрополит Евлогий.

одной из верхних дач. Было так много солнца, что через минуту пришлось закрыть шею воротником пальто. Подумала, что надо все-таки просить И. А. купить и нам радио.

Когда вернулась увидела, что В. Н. в первый раз лежит в своем новом кресле в саду. Она не умеет оставаться в покое, когда болеет, и видимо это лежание большое усилие для нее.

Как, кажется мне, давно мы вернулись в Грасс! А всего только десять дней.

15 февраля

Как я люблю: я одна на всем верху т.к. В. Н. и Л. уехали и Канны. Жозеф убирает лестницу, гремит печкой, но дверь у меня открыта и я чувствую себя легче обычного.

На ночь долго читала « Svea » Шассэна. Вернее перечитывала. И вот странно: почувствовала разницу между творчеством художественным и романом журналиста. Тот, кто не был в Швеции, все равно ее не почувствует — узнает только внешнее и притом в немного ироническом тоне: бутерброды, закуски, дамские завтраки, торжественность шведских обедов. Но атмосферы Швеции нет, и вообще роман годится только как справочник для возбуждения некоторых представлений. Странно было чувство, что то, что для нас являлось таким волнующим — раздача премий и затем обед вечером в присутствии королевского дома и речь Бунина — для Швеции есть нечто вроде ежегодного развлечения с переменой лиц лауреатов.

Стараюсь наладить себе новую жизнь, новые интересы: пишу письма разным людям, занимаюсь насколько возможно улучшением убранства дома. Заказала абажур для столовой, купила две скатерти, подушки В. Н. и себе, шезлонг ей для лежания в саду.

В доме уже третий день радио — последняя модель Дюкрете. К моей радости и удивлению больше всего сидит подле него И. А., вчера даже не мог лечь спать. Впервые стали сидеть все в столовой и слушать вместе.

По тому, как на меня это подействовало с грустью сужу как наглухо приходится все время закрывать себя на ключ...

О. Иоанн говорил: « Не делайте И. А. в доме центром. Пусть у каждого из вас будет своя внутренняя духовная жизнь и тогда это будет и на него влиять хорошо ».

17 февраля

Вчера вечером опять о. Иоанн (Шаховской), разговоры с ним, его детский смех, заразительная улыбка, душа, чуткая и внимательная, настороженность в глазах и после всего, перед уходом — его молитва (по его желанию) за всех нас, с перечислением наших имен, потрясшая меня до внутренних слез. Делает ли он это часто или нашел нужным освятить и благословить именно наш дом ? Перед этой, так потрясшей меня молитвой, он говорил, что бывают дома, войдя в которые чувствуешь их легкую прекрасную атмосферу, так же как дома, где бывает беспричинно тяжело. Тоже и с людьми. В лицах, в глазах, в окружении чуется темное или светлое. А перед тем говорил о смерти. Он говорил, что одни умирают легко — улетают, а другие тяжело, долго — это « земляные души », еще не созревшие для смерти. В том, что кладбища с древности выносят за черту города, есть большой смысл. Не все души отлетают. Есть такие, которые падают на землю, как смоченная вата. « Можно ли это знать ? » спросила я. « Можно » — с таинственной улыбкой быстро шепнул он.

После молитвы он благословил нас по очереди и почти бежал. У меня осталась глубокая жалость, что невозможно чаще общаться с ним, что он уезжает и, вообще, здесь не живет. Меня радует, что он был первым гостем, пришедшим к нам после нашего приезда.

19 февраля

Собственно я до сих пор еще не успела осмыслить

все происшедшее за эти три месяца. Так, время от времени, всплывает какое-нибудь лицо, ни разу за все время не вспомнившееся, место, атмосфера какой-нибудь минуты. Говорили обо всем этом мы, к моему удивлению, мало даже с И. А. хотя ему, видимо, настолько же приятно вспоминать все, что было, насколько он неприятно переживал это. Поехавши недавно в Ниццу он взял такси и заехал в отель Англетер — расписаться у « своего старика », как он называет теперь шведского короля. Но, видно, он мало насладился своей короткой славой в Швеции, да и действительно прошло все потрясающе быстро, так что кажется будто снилось. И это тем более, что живем мы по-прежнему и разговоры о том, что денег мало и надо экономить ведутся в доме по-прежнему.

Когда я теперь оглядываюсь назад и вспоминаю эти три месяца, я вижу, что И. А., в сущности, получал премию один, как-то мгновенно отделившись внутренне, как только получилось подтверждение телеграммой неразборчивых телефонных голосов из Стокгольма. Он тогда под каким-то предлогом ушел из дома, пошел к собору, долго ходил по саду Монфлери и, по собственному выражению, как-то « строго » отнесся к происшедшему. От этого он сразу и стал так « строг » и с нами, хотя на душе у него было, как он говорил, светло и радостно.

Но уехав в Париж, он на этом светлом не удержался. Его повезли чуть не с вокзала завтракать встречавшие в один из самых дорогих русских ресторанов, и потом около двух недель длился кавардак. Когда мы приехали, он был вне себя, ничего ясно не сознавал, на все отзывался неправильно. В пути ненадолго пришел в себя — напомнил мне себя прежнего, когда мы с ним, стоя на задней площадке Норд-экспресса, смотрели на снег убегающих назад путей и говорили о том, что было и о том, что будет. В Гамбурге он целый день пролежал в постели, отлеживал парижскую усталость. В Стокгольме вел себя как enfant terrible все время, кроме часов на людях, на банкетах и в гости-

ных, где был очарователен и неотразим, по всеобщему мнению. Дома же болел, и мы все возились с ним, и Олейников (обладающий, впрочем, трудным характером) не раз поднимал глаза и руки к небу...

Пришел он в себя, в сущности, только здесь и опять стало в нем проявляться то, что я люблю в нем — все же эти быстрые как сон три месяца его славы он отсутствовал. Но много, вообще, произошло за эти три месяца...

A. ROSSEELS PRINTING C°
Vaartstraat 70 — Leuven
☎ (016) 219.62 — Belgium

